РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

Карамзин и его эпоха

Материалы Всероссийской научной конференции

(Москва, 18—19 октября 2016 г.)

Центр гуманитарных инициатив
Москва — Санкт-Петербург
2017

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
К21

Ответственные редакторы:
А.Н. Артизов, А.К. Левыкин, Ю.А. Петров

Редакционная коллегия:
В.Н. Захаров, С.В. Мироненко,
Л.А. Шацилло, А.В. Юрасов, А.Д. Яновский

Редакторы-составители:
Л.А. Сидорова, В.В. Тихонов

К21 Карамзин и его эпоха : материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 18—19 октября 2016 г.) / сост. Л.А. Сидорова , В.В. Тихонов ; отв. редакторы : А.Н. Артизов , А.К. Левыкин , Ю.А. Петров ; Ин-т рос. истории Рос. акад. наук ; Гос. ист. музей; Федеральное арх. агенство ; Рос. ист. о-во. — М. : [ИРИ РАН] , 2017 . — 223, [1] с.

ISBN 978-5-98712-740-7

В сборнике представлены материалы Всероссийской научной конференции «Карамзин и его эпоха», посвященной 250-летию со дня рождения выдающегося русского историка, литератора, общественного деятеля. Основное внимание уделено актуальным проблемам творчества Н.М. Карамзина, автора «Истории Государсрства российского», его взаимосвязи с литературой и художественной культурой России начала XIX века, его значения в развитии общественной мысли и исторической памяти в последующие времена.

ISBN 978-5-98712-740-7

© Институт российской истории РАН, 2017
© Государственный исторический музей, 2017
© Федеральное архивное агентство, 2017
© Российское историческое общество, 2017
© Коллектив авторов, 2017
® Центр гуманитарных инициатив, 2017

Содержание

Ю.А. Петров. К читателю 5

«Бессмертный историограф»:
Н.М. Карамзин и историческая наука России

О.Н. Шевцова. Внутренние сюжеты «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина 9
Ю.Д. Артамонова. Об основаниях связи сентиментализма и поворота к истории 14
В.А. Абраменко. Образ средневекового Новгорода в общественной мысли России XIX века и значение трудов Н.М. Карамзина в его формировании 19
Д.С. Артамонов. Вадим Новгородский в сочинениях Н.М. Карамзина и его современников 26
В.Д. Пузанов. Россия и Европа в исторических работах Н.М. Карамзина 34
А.В. Журавель. Н.С. Арцыбышев и «История государства Российского»: источниковедческий аспект 42
О.Ю. Казакова. Первое академическое покушение на авторитет Карамзина-историка: Устрялов — Пушкин — Вяземский 50
Дж.Я. Рахаев. Н.М. Карамзин и адыгская историография первой половины XIX века 58
В.А. Бердинских. Труды Н.М. Карамзина в оценках П.Н. Милюкова 65
М.Г. Вандалковская. Н.М. Карамзин в творчестве историков-эмигрантов 70
Е.Н. Дербин. «История государства Российского» Н.М. Карамзина и его государственные идеи в русской зарубежной историографии 77
Л.А.Сидорова. Н.М. Карамзин в лекционных курсах комуниверситетов. 1920-е годы 81
В.В. Тихонов. Н.М. Карамзин в советских историографических исследованиях 1940-х — середины 50-х гг.: парадоксы «реабилитации» 89
М.Ю. Киселев. Н.М. Карамзин и его наследие в фондах Архива Российской академии наук 95

Литературно-публицистическое творчество Н.М. Карамзина и русская культура

Е.В. Пчелов. Можно ли считать создателем буквы «Ё» Н.М. Карамзина? 103

Д.Д. Лотарева. Языковая реформа Н.М. Карамзина и формирование понятий для характеристики персональной идентичности человека в России в XVIII веке 109

И.В. Магилина. «Письма русского путешественника» как источник по социально-политической и культурной жизни Европы в конце XVIII века 115

В.Н. Шульгин. Общественно-политическая программа Н.М. Карамзина и ее восприятие в отечественной историографии 123

М.М. Сафонов. «Народ безмолвствует» (А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, А.Ф. Ланжерон) 134

А.Н. Долгих. О роли Н.М. Карамзина в решении крестьянского вопроса в России в конце XVIII — начале XIX в. 144

Е.К. Беспалова. Неизвестный автограф Н.М. Карамзина «Краткая записка о городах для ПУТЕШЕСТВЕННИКА из Царского Села на восток России» 152

А.К. Афанасьев. Автографы Н.М. Карамзина и рукописи его сочинений в ОПИ ГИМ 160

Эпоха Н.М. Карамзина: люди, события, историческая память

А.Д. Ивинский. М.Н. Муравьев в письмах к отцу 1778—1779 гг. (по материалам ОПИ ГИМ) 173

И.В. Ружицкая. Н.М. Карамзин и польский вопрос: записка о Польше и ее восприятие современными историками 181

А.Н. Феребов. Надежды реформаторов: от ожидаемой численности студентов к перспективам обновления бюрократии в начале XIX в. ... 187

О.В. Морева. Уральские читатели Н.М. Карамзина 195

Т.В. Медведева. Дмитрий Николаевич Свербеев (1799—1874): Портрет почитателя Карамзина 205

А.С. Коршиков. Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» как хранитель мемориального карамзинского пространства 213

Сведения об авторах 221

К читателю

В 2016 г. в России широко отмечалось 250-летие со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, выдающегося литератора, историка, политического мыслителя и общественного деятеля. Вклад Н.М. Карамзина в отечественную культуру колоссален. Он выступил в качестве реформатора русского языка, на новый уровень вывел отечественную журналистику. Написанная им 12-томная «История государства Российского» стала не только крупнейшим обобщающим трудом по отечественной истории, но и сыграла огромную роль в развитии исторической науки и массового исторического сознания.

В рамках юбилейного года 18-19 октября 2016 г. прошла Всероссийская научная конференция «Карамзин и его эпоха». Организаторами выступили Институт российской истории РАН, Государственный исторический музей, Российское историческое общество, Федеральное архивное агентство.

В конференции принимало участие около 70 докладчиков из 17 городов и регионов России, представляющих более 20 учреждений высшего образования, науки и культуры (Институт российской истории РАН, Государственный исторический музей, Институт славяноведения РАН, Санкт-Петербургский Институт истории РАН, МГУ им М.В. Ломоносова, РГГУ, МПГУ, Саратовский национально-исследовательский государственный университет, Орловский государственный университет, Южный Федеральный университет, Архив РАН, «Дворец книги» — Ульяновская научная библиотека им. В.И. Ленина и т.д.). Особенностью конференции стало участие специалистов разных областей гуманитарного знания: истории, филологии, политологии и философии. Это только подчеркивает значимость фигуры Н.М. Карамзина для российской науки и культуры.

18 октября было проведено пленарное заседание в Государственном историческом музее. Конференция открылась приветствиями председателя Российского исторического общества С.Е. Нарышкина, руководителя Федерального архивного агентства А.Н. Артизова, директора Государственного исторического музея А.К. Левыкина и директора Института российской истории РАН Ю.А. Петрова.

19 октября в Институте российской истории РАН прошли секционные заседания. Работало три секции: «“Бессмертный историограф”: Н.М. Карамзин и историческая наука России» (руководители — Л.А. Сидорова и Л.А. Шацилло), «Литературно-публицистическое творчество Н.М. Карамзина и русская культура» (руководители — В.Я. Гросул и Ф.А. Петров) и «Эпоха Н.М. Карамзина: люди, события, историческая память» (руководители — А.В. Юрасов и А.Д. Яновский).

На конференции были представлены разноплановые доклады, отражающие основные тенденции состояния и развития современной историографической ситуации в изучении наследия Н.М. Карамзина. В центре внимания докладчиков оказались особенности его исторической концепции. Специальный блок был посвящен освещению документального наследия Н.М. Карамзина в российских архивах и музеях. В серии докладов рассматривалась проблема рецепции и оценки исторической концепции историографа исторической наукой XIX—XX вв. Значительное количество выступлений освещало восприятие литературного и историографического наследия Н.М. Карамзина читателями разных эпох. Наконец, особое внимание было уделено общественно-политическим взглядам Н.М. Карамзина и их влиянию на развитие российской политической мысли. Многие выступавшие специально указывали на актуальность для современного российского общества и государства целостной общественно-политической философии Н.М. Карамзина.

250-летний юбилей Н.М. Карамзина позволяет не только вновь подчеркнуть, но и в чем-то переосмыслить его значение для отечественной культуры как историка, литератора и политического мыслителя. Уверен, что предлагаемый читателю сборник внесет свой вклад в изучение творчества Н.М. Карамзина и его наследия. Надеюсь, что издание вызовет широкий интерес не только у специалистов, но и всех интересующихся русской историей и культурой.

Ю.А. Петров
доктор исторических наук,
директор Института российской истории РАН

«Бессмертный историограф»: Н.М. Карамзин и историческая наука России

О.Н. Шевцова

Внутренние сюжеты «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина

Для русской культуры значение Н.М. Карамзина состоит в том, что он оставил свой след в качестве не только историка, но и писателя и публициста, одного из тех, кто закладывал нормы современного русского литературного языка. Это был язык и художественной литературы, и отечественной исторической науки, переживавшей период своего становления. Между тем, неоднократно отмечалось, что для эпохи романтизма, к которой относилось творчество Карамзина, была характерна особая близость между литературой и историографией, причем последняя выделялась как особая форма выражения художественного литературного мышления, обращенного в прошлое. Вместе с тем, при всей своей близости к литературе, историография имела многие существенные признаки научного творчества. Это относилось и к внимательному анализу в ней эмпирического материала, и к наличию концепции, которая является общим итогом исследования.

По существу, общим местом историографии, относящейся к труду Карамзина, является утверждение о содержащейся в нем монархической концепции. Для этого есть все основания, монархизм выдающегося историографа лучше всего передают высказывания его самого из «Записки о древней и новой России», в концентрированном виде выражавшие монархические взгляды автора. В самом деле, по его словам, «Самодержавие основало и воскресило Россию»[1], и вообще, «Самодержавие есть Палладиум России; целость его необходима для ее счастья»[2], а сама «Россия основывалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием»[3]. Высказывания по своему смыслу совершенно определенные. Более того, как отмечал В.П. Козлов, говоря об «Истории государства Российского», «целостность труду Карамзина придала концепция, в которой определяющую роль играла идея самодержавия как главного фактора русского исторического процесса»[4]. Несколько ранее подчеркивал это советский историк А.М. Сахаров. «Монархизм общей концепции Карамзина несомненен»[5], - указывал он. Как обращал внимание другой советский историк, М.А. Алпатов, для Карамзина было характерно признание «российской

монархии <…> как основополагающего <…> фактора всей русской истории»[6].

Вместе с тем современники нередко воспринимали «Историю» Карамзина не в качестве научного труда, но в качестве литературного произведения. Об этом прямо говорил один из них, заявлявший, что «Карамзина должна благодарить Россия не за историю, но за обогащение словесности многими превосходными, драгоценными историческими отрывками»[7].

Замечено было весьма точно. Труд Карамзина как произведение литературы содержит такие типичные для этого жанра письменности категории, как образ и сюжет. Под образом можно понимать реальность (прошлого и настоящего), сформированную сознанием и воображением автора и нашедшую выражение в художественном (или научно-историческом) произведении. Что касается сюжета, то в этой категории выражается действенная сторона образа, или образ в процессе его генезиса, развития и связей. Центральным образом произведения является государство Российское. Но если принимать во внимание, что «История государства Российского» есть история монархической власти, то образ государства в произведении Карамзина сливается с образом монархии и неотделим от нее. Сюжет же произведения охватывает весь ход истории государства — от призвания варягов, которое было завязкой сюжета, до периода междуцарствия, поскольку последующий период историограф осветить не успел. Это блестящее и вполне романтическое начало киевского периода, которое сменилось трагедией распада по вине князей, разменявших единство государства и крепость монархии на разобщенность в процессе взаимной борьбы. Но историческая трагедия раздробленности была помножена на трагедию варварского завоевания страны, еще более жестокую, чем просто распад государства.

Неудивительно, что такой сюжет, в котором содержится художественное осмысление всей истории государства, отличается сложностью, а его повороты с неизбежностью обречены на повторение. В нем также присутствует целый ряд внутренних сюжетов, касающихся отдельных событий и явлений в русской истории.

Завязкой сюжета «Истории государства Российского» является рассказ о призвании варягов, с которого, по Карамзину, начинается отсчет истории государства и российской монархии. Далее следовало продолжение, соответствующее киевскому периоду русской истории. Это, по Карамзину, была история боевой доблести, заполненная яркими княжескими образами. Но сюжет сложился таким образом, что Карамзин не мог перейти к кульминации повествования как к очередной и высшей стадии в развитии сюжета. Как показывал Карамзин, столь блестящее и

вполне романтическое начало Киевской Руси, вполне соответствовавшее духу культуры романтизма, к которой относилось историческое творчество выдающегося историографа, сменилось трагедией. Видел ее Карамзин в упадке государства и монархии по вине князей, разменявших в пылу усобиц так необходимое для государства и монархии единство. Но историческая трагедия распада была многократно умножена трагедией варварского завоевания и установления ханской власти. Впрочем, являясь глубоким историком, и в трагедии монгольского завоевания Карамзин заметил первые, еще самые слабые признаки будущего возрождения. Состояли они, на взгляд Карамзина, в падении первенства Владимира в Северо-Восточной Руси, где зарождался будущий центр государства взамен пришедшего в упадок киевского Приднепровья, и это открывало путь для последующего подъема Москвы, с которой в дальнейшем будет связан новый подъем государства и монархии благодаря деятельности московской великокняжеской власти.

Кульминацией литературного сюжета карамзинской истории стало княжение великого князя московского Ивана III. При нем было завершено возрождение государства и монархии, причем в образе этого великого князя Карамзин видел идеал русского монарха, который, по его словам, «стоит как Государь на высшей степени величия»[8]. Однако до завершения повествования было далеко. Сюжет русской истории, созданный Карамзиным, выходил на новый круг, когда в следующем после завершения княжения Ивана III, при восторжествовавшем над своими противниками государстве и монархии, наметилась новая трагедия, завершившаяся Смутой, которая привела к повторному распаду государства и монархии в России. Несомненно, что сюжетный круг должен был с неизбежностью повториться. Дальнейший ход его должен был вести к рассказу о повторном возрождении государства и монархии, когда развернулось бы повествование о стране при первых царях из новой династии Романовых. Но к этой части своего труда Карамзин подойти не успел. Однако развертывание его было им намечено в «Записке о древней и новой России».

Сложность общего сюжета «Истории государства Российского» также в том, что он выражался через целый ряд внутренних, частных сюжетов, направленных в конечном счете на раскрытие общего. Таких частных сюжетов в труде Карамзина много. Один из наиболее интересных – об опричнине Ивана Грозного. Интересен он не только сам по себе. Он также интересен тем, что в нем произошло столкновение между монархическим идеалом и необходимостью освещения злодеяний, которыми наполнено царствование этого царя и особенно опричные годы, что в значительной степени и дало основание А.С. Пушкину оценить карамзинское произведение как «подвиг честного человека».

Внутренний сюжет об опричнине развертывается как повествование о злодеяниях царя и опричников. Основные вехи в его развитии – это начало опричнины, Александрова слобода, гибель князя Владимира Андреевича, казни в Новгороде и в Москве, сожжение Москвы ханом Девлет Гиреем при бегстве царя из столицы от крымской опасности, и отмена опричнины.

Сила Карамзина как мыслителя, историка и художника в том, что он нашел путь к преодолению несомненного противоречия в его повествовании об опричнине с общим сюжетом его труда как литературного произведения и с содержащейся в нем концепцией как в произведении русской историографии. Заключалось это, во-первых, в том, что он допускал возможность исторической неправоты монарха, когда тот, забывая о своем месте, превращается в тирана, и карамзинский образ Ивана Грозного при описании опричнины был образом такого монарха-тирана. Такой образ был вполне понятен современникам, читателям Карамзина. С русской историей до появления «Истории государства Российского» эти читатели знакомы были слабо. Но образы тиранов в лице римских императоров были им хорошо известны из священной истории, что и позволило им воспринять подобный образ монарха. Во-вторых, Карамзин показал, что спасение государству потребовалось уже от тирана. Таким спасителем стал народ, «подданные», которые «превзошли всех в терпении», и, по его словам, «гибли, но спасли для нас могущество России, ибо сила народного повиновения есть сила государственная». Таким образом создавались предпосылки для общего обогащения сюжета произведения. Тем самым Карамзин наметил идею включения народа в историю, как силы, для России столь же существенной, как и монархия. Но эта идея воплотится в общественной мысли несколько позже, когда возникнет теория официальной народности, в которой наравне с монархией в качестве основы России будет и народ. Однако, конечно же, такое заявление по поводу народа, осознававшего необходимость терпения ради спасения России, совершенно неисторично.

Внутренний сюжет об опричнине в рамках общего сюжета произведения невелик. Но он значительно поднимает интерес к произведению и обогащает общее содержание труда, вводя в качестве предпосылки для дальнейшего изложения включения в него истории народа. Однако сколько-нибудь заметного развертывания в дальнейшем повествовании эта идея не получила. Для этого нужен был новый этап в развитии исторической науки, который наступил значительно позднее.

Примечания

1 *Карамзин Н.М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении // *Карамзин Н.М.* Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 303.
2 Там же. С. 344-345.
3 Там же. С. 284.
4 *Козлов В.П.* Н.М. Карамзин – историк // *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 4-х кн. М.: Книга, 1988. Кн. 4. Сопроводительные статьи к репринтному изданию «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. С.18.
5 *Сахаров А.М.* Историография истории СССР. Досоветский период. М.: Высшая школа, 1878. С. 97.
6 *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII – первая половина XIX в.). М.: Наука, 1985. С. 189.
7 Цит. по: *Милюков П.Н.* Главные чтения русской исторической мысли. М.: Изд-во Гос. публ. ист. б-ки России, 2006. С.245.
8 *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 4-х кн. М.: Книга, 1989. Кн. 2. Т. 6. Стб. 215.

Ю.Д. Артамонова

Об основаниях связи сентиментализма и поворота к истории

Явная связь исторических и литературных штудий Н.М. Карамзина часто фиксируется эмпирически. С одной стороны, при анализе повестей исследователи обращают внимание на выдержанность в них ряда канонов историографии того времени. Например, В.Н. Топоров отмечает, что при выстраивании происходящего в «Бедной Лизе» в линейную последовательность нет ни одной накладки и все моменты (места пребывания героев, детали изменения природы и т.д.) абсолютно точны[1]. П.А. Вяземский оставит нам ряд интересных свидетельств о вкусе Н.М Карамзина: «В первой части “Онегина” особенно ценил он 35 строфу, в которой описывается петербургское утро со своим барабанным боем, с охтенкой, которая спешит с кувшином, с немецким хлебником, который “в бумажном колпаке не раз уж отворял свой васисдас”. Он любил здесь и верность картины, и трезвую верность выражения[2]». С другой стороны, Н.М. Карамзин стоит у истоков отечественной научно-точной исторической прозы, и «История Государства Российского» читается не только как объективное изложение фактов, но и как увлекательное художественное произведение. П.А. Вяземский уже в 1883 г., анализируя «Историческое похвальное слово Екатерине II», заметит важную особенность стиля Николая Михайловича: «Трезвость слога не влечет за собой сухости[3]». Подчеркивая применение критического метода в истории, он же подчеркнет: «Историк должен возлюбить это минувшее, не суеверною, но родственной любовью. Анатомировать бытописание, как охладевший труп, из одной любви к анатомии, истории, есть труд неблагодарный и бесполезный»[4]. А А.С. Пушкин оставит нам окончательную формулу: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец. Своей критикой он принадлежит истории, простодушием и апоффегмами хронике. Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий… Где рассказ его неудовлетровителен, там недоставало ему источников; он их не заменял своевольными догадками. Нравственные его размышления, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи»[5]. И сам Н.М. Карамзин довольно точно сформулирует свое кредо: «Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем ныне

витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам ясное понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус установил неизменные правила и навсегда отлучил Дееписания от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть честным зерцалом минувшего… История не терпит вымыслов, изображения… Что же остается ему (дееписателю), прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, простота. Он творит из данного вещества; не производит золота из меди, но должен очистить и медь; должен знать всего цену и свойство… Чувство наше, оживляет повествование; …так любовь к отечеству дает его кисти жар, силу, прелесть. Где нет любви, нет души»[6].

Необходимо отметить, что такое же сближение исторических и литературных штудий мы будем наблюдать и в европейской историографии первой половины XIX в. Например, вокруг книги Т. Карлейля «Французская революция» развернулась нешуточная дискуссия. Что это — историческое исследование или художественное произведение, исторический роман? «В Лоншане, да и в других местах тоже, бросается в глаза следующее: каждой даме или кавалеру прислуживает человеческое существо, не то эльф, не то чертенок, хотя и молодой, но уже со следами увядания, появляющимися всегда у тех, кто рано научился ловчить и развратничать — без такого рода эльфов никак не обойтись во всяких непредвиденных случаях. Существо это зовется жокеем (слово пришло во французский язык из английского) и в связи с этим воображает, что оно английской породы…»[7] - этот, да и любой другой произвольно взятый фрагмент совсем не напоминает скучную привычную «объективную историографию». Не случайно Дж.С. Милль скажет, что секрет этой книги в том, что она — гениальное художественное произведение (о ней высоко отозвались и Ч. Диккенс, и У. Теккерей); историки же отметят огромный труд коллеги-профессионала, перелопатившего сотни документов в библиотеке Британского музея и не только и опросившего массу престарелых очевидцев событий. Т. Карлейлю такой синтез литературы и научной истории кажется единственно возможным; прощаясь с читателем, он скажет: «Человек по природе своей может быть определен как “воплощенное слово”. Не делает мне чести, если я сказал тебе какую-нибудь ложь; но и тебе следовало понимать меня верно»[8].

У этой связи — глубокая подоплека. Как это ни парадоксально, исторический объективизм стал возможен именно в связи с введением индивидуального взгляда на мир как методологического правила. Философские неологизмы рубежа XVIII—XIX вв. «точка зрения» и «мировоззрение» фиксируют этот новый ракурс исследования. Авторство идеи «точки зрения» принадлежит Дидро и Даламберу, а развитие она получает в школе Лейбница. Вспомним знаменитые лейбницевы пассажи о монаде как живом зеркале универсума и разъяснение из «Монадологии»: «И как один и тот же город, если смотреть на него с разных сторон, кажется совершенно иным

и как бы перспективно умноженным, таким же точно образом вследствие бесконечного числа простых субстанций существует как бы столько различных универсумов, которые, однако суть только перспективы одного и того же соответственно различным точкам зрения каждой из монад»[9]. Следующий шаг исследований - анализ именно «неидеального» видения мира с конкретных точек зрения, захвативший все науки о конструировании мира.

Не случайно в литературе к концу XVIII в. станет ключевой именно метафора «видения», «глаза», «наблюдателя». В.Н. Топоров приведет интереснейшую деталь: «Люди, хорошо знавшие Карамзина, не раз отмечали его пристрастие к прогулкам. Впрочем, и сам он не только говорил о новой моде на прогулки, но и сам был историографом этой моды»[10]. И, разбирая второй фрагмент «Бедной Лизы» со слов «Но более всего приятнее для меня то место…», отмечает «панорамный принцип», открытый Н.М. Карамзиным и усвоенный русской прозой этого времени: «Этот отрывок представляет собой панорамное описание того, что видно (*видишь, видна, видны, представляется глаза)* на три четверти окоема: к северу (*на правой стороне)* почти вся Москва, громада домов, купола и кресты ее церквей; к западу (*на другой стороне реки)* — роща, Данилов монастырь, Воробьевы горы; к югу (*на левой же стороне)* - поля, лесочки, деревеньки, Коломенское и его дворец. Москва видится средоточием “исторического”, “культурного”. “рукотворного”, но особенно великолепен ее вид, когда сама природа идет навстречу зрителю, - при вечерних лучах заходящего солнца (образ, предвосхищающий Достоевского, особенно охотно эксплуатирующего этот прием)… Организация этого второго фрагмента заслуживает очень высокой оценки… Организация осуществляется по нескольким пространственным параметрам… В результате получается очень компактное, экономное и вместе с тем очень емкое описание, достойное той великолепной картины, которая открывается зрителю от стен Симонова монастыря… Увлеченный разворачиваемой автором картиной, читатель незаметно для себя «подстраивается к автору…»[11].

Но путь от взгляда до метафизики окажется недлинным. Один из лейбницианцев, И.М. Хладениус, определит понятие «точка зрения» как «состояние всего человека, который видит определенную вещь и данность»[12] и расскажет про ее особенности: «Во-первых, необходимо принять во внимание положение глаз, учитывать остроту глаз, их силу видеть близкое или далекое… Также необходимо учитывать состояние тела и души, то есть брать в рассмотрение всего человека целиком…»[13]. Появится и еще один философский неологизм того времени — понятие «мировоззрения» как конструкции мира с определенной точки зрения. Его введет И. Кант. В центре внимания - анализ именно «неабсолютных» точек зрения и создаваемых картин мира. И это — безусловная новация. Однако, привнесение «точки зрения» неизбежно при любом суждении.

И.М. Хладениус объяснит, к примеру: «Человеку-зрителю нужно пять чувств, но не только пять чувств. Ему нужен разум. Это обозначает, что <...> свои восприятия он связывает с имеющимися всеобщими понятиями настолько, насколько это возможно. <...> Пусть зритель видит кого-то пишущим. Объединяемое в этом понятии не представляет для каждого из нас чего-то особенного. Во всяком случае мы не будем специально отмечать, что он держит в руке перо, которое заточено внизу; перо макает в чернильницу и водит им по бумаге; все это уже объединено в известном понятии и слове; тот же, кому оно неизвестно, не может этого сделать»[14].

Однако авторы рубежа XVIII—XIXвв. полагают, что, даже если наши воззрения относительны и несовершенны, полностью заблуждаться мы не можем — при всей самостоятельности «точки зрения» она остается в то же время включенной в гармонию Вселенной. Поэтому историки так долго будут равнодушны к остроте проблемы релятивизма.

К тому же, в истории есть некоторые сущности, которые трудно исказить. Например, дороги, уровень урожая, просто строения, наконец — все видят это более-менее адекватно. Есть поступки, тоже очевидные — Цезарь перешел Рубикон. Наконец, есть «моральные сущности» - школы, фабрики, гостиницы — это институализированные желания людей. И они тоже видны всем. Значит, если мы не хотим вносить искажений в картину истории, мы должны писать ее как гигантское полотно постоянных взаимодействий этих трех типов сущностей.

Итак, вопрос сохранения объективности исследования при понимании исторического труда как мировоззрения конкретного автора решается просто. Спасение объективизма в том, что при всей особости «точки зрения» она остается в то же время включенной в гармонию Вселенной, с одной стороны, а с другой — в истории существуют сущности, которые невозможно исказить. Поэтому важным моментом реконструкции будет обращение к собственной душевной жизни, «проявление» ее структуры и описание действительности… через эти структуры. Именно «честное» понимание происходящего и будет основным шагом правильной реконструкции истории.

Текст есть зафиксированное в языке мировоззрение. Язык есть мировоззрение народа. Бесконечное взаимодействие различных факторов и есть история. Эти положения гуманитарных наук, оформившиеся на рубеже XVIII—XIX вв., обычно считают базовыми идеями психологизма в гуманитарных науках. Они предполагают требование анализа не только реалий внешнего мира, но и обращение к внутреннему миру автора текста, анализа позиции историка и т.д. Как справедливо заметит И. Тэн, раньше исследователи за деревьями не видели леса - за произведениями не видели человека, их создавшего. Базовые понятия такого подхода (точка зрения, мировоззрение и т.д.) имеют серьезную метафизическую подоплеку, свя-

занную с старой философской идеей изначальной сопричастности души смыслам мира. Они явно не апеллируют к стороннему наблюдателю.

Таким образом, «поворот к истории» не означал объективистского отказа от собственной душевной жизни, наоборот, требовал его.

Однако здесь необходимо сделать следующий шаг. П.А. Вяземский свяжет сентиментализм не только с особенностями натуры Карамзина, но и с временем Екатерины. «За сближением общества с правительством и силою законодательной неминуемо, логически должно было следовать и общественное сближение с литературой, которая и должна быть выражением общества. До него литература была власть довольно суровая, мало общительная… Мягкость, мягкосердечие, проявившееся в литературе нашей под пером Карамзина, были, без сомнения, плодом царствования Екатерины»[15]. Используя современный лексикон, мы бы сказали — Вяземский свяжет сентиментализм со становлением гражданского общества; общества, где уже важно конкретное «я», где есть место частному мнению и частной точке зрения, претендующей при всей своей «частности» на объективность; но рядом с этим есть и мнение граждан, которые осознают, что история и есть то, что складывается из их действий.

Примечания

1 *Топоров В.Н.*О «Бедной Лизе» Карамзина (К двухсотлетию со дня выхода в свет) // Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей. Антология. СПб., 2006.

2 *Вяземский П.А.* Стихотворения Карамзина // *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М., 1924. С. 254.

3 *Вяземский П.А.* Отметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным // Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей. Антология. СПб., 2006. С. 485.

4 Там же. С. 484.

5 *Пушкин А.С.* История русского народа. Сочинения Николая Полевого. Том 1 (с.159—160) // *Пушкин А.С.* Полное собрание соч. В 17 т. Т. 11. С. 120.

6 *Карамзин Н.М.* История государства Российского. М., 1989. Т. 1. С.18—19.

7 *Карлейль Т.* Французская революция. История, М., 1991. С. 40.

8 Там же. С. 547.

9 *Лейбниц Г.В.* Монадология // *Лейбниц Г.В.* Соч. В 4 т. Т. 1. М., 1982—1989. С. 422—423.

10 *Топоров В.Н.* Указ. соч. С. 828.

11 Там же. С. 829—833.

12 *Хладениус И.М.* Всеобщая наука истории //Эпистемология и философия науки. 2010. Т. XXIII. № 1. С. 207.

13 Там же. С. 206—207.

14 Там же. С. 209.

15 *Вяземский П. А.* Отметки при чтении «Исторического похвального слова Екатерине II», написанного Карамзиным. С. 482—483.

В.А. Абраменко

Образ средневекового Новгорода в общественной мысли России XIX века и значение трудов Н.М. Карамзина в его формировании

В XIX веке образ средневекового Новгорода был достаточно востребован представителями различных направлений общественной мысли России — как либерального, так и охранительного. Это место памяти было интерпретировано в качестве метафоры свободы. Одной из важнейших его составляющих являлся сюжет падения Новгорода в конце XV века, который был неразрывно связан с двумя видными историческими фигурами — великим князем московским Иваном III и новгородской посадницей Марфой Борецкой. Трагичность событий и их значение для будущего русского государства и общества предопределили обращение к ним в самых разнообразных формах —исторических трудах, произведениях литературы и изобразительного искусства.

Особое место в формировании общественной мысли России занимают труды Н.М. Карамзина. Важнейшим из них является «История государства Российского», в котором нашли отражение взгляды автора на прошлое Новгородской земли. Он изобразил не одновременное падение Новгорода, а довольно длительный и скачкообразный процесс постепенного ослабления города.

Фундаментальную «Историю…» органично дополняет повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода». В этом произведении также можно видеть глубокую историческую параллель и преемственность событий. Повесть пропитана идеей необходимости монархии для России как признака цивилизованности и единственного способа противостоять внешним угрозам. Цель Москвы — не поработить, а объяснить новгородцам, почему они должны перейти под власть великого князя.

Практически одновременно с Карамзиным к тому же сюжету обращались П.И. Сумароков и Ф.Ф. Иванов.

П.И. Сумароков некоторое время был новгородским губернатором и результаты своих исторических исследований обобщил в труде «Новгородская история». В контексте раскрытия сюжета покорения Новго-

рода в «Новгородской истории» особый интерес представляет фигура Марфы Посадницы. Поднимая вопрос о сущности новгородского патриотизма Марфы Посадницы, Сумароков выдвигает версию, что «вопреки некоторым историкам… она была не жена, а дочь Исаака Борецкого»[1]. Новгородцы прозвали ее «Посадницей» за богатство, хитрость и именитость рода, а «вся слава ея заключается в сильном только соучастии при бунтовании новгородцев». По мнению автора, «коварная Марфа погрешительно употребила все средства к пагубе древняго и чуждаго для нея града»[2].

Отношение П.И. Сумарокова к присоединению Новгорода к Московскому княжеству при Иване III было исключительно положительным. Оно несло самые позитивные последствия для Руси. В этом отношении его выводы соответствуют точке зрения большинства русских историков. Значительно более самостоятельным и интересным является взгляд автора на опричный погром января 1570 г. Судя по его описанию, этот погром напоминал скорее продуманное мероприятие, чем импульсивное деяние царя. «Весь град был описан, оценен; все граждане соделались приговоренными, и никто в изумлении не постигал, какая вина подвергается сему ужасному жребию»[3], — такую характеристику давал историк началу действий царя и опричников в Новгороде. Сумароков отмечал, что их действия в городе тщательно продумывались и координировались, а разорение монастырей и горожан было вполне методичным. Заметно, что автор пытался выявить в новгородских событиях 1570 г. своеобразную и страшную рациональность в действиях царя, которая, тем не менее, привела к самым тяжелым последствиям для города. Такой подход к истории опричного погрома Новгорода в 1570 г. представлял собой новое явление для понимания русской исторической мыслью сущности и характера этого события. П.И. Сумароков, как и Н.М. Карамзин, кроме исторических трудов проявил свои таланты и в литературных произведениях.

Трагедии «Марфа Посадница, или Покорение Нова-града» П.И. Сумарокова и «Марфа Посадница» Ф.Ф. Иванова были написаны практически одновременно с повестью Н.М. Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» — в 1807 и 1809 году соответственно. Несмотря на сходство названий, произведение Сумарокова не было простым подражанием Карамзину. Напротив, автор всячески подчеркивал его оригинальность, считая необходимым в обращении «К читателю» «донести, что она кроме Исторических истин и обычных слов того века весьма мало имеет сходства с известною поэмою того же имени»[4]. Вопреки всем стараниям автора, полностью избавиться от параллелей не удалось. Основное различие произведений заключается в жанре, в котором они написаны. У Н.М. Карамзина это проза, а у П.И. Сумарокова — драматургическое произведение. Тождественность описываемых событий, использованных источников и сходство позиций определили немало общих черт в обеих трагедиях.

Образ Марфы трактовался обоими авторами весьма схоже и, в основном, негативно. И.А. Крылов в статье, посвященной пьесе П.И. Сумарокова «Марфа Посадница, или Покорение Нова-града», задается вопросом: «любовь или ненависть хотел возбудить в нем [читателе — *В.А.*] к Марфе»[5]. Вопрос этот проистекает из противоречивости характера и действий главной героини. Показательна беседа Марфы Посадницы с польским посланником. Лесть и увещевания поляка склонили чашу весов на сторону Казимира. Чтобы укрепить свое положение и достичь нужных целей, Марфа идет на сближение с Литвой. Этот факт негативно воспринимался среди бояр Новгорода. Сумароков указывал на это устами Михаила Храброго, который обвиняет Марфу в желании выйти замуж за поляка[6]. Он видит в Марфе конкурента на пути к власти и спрашивает в разговоре с Дмитрием: «или одной ей дано в удел благоразумие и любовь к отечеству?»[7]. К XV в. Новгород уже в значительной мере потерял свою силу. «Бедное отечество! усыпление твое погубит тебя конечно!.. Уже потух огонь в сердцах… Умолкли советы мудрых… рабы заменили места граждан… и властолюбивая Марфа здесь царствует»[8], — так характеризует посадник Михаил состояние дел в Великом Новгороде накануне его падения. Ему вторит Холмский: «Где величие? Где сокровища теперь?», на что Марфа отвечает: «Ты все то на полях оставил». В результате через речь князя Холмского Сумароков дает краткую, но ёмкую характеристику Марфы Борецкой: «Дерзновенная!.. о своей пользе только помышляла»[9]. Таким образом, в произведении показано отсутствие единства между новгородскими боярами.

Новгородцы, в представлении как Н.М. Карамзина, так и П.И. Сумарокова, — люди очень честолюбивые, и это не позволяет им понять свою ошибку. Ведомые представителями знатных боярских родов, они боятся потерять свободу. Прозрение настигает их только, когда жители видят благородство и справедливость московского князя. Сумароков предсказывает, что «милость, кротость с бессмертными мужами воссядут на твоём престоле; ты процветешь паче всех держав, а слава твоя удивит потомство»[10]. Эти слова князя Холмского в равной степени могут быть отнесены как к Новгороду, так и к России в целом.

Несколько иное представление о сути новгородского свободолюбия можно видеть на страницах трагедии Ф.Ф. Иванова. Автор в яркой, наполненной патриотическим чувством речи Марфы к соотечественникам подчеркивал, что «милее жизни вольность вам». Не глупая гордость движет жителями, а стремление предотвратить стремление Иоанна, который «ваших жен и чад любезных цепями хочет отягчить».

При этом автор не считает, что новгородцы совершают неправедное деяние. «Помощник правде будет бог… урок ужасный, славный дайте неправым, хищным злым царям»[11], — так характеризуется выступление новгородцев против московского царя. В трагедии Иванова новгородцы, описывая сами себя, говорят, что «мы, славянские потомки, славу предков сохраним; их деянья чудны, громки и уставы свято чтим», именно через сохранение своих древних вольных вечевых порядков видят они возможность «блаженство… блюсти»[12].

Произведения и Н.М. Карамзина, и П.И. Сумарокова начинаются с того, что «вечевой колокол ударяет»[13], а заканчиваются удалением колокола из города. Не менее значительное место отводит образу колокола в своем произведении и Ф.Ф. Иванов. Звон вечевого колокола призван подчеркнуть трагичность момента, не затихая и в момент проникновенной речи, настраивающей новгородцев на победу в битве с московскими ратями[14].

Статья Н.М. Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств. Письмо к господину NN» наряду с сочинением М.В. Ломоносова «Идеи для живописных картин по российской истории» дали толчок и определили направление дальнейшего развития новгородской темы в русском изобразительном искусстве, поддержанной Академией художеств. Значительным событием в отечественной общественной мысли стало появление «Живописного Карамзина». Иллюстрации Б.А. Чорикова в нем были тождественны представлениям о различных событиях и личностях прошлого, которые сложились в российском искусстве XIX века.

Сюжет покорения Новгорода отражен в иллюстрации «Уничтожение республики Новгородской, 1478 год»[15], выполненной Чориковым для издания «Живописный Карамзин». На переднем плане изображены три человека. Это московский воевода, опирающийся на саблю и наблюдающий за обозом подготовленных к отправке из Новгорода ценностей и пленников. Женщина и юноша — Марфа Посадница вместе со своим сыном, сумевшие дважды поднять новгородцев для отпора великому князю Московскому, — теперь пленники, которые больше никогда не вернутся на родину. В центре композиции находится символ новгородской свободы и материальное выражение гражданских традиций горожан — вечевой колокол. В ознаменование окончательного присоединения Новгорода к Московскому княжеству колокол был вывезен в Москву. За колоколом движутся плененные новгородцы с поникшими головами в окружении московских воинов.

В этой иллюстрации художник аллегорически продемонстрировал всю глубину и трагичность событий 1478 г. для Великого Новгорода. Вместе с колоколом и виднейшими гражданами из города безвозвратно

ушла его душа — то, что сумело превратить в заурядный городок среди болот и лесов один из крупнейших политических, экономических и культурных центров не только Руси, но и Европы.

Характерно, что в работах профессиональных историков и исследователей-любителей XIX в., можно встретить одни и те же цитаты из «Истории …» Карамзина, но трактовка событий прошлого у разных авторов (И.Д. Беляев, М. Сухов, Г.Ф. Карпов, О. Линд) часто существенно отличается.

И.Д. Беляев обращал внимание на целый ряд признаков, которые, по его мнению, указывали на разложение вечевого строя и скорый конец Новгорода как самостоятельного города. Среди основных признаков такого разложения историк выделял то, что «за общественные дела принялись женщины интриганки, владевшие богатыми имениями… подстрекая молодежь и водя за нос стариков, захватили нравственно всю власть в свои руки».

Еще один признак разложения вечевого строя состоял в том, что решение важных для жизни Новгорода вопросов переместилось с вечевой площади на веселые пиры. При этом, указывал Беляев, «особенно всем распоряжалась и выдавалась везде наперед богатая вдова Марфа, жена покойного посадника Исака Борецкого, со своими сыновьями». Автор подчеркивал, что Марфа брала на себя роль защитницы всех угнетенных и обиженных «в продажных Новгородских судах». По мнению И.Д. Беляева, это была не настоящая, а показная забота о людях. Сама Марфа принимала у себя очень немногих, «со строгим разбором». Можно рассмотреть сюжет о приходе к Марфе преподобного Зосимы, настоятеля Соловецкого монастыря, который прибыл, «отыскивая управы в обидах своего монастыря»[16]. В ответ на просьбу о помощи Марфа приказала прогнать старца.

М. Сухов представлял Марфу в качестве «знаменитой женщины Новгорода». Свою работу «Очерки истории Новгорода и Старой Русы» он начинает с описания прогулки по Новгороду. Одной из достопримечательностей города Сухов считает остатки дома Марфы Посадницы. Автор, локализуя его местонахождение, писал, что «в саду [разбитом на месте рва — *В.А.*] сохранился остаток бывшего рва и на нем беседка, говорят, будто бы здесь был дом Марфы Борецкой»[17]. Примечательно, что личность Марфы упоминается лишь в контексте памяти о ней в Новгороде и материальных свидетельств ее существования. Сухов не отрицал, что жестокость при покорении города имела место. Однако он оправдывал такие действия необходимостью для Ивана III «уничтожить зло в самом корню». Для этого великий князь «переселил богатейших граждан в другие города, имения их отобрал в казну, а вечевой колокол отправил в Москву»[18], — писал он.

О. Линд подчеркивал, что имели место и другие причины, которые предопределили падение независимости Новгорода при Иване III. Так, «области, входившие в состав новгородской земли, не чувствовали своего единства с главным городом и всегда были не прочь отделиться от него; новгородская область не была хлеборобна… войско его было слабо в военном отношении и… не могло устоять против княжеских полков». Однако, по его мнению, «главная причина падения Новгорода заключалась не в его слабости, а в силе московского государства»[19].

Г.Ф. Карпов представляет Новгород как раздираемый внутренними противоречиями общественный организм, который терзали «разделения партий на Вече»[20]. Многими исследователями особо подчеркивалась неспособность новгородцев на вече самостоятельно решать свои проблемы. Покорение Новгорода не ограничилось простым военным подчинением. Карпов отмечал, что «до отъезда Ивана Васильевича из-под Новгорода были пойманы Староста Купеческий, Марко Панфильев, пятеро Бояр и Марфа Борецкая с внуком, они были посланы в Москву, а имения их были отобраны на Великого Князя»[21]. После прибытия в Москву великий князь приказал «туда же привезти из Новгорода Вечевой колокол». Автор подчеркивает, что «летописец многозначительными словами определяет судьбу этой святыни Новгородской свободы: его подняли на колокольницу на площади, чтобы звонил вместе с прочими колоколами»[22]. Таким образом, Карпов отмечал огромную роль для самосознания новгородцев вечевого колокола как символа города.

Время, непосредственно предшествующее покорению Новгорода, в исследованиях различных авторов описывалось практически одинаково. Связано это с огромным влиянием на российское общество творчества Н.М. Карамзина, который, по словам А.С. Пушкина, «открыл для нас историю»[23]. Основные характеристики взаимоотношений Московского княжества и Великого Новгорода в XV—XVI вв. в российских исторических сочинениях, литературе и искусстве сконцентрированы в его научных и литературных работах. Особенностью творческого наследия Николая Михайловича является его концептуальное единство и целостность. Это обстоятельство стало определяющим для закрепления в общественной мысли исторических представлений Карамзина.

В изобразительном искусстве XIX в. можно отметить тенденцию обращения к национальным сюжетам и отход от античной тематики. Особое значение в это время имеет сочинение «Живописный Карамзин», иллюстрированное Б.А. Чориковым. Художник отразил свое видение всех основных событий русской истории, немалое число из которых связаны с историей Великого Новгорода. Нельзя однозначно говорить о полной самостоятельности Чорикова в иллюстрациях. Влияние, оказанное «Историей…» Н.М. Карамзина на все русское образованное общество, не могло миновать и художника. Кроме того, определяющее значение Карамзина зафиксировано и в названии сочинения.

Представление о средневековом Новгороде и факте его падения в XV в. в общественной мысли России можно охарактеризовать как политизированное искусственное место памяти. Значение работ Н.М. Карамзина в процессе формирования этого образа в историческом сознании русского общества можно охарактеризовать как определяющее для представителей всех идейных течений.

Примечания

1 *Сумароков П.И.* Новгородская история. СПб.: Университетская типография, 1890. С. 259.
2 Там же. С. 260.
3 Там же. С. 295.
4 *Сумароков П.И.* Марфа Посадница, или Покорение Нова-града. Драма в 3-х действиях. СПб.: Печатано в Императорской типографии, 1807. С. 6.
5 *Крылов И.А.* Марфа Посадница, или Покорение Новаграда (Драма в трех действиях, напечатана в С.-Петербурге 1807 года) // *Крылов И.А.* Сочинения. В 2-х т. М.: Правда, 1956. Т. 2. С. 361—362. С. 362.
6 *Сумароков П.И.* Марфа Посадница, или Покорение Нова-града. С. 13—14.
7 Там же. С. 9.
8 Там же. С. 8.
9 Там же. С. 77.
10 Там же. С. 80.
11 *Иванов Ф.Ф.* Марфа Посадница // Поэты начала XIX века. Библиотека поэта. Л.: Советский писатель, 1961. С. 350—351. С. 351.
12 Там же. С. 350.
13 *Сумароков П.И.* Марфа Посадница, или Покорение Нова-града. С. 7.
14 *Иванов Ф.Ф.* Указ. соч. С. 350.
15 Живописный Карамзин, или Русская история в картинах, издаваемая Андреем Прево, от покорения России татарами до восшествия на престол благославенного дома Романовых (1238—1612). Ч. II. СПб., 1838 // Живописный Карамзин, или Русская история в картинах, издаваемая Андреем Прево. Ч. 1—3. 1836—1844: Репр. изд. СПб.: «Пан Пресс», 2007. С. 95.
16 *Беляев И.Д.* История Новгорода Великого от древнейших времен до падения. Кн. 2. М.: Типография Л.И. Степановой. 1864. С. 542.
17 *Сухов М.* Очерки истории Новгорода и Старой Русы. Новгород: Новгород собств. тип., 1867. С. 1.
18 Там же. С. 15.
19 *Линд О.* Иван III. М.: Типо-литография В. Чичерина, 1910. С. 14.
20 *Карпов Г.Ф.* История борьбы Московского государства с Польско-Литовским. 1462 — 1508. Ч. 1. М.: Унив. тип., 1867. С. 55.
21 Там же. С. 88—89.
22 Там же. С. 89.
23 *Пушкин А.С.* Воспоминания. Карамзин // *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений в 10 томах. Изд. 4-е. Т. 8. Автобиографическая и историческая проза. История Пугачева. Записки Моро де Бразе. Л., 1981. С. 49—51.

Д.С. Артамонов

Вадим Новгородский в сочинениях Н.М. Карамзина и его современников

Николай Михайлович Карамзин имел огромное влияние на современников. Созданные им образы литературных и исторических персонажей прочно вошли в культурную память россиян начала XIX в. и остались в русской литературной и историографической традиции на долгое время, вплоть до сегодняшнего дня. Однако, так можно сказать не про всех персонажей великого писателя и историка, к примеру, один из них, Вадим Новгородский, исчез из литературного и исторического пространства во многом по его вине.

Вадим Новгородский — одна из самых примечательных фигур русской истории. Родившись из однократного упоминания в позднем летописном сборнике, он стал полноправным персонажем русской культуры XVIII — начала XIX вв., прочно обосновавшись как в исторических, так и в художественных сочинениях. В Никоновской летописи XVI в. под 6372 (864) г. значилось: «Того же лета оскорбишася новгородцы глаголющее: яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби новгородцев советников его»[1]. Историкам и писателям XVIII в. этих строчек летописи хватило, чтобы создать развернутый образ исторического героя, прочно закрепив его в сознании россиян в качестве реального исторического деятеля, известного тем, что не побоялся бросить вызов первому русскому князю Рюрику, приглашенному вместе с другими варягами править в Новгороде.

Фигура Вадима Новгородского в XVIII в. неоднократно привлекала внимание сочинителей исторических и драматургических произведений, и к началу XIX в. в литературе сложилось три магистральных образа его восприятия.

Первый образ создан усилиями В.Н. Татищева и императрицы Екатерины II. Согласно этой интерпретации, Вадим был славянским князем, внуком новгородского правителя Гостомыла, предводителем или «знаменем» антиваряжской группы новгородцев, храбрым воином, не побоявшимся бросить вызов могущественному правителю[2].

Второй образ восходит к историческим трудам М.В. Ломоносова, но ярче всего проявился в трагедии Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». Вадим представлен ими как тираноборец, поборник демократической формы правления, защитник славянского народа, и человек, пострадавший за свои убеждения[3].

Третий образ Вадима Новгородского принадлежит историку Ф.А. Эмину и драматургу П.А. Плавильщикову. Для них Вадим — преступник, мятежный слуга своего владетеля, охваченный гордыней и желающий безграничной власти[4].

Н.М. Карамзин не обошел вниманием фигуру Вадима Новгородского ни как историк, ни как писатель, однако, в разных своих ипостасях он действовал в отношении него противоречиво. Как писатель, Карамзин дополнил, развил образ Вадима Новгородского, добавил реалистичности в его образ, но как историк, Карамзин первым высказал мнение о легендарности фигуры Вадима и его вымышленности. Такая противоречивость интересна сама по себе и требует объяснения, но также интересно посмотреть на этот вопрос с точки зрения природы формирования исторической памяти о начале русской истории.

В исторической повести «Марфа Посадница или Покорение Новагорода», написанной в 1802 г., Н.М. Карамзин представил Вадима Новгородского, вобравшим в себя все три магистральные линии его образа. Прежде всего, Вадим у Карамзина — герой новгородцев (в Новгороде ему установлен памятник на месте, которое получило название «вадимово»), защитник новгородской вольности («славяне скоро вознегодовали на рабство»), а также предводитель восстания против власти Рюрика, иноземного правителя («Вадим Храбрый звал его пред суд народа», «пал от руки сильного Рюрика вместе со многими из своих единомышленников в Новегороде»), однако Карамзин отказывает ему в праве считаться славянским князем, полагая, что в Новгороде до прибытия варяг была свободная форма правления. Героизм Вадима у Карамзина носит тираноборческий характер, между ним и Рюриком происходит поединок («меч и боги да будут нашими судиями! — ответствовал Рюрик, — и Вадим пал от руки его...»), но его сопротивление власти варяжского князя преступно, и Вадим это осознает («Новогородцы! На место, обагренное моею кровию, приходите оплакивать свое неразумие…»[5]). Таким образом, карамзинский Вадим это и храбрый воин, не побоявшийся бросить вызов могущественному иноземному князю, «знамя» антиваряжской группы новгородцев, и тираноборец, выступающий в защиту новгородских вольностей, и преступник, поднявший восстание против законного правителя.

Именно таким, каким Вадим Новгородский был представлен в речах Марфы Посадницы в исторической повести, он стал восприниматься современниками Н.М. Карамзина. В.Ф. Раевский упоминает Вадима наряду

с Марфой Борецкой в стихотворении «Певец в темнице»[6], Г.С. Батеньков в одном из своих писем из Новгорода писал, что находится «в окрестностях вадимова места»[7], а В. Кюхельбекер в своей «Эстонской повести Адо» описывает «холм Вадимов», с которого говорятся крамольные речи[8]. Вадим Новгородский воспринимался как реальный исторический персонаж, а Н.М. Карамзин добавил его образу реалистичности.

В то же время, Николай Михайлович считал фигуру Вадима вымышленной и первым усомнился в достоверности свидетельства о нем. Никто из историков, предшествующих Карамзину, не сомневался в историческом факте существования Вадима Храброго. Были сомнения в существовании Гостомысла, того самого, кто якобы подал идею новгородцам пригласить на княжение Рюрика. К примеру, Герард Миллер в своей работе «О народах, издревле в России обитающих» считал, «что особа новгородского Гостомысла, основывающаяся на одной только летописи Новгородской баснями наполненной, есть совсем вымышлена»[9]. Все же мнение Миллера можно рассматривать как исключение, поскольку оно не получило широкого распространения, однако, сомневаясь в существовании Гостомысла, тот же Миллер нисколько не колебался в вопросе о принятии достоверности свидетельства о Вадиме и его восстании против Рюрика, хотя об этом факте говорится также только в одной летописи. Карамзин, как и Миллер, сомневается в существовании Гостомысла, но идет дальше и полностью отрицает реальность Вадима Храброго.

Впервые отрицание Вадима как исторического персонажа встречается у Карамзина в публицистической статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» (1802 г.), в которой он, изображая идиллическую (в прямом смысле этого слова) картину приглашения в славянскую землю Рюрика и его братьев, писал: «Если бы Гостомысл был в самом деле историческим характером, то мы, конечно бы захотели его изображения; но Нестор не говорит об нем ни слова. — Вадим Храбрый принадлежит также к баснословию нашей истории»[10].

В «Истории государства Российского», сообщая о роли Гостомысла в событиях, связанных с призванием варяжских князей, Карамзин почти дословно повторяет свою мысль: «Древняя летопись не упоминает о сем благоразумном советнике, но ежели предание истинно, то Гостомысл достоин бессмертия и славы в нашей Истории», а известие о Вадиме храбром историк категорично отрицает, считая, что оно «не будучи основано на древних сказаниях Нестора, кажется одною догадкою и вымыслом»[11].

Тот факт, что Карамзин приходит к отрицанию исторической достоверности свидетельств о Вадиме Храбром практически в то же время, когда работал над созданием его реалистичного образа в повести «Марфа Посадница», а потом, приступив к созданию основательного

исторического исследования по русской истории, повторяет свои сомнения в реальности этого персонажа, требует объяснений.

Из приведенных текстов Карамзина, становиться понятно, что для него главным критерием истинности исторических свидетельств русской истории является упоминание о событии летописцем Нестором. Доверие Карамзина к нему безгранично, даже когда Нестор сообщает явные небылицы. К примеру, вот что Карамзин писал о мести княгини Ольги: «Здесь летописец сообщает нам многие подробности, отчасти несогласные ни с вероятностями рассудка, ни с важностью истории и взятые, без всякого сомнения, из народной сказки; но как истинное происшествие должно быть их основанием, и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени: то мы повторим Несторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных»[12]. Видя в явных небылицах Нестора, возможное истинное зерно, более поздним летописным сообщениям о вполне возможных событиях Карамзин готов отказать в достоверности без достаточных на то оснований.

Основная причина того, что в одном случае Карамзин склонен доверять «баснословным» преданиям, а в другом отрицает вполне реалистичные события, кроется не столько в источниковедческом подходе ученого и писателя, сколько в его политической позиции и исторической концепции, которые он выражал в своих сочинениях. Николай Михайлович вполне искренне считал, что только монархическая власть благотворно влияет на россиян и основой благополучия России является консенсус самодержавного правителя и народа. Ключевым событием, доказывающим эту концепцию была история о призвании варяжских князей править[13].

В этом случае факт восстания Вадима Храброго был очень неудобен для историка, так как, если исходить из концепции добровольности призвания варягов в Новгород, создавалась нелепая ситуация: сначала позвали, потом одумались и стали сопротивляться новой власти. Допуская возможную достоверность свидетельств новейших летописцев, Карамзин попытался объяснить противоречие следующим образом: «Люди, привыкшие к вольности, от ужасов безначалия могли пожелать властителей, но могли и раскаяться, ежели варяги, единоземцы и друзья Рюриковы, утесняли их…»[14]. Таким образом, причиной восстания новгородцев под предводительством Вадима могли стать только притеснения их со стороны варяжской администрации (не в коем случае не самого Рюрика), но и это кажется историку маловероятным, а, вернее, неудобным для его концепции, так как в своих сочинениях он рисует картину благоденствия страны под скипетром варяжской династии, поэтому он сомневается в истинности известия о Вадиме и отрицает факт восстания новгородцев.

Косвенно этот тезис подтверждает то обстоятельство, что Карамзин готов был примириться в отношении недостоверности летописных данных о

Гостомысле, но был более категоричен, отрицая историчность Вадима: ведь именно Гостомысл подал благотворную мысль, а значит, он заслуживает исторического существования, а противник призванного князя — нет.

Так как добровольность призвания варягов не увязывалась с фактом восстания Вадима, нужно было как-то их примирить, а сделать это можно было, только отрицая это восстание, что Карамзин и сделал, иначе, если было сопротивление Рюрику, ему следовало предположить, что не было призвания, а было завоевание Новгорода варягами. Подобным образом рассуждал современник Карамзина Н.П. Брусилов в своем исследовании «Историческое рассуждение о начале Русского Государства», опубликованном в 1811 г. в «Вестнике Европы». Он полагал, вопреки устоявшемуся мнению, что «государство Русское основано не добровольным приглашением, но силою оружия норманнов», и ключевым доказательством этого тезиса для него было восстание Вадима Новгородского: «Рюрик … приспелъ со своими варягами, рассеял толпы едва собравшихся защитников свободы, предал смерти Вадима и его сообщников, и на сем камени создал державу, сей колосс, удивляющий и ужасающий вселенную!»[15].

В исторической повести «Марфа-Посадница или Покорение Новагорода» Карамзин точно так же, как и в «Истории государства Российского» объясняет причину восстания новгородцев тем, что они раскаялись в добровольном подчинении иноземным властителям: «Но когда Рюрик захотел самовольно властвовать, гордость славянская ужаснулась своей неосторожности, и Вадим Храбрый звал его пред суд народа»[16]. Однако, в повести нет отрицания факта восстания или даже сомнения в его достоверности, наоборот, Вадим, как уже отмечалось выше, описан очень реалистично и представляет собой один из самых ярких тираноборческих образов.

В этом можно увидеть противоречие в позициях Карамзина как историка и как писателя (с исторической точки зрения Вадим — не существовавший никогда персонаж, с художественной — реальная личность), но это противоречие кажущееся. В повести «Марфа Посадница» Вадим Храбрый — часть исторического предания о свободолюбивом Новгороде. Вполне возможно, что Карамзин считал именно Марфу Борецкую или ее окружение создателями легенды о Вадиме, ведь откуда то она появилась и была занесена в поздние списки летописи. Даже если это предположение не верно, все равно Вадим Новгородский в «Марфе Посаднице» — вымышленный персонаж, привлеченный Карамзиным для решения не только художественной задачи, но и для обоснования своей неизменной концепции о благотворности монархической власти.

Историческая повесть о покорении Новгорода Иваном III воспринималась современниками как тираноборческий текст, однако таковым она не являлась. В этом произведении Карамзин показывает, ка-

кие ужасы ждут тех, кто противится самодержавной власти. На всем протяжении книги писатель проводит прямую историческую аналогию между противостоянием Рюрика и Вадима Храброго и сопротивлением Марфы Борецкой великому князю Ивану III. Марфа-посадница обращается в своих речах к Вадиму — символу свободолюбивого Новгорода, князь Холмский, посланник московского князя, апеллирует к авторитету Рюрика — символу законной власти. Таким образом, противостояние Рюрика и Вадима перенесено Карамзиным в совершенно другой исторический период, в котором они выступают не как реальные исторические персонажи, а как символы, однако природа их соперничества осталась прежней. Рюрик представлял легитимную (по призванию) справедливую монархическую власть, а Вадим олицетворял собой образ тираноборца, противника самодержавного правления, осознавшего свое заблуждение, после неудачного восстания.

Н.М. Карамзин прекрасно осознавал, какую опасность таит в себе существование в русской истории символа тираноборчества, ее он прекрасно описал в сценах захвата Новгорода войсками Ивана III и несчастьях новгородцев, поэтому счел за лучшее объявить Вадима Новгородского вымыслом, не желая подтверждать его историчность своим авторитетом. Кроме того, к тому моменту, когда Карамзин обратился к художественному и историческому изображению Вадима, тот уже имел длительную историю развития, и попытка совместить все ее линии привела к созданию достаточно противоречивого исторического героя. Видимо, Карамзин это также очень хорошо понимал, поэтому высказал мнение о баснословии истории Вадима.

В начале XIX в. Вадим Новгородский остается популярной исторической фигурой, привлекающей внимание выдающихся российских литераторов. Однако, исследователями давно подмечено[17], что в это время уже не создаются законченные произведения, посвященные сюжету восстания в Новгороде и самому Вадиму Новгородскому. В 1803 г. В.А. Жуковский в своей неоконченной повести «Вадим Новгородский» [18], а затем и в балладе «Вадим» 1810—1817 г.[19] изображает Вадима изгнанником, вынужденным покинуть Новгород. В 1820-е гг. сразу три талантливых поэта обратились к легенде о призвании варягов и образу Вадима Новгородского в своих неоконченных произведениях: К.Ф. Рылеев в набросках «Думы» «Вадим»[20], А.С. Пушкин в отрывках поэмы «Вадим»[21] и в одноименной трагедии[22], а также А.С. Хомяков в неоконченной поэме[23]. Трагедия Хомякова, так же как и баллада Жуковского, имели к Вадиму Новгородскому, как историческому персонажу, весьма отдаленное отношение, но в произведениях Пушкина и Рылеева прослеживается очень сильное влияние Н.М. Карамзина. В частности, оба автора, считали, что новгородцы сначала призвали варягов, а потом раскаялись в этом. Одна-

ко, развить популярный исторический образ ни у кого из них не получилось, а введенный Жуковским мотив изгнания не смог помочь в этом деле и завел авторов в тупик, из которого они так и не нашли выхода.

Сомнения Н.М. Карамзина в достоверности свидетельств о Вадиме Новгородском были поддержаны историками следующих поколений, как литературный герой он также перестал быть интересен писателям, вследствие чего историческая наука и массовое сознание пошли по пути вытеснения его из исторической памяти.

Примечания

[1] Русская летопись по Никонову списку. СПб., 1767. Т. 1. С. 16; ПСРЛ. Т. 9. С. 9.

[2] *Татищев В.Н.* История Российская. В 3 т. М., 2005. Т. 1. С. 54—55, 65; Т. 2. С. 585; Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями / А.Н. Пыпин. Т. 8. Труды исторические. Записки касательно российской истории. Ч. I—II. СПб., 1901. С. 24—27; *Екатерина II.* Подражание Шакеспиру, историческое представление без сохранения театральных обыкновенных правил, из жизни Рюрика // Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей с объяснительными примечаниями / А.Н. Пыпин. Т. 2. Драматические сочинения. СПб., 1901. С. 220—251.

[3] *Ломоносов М.В.* Древняя российская история от начала российского народа до кончины Великого князя Ярослава первого или до 1054 г. СПб., 1766. С. 59; *Княжнин Я.Б.* Вадим Новгородский // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М.: Художественная литература, 1991. С. 547—594.

[4] *Эмин Ф.А.* Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, все великие и вечной достойные памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере златого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. СПб., 1767. Т. 1. С. 81; *Плавильщиков П.А.* Рюрик // Русская литература. Век XVIII. Трагедия. М.: Художественная литература, 1991. С. 595—642.

[5] *Карамзин Н.М.* Избранные сочинения в двух томах / Подгот. текста и примеч. П. Беркова. М.; Л.: Художественная литература, 1964. Т. 1. С. 680—728.

[6] *Раевский В.Ф.* Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Документы о революционной деятельности и судебном процессе. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980. С. 197.

[7] *Батеньков Г.С.* Сочинения и письма. Т. 1. Письма. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1989. С. 181.

[8] *Кюхельбекер В.К.* Сочинения / Сост., подгот. текста, коммент. В. Рака, Н. Романова; Вступ. ст. Н. Романова; Коммент. В. Рака, Н. Романова. Л.: Художественная литература, 1989. С. 333.

[9] *Миллер Г.Ф.* Труды по истории, географии и этнографии, История науки, Предисловия к различным сочинениям. Избранные труды. М., 2007. С. 92.

[10] *Карамзин Н.М.* Избранные сочинения. Т. 2. С. 190.

[11] *Карамзин Н.М.* История государства российского. СПб., 1818. Т. 1. С. 132, 134.

[12] Там же. С. 186.

[13] *Жесткова Е.А.* Концепция истории и вопросы сюжетосложения «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Труды современной гуманитарной академии. М., 2010. № 3. С. 129—141.

[14] *Карамзин Н.М.* История государства российского. С. 134.

[15] *Брусилов Н.П.* Историческое рассуждение о начале Русского Государства // Вестник Европы. 1811. Ч. LV, № 4. С. 312—316.

[16] *Карамзин Н.М.* Избранные сочинения в двух томах. Т. 1. С. 688.

[17] *Кошелев В.А.* Пушкин и легенда о Вадиме Новгородском // Литература и история (исторический процесс в творческом сознании русских писателей и мыслителей XVIII—XX вв.). СПб., 1997. Вып. 2. С. 93—109; *Китанина Т.А.* Предание о Вадиме Новгородском в политической драме конца XVIII — начала XIX в., или почему Пушкин так и не написал трагедию «Вадим» // «...Он видит Новгород Великой»: Материалы VII Междунар. пушкинской конф. «Пушкин и мировая культура». Великий Новгород, 31 мая — 4 июня 2004 г. СПб.; Новгород, 2004. С. 14—20.

[18] *Жуковский В.А.* Вадим Новогородский // Вестник Европы. 1803. Ч. 12, № 23—24. С. 211.

[19] *Жуковский В.А.* Собрание сочинений в 4 т. М.; Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. Т. 2. С. 111—134.

[20] *Рылеев К.Ф.* Думы. М.: Изд-во АН СССР, 1975. С. 111—113.

[21] *Пушкин А.С.* Вадим: Отрывок из неоконченной поэмы, 1821—1822 // *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. Т. 4. Поэмы. Сказки. С. 120—124.

[22] *Пушкин А.С.* Вадим: («Я ждал тебя Рогдай; скажи какую весть...») // *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979. Т. 5. Евгений Онегин. Драматические произведения. С. 413.

[23] *Хомяков А.С.* Стихотворения и драмы. Л.: Советский писатель, 1969. С. 475—505.

В.Д. Пузанов

Россия и Европа в исторических работах Н.М. Карамзина

В отечественной историографии, начиная с Н.А. Полевого, сформировалось и постепенно укрепилось представление о Н.М. Карамзине как о беллетристе, авторе «красиво написанной летописи», «галереи портретов», которая не отвечает ни на один «философский вопрос». Такое нигилистическое отношение к работам Н.М. Карамзина было окончательно сформулировано П.Н. Милюковым, по мнению которого главный труд историографа России ничего не дал российской исторической науке, а только беспомощно завершил старый период ее развития[1]. При этом в историографическом труде П.Н. Милюкова, где содержится подобный вывод, именно анализ исторической концепции Н.М. Карамзина занимает центральное место (раздел Карамзин и его современники, с. 128—224). Характерно и то обстоятельство, что вся русская историография XVII — первой трети XIX в. разделена П.Н. Милюковым на 2 периода: «Период первый — до Карамзина (включительно)» и «Период второй — после Карамзина». Не случайно подобная оценка принадлежала перу одного из лидеров российского либерального радикализма предреволюционной поры, мечтавшего о создании новой культурной традиции в России. К сожалению, в российской культуре XIX — первой половины XX в. историческое творчество Н.М. Карамзина рассматривалось, прежде всего, через призму политических вопросов. «История» Н.М. Карамзина воспринималась и подвергалась нападкам в качестве одного из символов старой монархической России.

В XX в. начинается второе открытие творчества Н.М. Карамзина в российской историографии и культуре. С.Ф. Платонов в речи, посвященной Карамзину, отмечал, «В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы, как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию, как одну из Европейских стран, и русский народ, как одну из равнокачественных с прочими наций»[2]. Крупнейшие исследователи русского средневековья С.Б. Веселовский, М.Д. Приселков высоко оценивали источниковедческий уровень работы Н.М. Карамзина. Жизнь и творчество раннего

Н.М. Карамзина были глубоко переосмыслены в замечательных работах Ю.М. Лотмана. В подобной переоценке нуждается и главный труд Н.М. Карамзина — «История государства Российского», многие идеи которого требуют нового осмысления.

В XIX в. в российской исторической науке славян было принято считать европейским народом, который был вынужден покинуть родину — земли по р. Дунай — в результате движения других народов. В «Истории» Н.М. Карамзин отмечал, что славяне, как и другие народы Европы, скорее всего пришли из Азии — «колыбели всех народов», что согласуется «с преданиями Священными» и данными филологии о родстве европейских и азиатских языков. Однако, так как первые исторические данные сообщают о славянах — венедах как жителях Европы, то, как отмечал историк, «считаем Венедов Европейцами, когда История находит их в Европе. Сверх того, они самыми обыкновениями и нравами отличались от Азиатских народов…»[3].

Позднее, размышляя над историей России, Карамзин отметил глубокую связь славян с Востоком — «древний характер Славян являл в себе нечто Азиатское; являет и доныне: ибо они, вероятно, после других Европейцев удалились от Востока, коренного отечества народов». Карамзин отмечает, что после распада Римской империи военные силы славян на Западе были достаточны для завоевания Европы, но отсутствие у них политического единства привело большинство славянских народов, кроме русского, к потере независимости. Славянские народы в древности расселились на громадной территории «от моря Балтийскаго до Адриатическаго, от Эльбы до Мореи и Азии… они, сильные числом и мужеством, могли бы тогда, соединясь, овладеть Европою; но, слабые от развлечения силъ и несогласия, почти везде утратили независимость, и только один из них, искушенный бедствиями, удивляет ныне мир величиемъ». Когда после падения Рима наследниками античной культуры Запада стали германские народы («основалось в Европе владычество народов германских»), то Россия вошла «в сию новую, общую систему», добровольно призвав варягов. Карамзин полагал, что главным фактором этого вхождения стало призвание князей из Северной Европы — «Скандинавия, гнездо витязей беспокойных… дала нашему отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами…»[4]. Всего за сто лет ранней истории, к концу X в. «Европейская Россия была уже не менее нынешней… она достигла от колыбели до величия редкого». По характеристике Карамзина, в это время «Россия превосходила обширностию едва ли не все тогдашния Государства Европейския… рожденная, возвеличенная Единовластиемъ, не уступала в силе и в гражданском образовании первейшим Европейским Державам, основанным на развалинах Западной Империи народами Германскими»[5].

В X—XIII вв. Россия была частью политического и культурного мира Европы, а культурная близость к Византии после Крещения Руси даже давала ей бóльшие преимущества по сравнению с государствами Западной Европы: «Имея тот же характер, те же законы, обычаи, уставы государственные, сообщенные нам Варяжскими или Немецкими Князьями, явилась в новой политической системе Европы с существенными правами на знаменитость и важною выгодою быть под влиянием Греции, единственной Державы, не испроверженной варварами»[6]. В «Записке о древней и новой России» Карамзин отмечал, что принятие Русью православия и культурное влияние Византии — единственного государства Европы, сохранившего античную культурную традицию, предоставило ей возможность не только быть равной, но и первой по уровню просвещения среди других государств Европы раннего средневековья: «… свирепость диких нравов смягчилась верою христианскою; на берегах Днепра и Волхова явились искусства византийские. Ярослав дал народу свиток законов гражданских, простых и мудрых, согласных с древними немецкими. Одним словом, Россия не только была обширным, но, в сравнении с другими, и самым образованным государством»[7].

Первая половина XI в. — эпоха сына Владимира, «правление Ярослава Великаго» — время расцвета Российской державы «есть без сомнения сие счастливое для России время», когда Христианство и «порядок государственный» создают основу для развития общества: «…она имела наставников совести, училища, законы, торговлю, многочисленное войско, флот, Единодержавие и свободу гражданскую». Западная Европа в XI в. находилась в политическом и культурном упадке, являясь «театром Поместнаго (Феодальнаго) тиранства, слабости Венценосцев, дерзости Баронов, рабства народнаго, суеверия, невежества»[8].

Разрыв в историческом пути России и Европы по Карамзину начался в XI в. когда «разделение нашего отечества и междоусобныя войны, истощив его силы, задержали Россиян и в успехах гражданскаго образования»[9]. Удельная система, от раздела Руси Ярославом Мудрым в 1054 г. привела к разделению и ослаблению России. В это время Европа начала движение «к просвещению», началом которого стали крестовые походы, которые сообщили Европе «сведения и художества Востока; оживили, распространили ее торговлю». Карамзин отметил здесь и другие факторы — подъем хозяйства и рост городов, усиление государственной власти и ослабление влияния баронов, возрождение римского права «обретение Юстинианова Кодекса в Амальфи», всеобщее распространение латыни среди элиты, которая давала европейцам возможность обратиться к античному наследию, уцелевшему в варварскую эпоху.

В «Записке» Карамзин отмечал, что германские народы после крушения Западной Римской империи дали Европе не только новую си-

стему государств, но и «государственную общую язву тогдашнего времени» — удельную систему, которая после раздела Руси Ярославом Мудрым привела к разделу и «падению державы». Историк справедливо отмечает военный характер создания первого «государства российского» — «страсть наших первых князей к завоеваниям и единовластие, ими основанное» подчинили «слабые, несогласные державы народные» и создали единую Россию[10]. Раздел Руси на уделы привел к «падению державы, основанной единовластием на завоеваниях», к утрате «могущества и благоденствия народа».

По мнению историка, «в XIII веке мы уже отставали от Держав Западных в государственном образовании»[11]. Европейские государства — соседи Руси Польша, Венгрия — не были для нее в то время большой угрозой, так как сами испытывали те же проблемы. Варвары монголы и Литва, недавний данник русских князей, не знавшие еще удельной системы, разделили Русь. Этот разрыв был углублен нашествием монголов в XIII в., после чего Россия «около трех веков находилась вне круга Европейской политической деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов»[12].

Нашествие и власть варваров «сокрыла от нас Европу». Когда на Западе происходил рост просвещения и культуры, «когда благодетельныя сведения и навыки более и более в ней размножались, народ освобождался от рабства, города входили в тесную связь между собою для взаимной защиты в утеснениях; изобретение компаса распространило мореплавание и торговлю; возникали Университеты для вышних Наук; разум приучался к созерцанию, к правильности мыслей; нравы смягчались». В это время Россия должна была бороться за свое существование, «нам было не до просвещения»[13].

Последствием власти варваров стало «нравственное унижение людей». Влияние кочевников привело к серьезным изменениям в характере русского народа: «Забыв гордость народную, мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая Татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее, и безчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплеменных тиранов»[14]. В итоге Карамзин делает печальный вывод о глубоких последствиях завоевания: «…может быть, самый нынешний характер Россиян еще являет пятна, возложенныя на него варварством монголов». Под властью варваров изменился «внутренний государственный порядок» — ушли традиции городской демократии, ослабла власть бояр, «рождалось самодержавие», которое позднее освободило Россию от кочевников.

По мнению Карамзина, благодаря христианству, в русском обществе распространялись скорее «византийские обычаи», кроме тяжелых по-

следствий в нравственности, варвары не оставили глубокого следа в характере и культуре русского народа «россияне вышли из-под ига более с Европейским, нежели Азиатским характером. Европа нас не узнавала: но потому, что она в сии 250 лет изменилась, а мы остались, как были. Ея путешественники XIII века не находили даже никакого различия въ одежде нашей и Западных народов: то же без сомнения могли бы сказать и в разсуждении других обычаев»[15]. В эту эпоху прекратились государственные отношения России с Европой, но торговые и культурные связи продолжались, русские «довольно скоро узнавали важнейшия Европейския открытия, как-то изобретение бумаги и пороха».

Россия вернулась в Европу не при Петре I, а в эпоху Ивана III, который перенимал оттуда самое нужное для государства и «есть Герой не только Российской, но и Всемирной Истории… сделался одним из знаменитейших Государей в Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до Царьграда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни Императорам, ни гордым Султанам»[16].

В правление Ивана III «образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которыя, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической»[17]. Историк справедливо отмечал, что Русское государство Ивана III формировалось в эпоху глубоких культурных и политических перемен в Европе, когда «власть Королевская усилилась» в Англии, Франции, Испании, Португалии, Дании, а в «раздленной» Италии процветали науки и искусства. «Иоанн явился на театре политическом в то время, когда новая государственная система вместе с новым могуществом Государей возникала в целой Европе на развалинах системы Феодальной». Россия XV в. становится частью этой новой государственной европейской системы. По глубокой мысли Карамзина именно Иван III включил «Россию в общую государственную систему Европы»[18].

Результатом политики Ивана III стала новая политическая роль Русского государства в мире: «Россия, как Держава независимая, величественно возвысила главу свою на пределах Азии и Европы, спокойная внутри, и не боясь врагов внешних». Карамзин считал Ивана III и Петра I крупнейшими государственными деятелями, реформаторами русской истории, отдавая предпочтение политике Ивана III, который, «ревностно заимствуя искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственнаго характера подданныхъ», приглашал в Россию иностранцев, «…но единственно таких, которые могли служить ему орудием в делах Посольских или торговых; любил изъявлять им только милость, как пристойно великому Монарху, к чести, не к унижению собственнаго народа». Карамзин видел глубокую связь между современной историку Российской империей, и Россией Ивана III: «Россия нынешняя образована Иоанном; а великия

Державы образуются не механическим слеплением частей, как тела минеральныя, но превосходным умом Державных»[19].

В «Письмах русского путешественника» молодой Карамзин связывал процесс европеизации России только с Петром: «…русские не расположены, не готовы были просвещаться. При царе Алексее Михайловиче жили многие иностранцы в Москве, но не имели никакого влияния на русских, не имев с ними почти никакого обхождения. Одна только ревностная, деятельная воля и беспредельная власть царя русского могла произвести такую внезапную, быструю перемену»[20].

В Записке 1811 г. историк отмечает, что в XVII в. после Смуты усиливается процесс европеизации России: «…вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве». Однако в это время европейские традиции усваиваются обществом очень своеобразно, входят «постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым»[21]. Эта очень глубокая мысль Карамзина о мягкой, тихой европеизации XVII в. позднее была развита В.О. Ключевским и С.Ф. Платоновым[22].

Новая эпоха в отношении к Европе начинается в правление Петра I, целью которого «было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских...». В «Письмах» Карамзин отмечал: «Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Немцы, французы, англичане были впереди русских по крайней мере шестью веками; Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их… Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Все *народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не славянами»[23].

Позднее, в «Записке» историк отмечал великодушие, проницательность, волю, деятельность государя, видел его большие заслуги в том, что Петр «исправил войско… завоевал Ливонию, сотворил флот… завел мануфактуры, училища, академию», и полагал — главный итог правления Петра I в том, что именно первый император «поставил Россию на знаменитое место в политической системе Европы»[24]. Однако «блестящее царствование» Петра I имело и «вредную сторону» — разрушение культурных русских обычаев и традиций. Карамзин очень высоко ставил европейское просвещение, «но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия».

Петр «уничтожил достоинство бояр», в результате введения «европейской вольности» началось разрушение семейных нравов знати,

уничтожил патриаршество. Эти преобразования затронули главным образом дворянство, результатом стал культурный раскол русского общества — «высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах, ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний». Кроме того, уничтожение патриаршества привело к упадку духовенства в России. Карамзин критично замечает, что худо образованный «пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию — Голландиею». Итогом петровской европеизации стало ослабление «народного духа и веры», основ русского общества, которые спасли независимость государства. «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России. Виною Петр»[25]. При последователях Петра I «Россия текла путем, предписанным ей рукою Петра, более и более удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими»[26]. В политике «умной Екатерины» Карамзин особенно выделяет внешнюю политику: «Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Петр удивил Европу своими победами — Екатерина приучила ее к нашим победам». Однако, в правление Екатерины «многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись… чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало»[27].

В «Записке о древней и новой России» Карамзин говорит о России как стране, соединяющей в себе традиции и Азии и Европы, и дает очень важную характеристику российской цивилизации: «Во глубине Севера, возвысив главу свою между азиатскими и европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира: смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашею долговременною связью с монголами, — византийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою верою, и некоторых германских, сообщенных им варягами». Таким образом, по убеждению Н.М. Карамзина, Россия соединяет в себе несколько глубоких культурных традиций — «смесь древних восточных нравов», византийское наследие и часть западноевропейских «германских»[28].

Н.М. Карамзин достиг в исторических трудах синтеза приверженности к европейскому просвещению, которое оставалось для него важнейшей ценностью исторического процесса, и глубокой сыновей любви к наследию и традициям старой России. В ранних произведениях он высказывает много идей, которые позднее стали отличительными идеями западников. Зрелый Карамзин критикует Петра I и его последователей за разрушение старых традиций русской культуры не менее радикально, чем это делали затем славянофилы. Но зрелый Карамзин — это не западник и не славянофил, сторонник великого синтеза русской культуры, сочетающей в себе традиции Востока и Запада. Карамзин — это историограф исторического пути Российской империи во всей его сложности и противоречиях и писатель, для которого свобода и просвещение — это великое достояние человека. Позднее философ, историк русской культуры Г. Федотов очень верно назвал А.С. Пушкина «Певец империи и свободы». К старшему современнику Пушкина Н.М. Карамзину эта характеристика подходит не менее, чем великому поэту, для которого исторические взгляды да и сама личность Н. М. Карамзина были очень важны.

Примечания

[1] *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. Спб., 1913. С. 224.
[2] *Платонов С.Ф.* Н. М. Карамзин. Спб., 1912. С. 8.
[3] *Карамзин Н.М.* История Государства Российского. Т. 1. М., 1988. С. 9.
[4] *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. М., 1991. С. 16.
[5] *Карамзин Н.М.* История… Т. 1. С. 141.
[6] Там же. Т. 5. С. 215.
[7] *Карамзин Н.М.* Записка… С. 18.
[8] *Карамзин Н.М.* История… Т. 5. С. 215.
[9] Там же. Т. 5. С. 215.
[10] *Карамзин Н.М.* Записка… С. 17.
[11] *Карамзин Н.М.* История… Т. 5. С. 215.
[12] Там же. С. 215.
[13] Там же. С. 216.
[14] Там же. С. 216.
[15] Там же. Т. 5. С. 225.
[16] Там же. Т. 6. С. 210.
[17] Там же. Т. 6. С. 5
[18] Там же. Т. 6. С. 216
[19] Там же. Т. 6. С. 216
[20] *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. М., 1984. С. 254.
[21] *Карамзин Н.М.* Записка… С. 31.
[22] *Ключевский В.О.* Курс русской истории. М., 1990. Ч. 3; *Платонов С.Ф.* Москва и Запад.в XVI—XVII вв. Л., 1925.
[23] *Карамзин Н.М.* Письма… С. 253.
[24] *Карамзин Н.М.* Записка… С. 32.
[25] Там же. С. 35.
[26] Там же. С. 40.
[27] Там же. С. 42 — 43.
[28] Там же. С. 23.

А.В. Журавель

Н.С. Арцыбышев и «История государства Российского»: источниковедческий аспект

Н.С. Арцыбышев — во многих отношениях «двойник» и антипод Н.М. Карамзина: они даже родились в один и тот же день, но с интервалом в несколько лет (1/12 декабря 1773 и 1766 гг.). И если Карамзина можно счесть баловнем удачи — его ждали прижизненная слава и посмертное признание, то Арцыбышев ничего подобного не получил.

О нем более или менее широко узнали благодаря его критике карамзинской «Истории» и сочли чуть ли не завистником и бездарностью, покусившимся на святыню. Его «Повествование о России» читали лишь единицы — такие «чудаки», как С.М. Соловьев и К.Н. Бестужев-Рюмин. Поэтому труд его остается не переизданным до сих пор.

С легкой (или тяжелой) руки В.С. Иконникова[1], позднейшие энциклопедии заносили Н.С. Арцыбышева в число представителей скептической школы, а историки его работой не интересовались совсем, лишь изредка заглядывая туда для справки и прояснения каких-либо частных вопросов.

О полемике Н.С. Арцыбышева с Н.М. Карамзиным кое-какая литература имеется[2], но его «Повествование о России» как исторический памятник не исследовался никогда. Между тем оно представляет собой весьма самобытный документ эпохи, в некотором смысле не потерявший научного значения до сих пор. Во всяком случае опыт Н.С. Арцыбышева следовало бы учитывать как современным историографам, так и источниковедам.

Современников и потомков, заглядывавших в «Повествование о России», сбивала с толку внешняя непритязательность книги: в ней невозможно найти какую-либо концепцию; идет лишь однообразный пересказ летописей и иных источников; в примечаниях приводятся соответствующие цитаты и даются в ряде случаев к ним комментарии и технические, чаще источниковедческие, замечания.

Между тем, это не было следствием какого-либо недомыслия. Подход Н.С. Арцыбышева был вполне осознанным и совсем не «примитивным». Его отказ от «лишесловия» и нежелание выдумывать концепции вызваны были как общим философским подходом, так и пониманием,

что российская историческая наука его времени находилась еще в младенческом состоянии и не дозрела до выработки общих концепций. В одном из своих стихотворений, обращаясь к человеку своего времени, Н.С. Арцыбышев выдает чеканную формулу:

Велик ты в круге только тесном,
Но мал на поприще небесном;
Твой ум созреть еще не мог,
Чтоб тайны все понять судьбины:
Хоть можешь знать ты часть средины,
Конец с началом знает Бог[3].

Именно неполнота исторических знаний заставляла его воздерживаться от поспешных суждений и остро критиковать Н.М. Карамзина за склонность к «исторической живописи» и необоснованным обобщениям. Привнесения в научные труды новейших политических идей также быть не должно, а именно этим, на взгляд Н.С. Арцыбышева, грешил Н.М. Карамзин.

Важнейшей насущной задачей ученого, по Н.С. Арцыбышеву, должно быть установление исторических фактов и помещение их в ткань времени; толкование их — дело уже последующего этапа.

Об этом автор «Повествования» иногда высказывается при описании тех или иных исторических событий и деяний исторических лиц. Так, Н.С. Арцыбышев совершенно не верит летописным рассказам о древлянских посольствах к княгине Ольге и ее карательном походе, считая, что «баснословие Несторово» не достойно «места в Истории»[4]. При этом он считает, что «священный долг Бытописания запрещает обвинять всякого человека в злодействе, если оно не обнаружено ясно»[5]. Следуя этому правилу, он стремится если не прямо реабилитировать, то найти достоинства тех или иных исторических деятелей. Бранные слова в адрес исторических лиц, звучащие в источниках, лучше не воспроизводить, о хвалебных — в умеренном виде — умалчивать не стоит. Чаще всего это касается русских правителей, но не только их.

Приведенная выше цитата касается князя Олега, хитростью убившего Аскольда и Дира, но сходным образом Н.С. Арцыбышев ведет себя и по отношению к польскому королю Болеславу, как говорят русские летописи, положившего на ложе Предславу Владимировну. «Но *положить к себе на ложе* не значит еще сделать наложницею», — возражает Н.С. Арцыбышев и первым из историков замечает, что, по Титмару Мерзербургскому, Болеслав на Предславе женился, а не просто взял наложницей[6], что, собственно, ныне подтверждает А.В. Назаренко[7].

Историк, руководствуясь таким подходом, обнаружил несообразность в официозном толковании обстоятельств гибели князя Владими-

ра: в частности, заметил, что, по Титмару, тот оставил власть именно Борису и Глебу, что и сделало их жертвами «Святополкова властолюбия»[8]. Дальше Н.С. Арцыбышев не идет, но и гневных филиппик в адрес Святополка также не высказывает, «Окаянным» его не называет.

В связи с полемикой с Н.М. Карамзиным, достаточно широкую известность получила позиция Н.С. Арцыбышева по поводу «тирании» Ивана Грозного, а также его неверие в виновность Бориса Годунова в убийстве царевича Дмитрия. Историк не доверял «порочащих» царя свидетельствам иностранцев и Андрея Курбского просто потому, что они — враги, хотя их «полезные» данные об Иване Васильевиче порой приводил.

Не верил Н.С. Арцыбышев и в отравление М.В. Скопина-Шуйского Д.И. Шуйским, хотя и в примечаниях приводил «подозрительные» свидетельства, дающие почву для такой версии.

Иными словами, ученый, исходивший в своей книге из презумпции невиновности исторических лиц, в ряде случаев оказывался тенденциозным и не освещал некоторые исторические ситуации во всей их полноте не из-за состояния источниковой базы (ее недостаток остро ощущается по материалам XVII в.), а из-за собственных предпочтений.

Справедливости ради следует сказать, что в некоторых случаях текст книги подвергся цензуре: так, из Книги VII было изъято описание дела царевича Алексея[9]. Полностью отсутствует история раскола, что тоже довольно странно.

Образцом для Н.С. Арцыбышева служили исследования А.Л. Шлёцера, о чем он прямо говорит в кратком предисловии к книге. О том, что он хорошо был знаком с ними, сомневаться не приходится: переводчиком шлёцеровского «Нестора» на русский язык был друг Н.С. Арцыбышева Д.И. Языков[10].

Как известно, Н.М. Карамзин также высоко оценивал вклад Шлёцера в изучение русских летописей и тоже пытался следовать его принципам. В этой связи интересно сравнить, чем отличались Н.М. Карамзин и Н.С. Арцыбышев в источниковедческом плане. В этом отношении важны два момента.

1. Н.М. Карамзин имел в своем распоряжении бесконечно большее число источников и мог работать с ними в оригинале, в то время как Н.С. Арцыбышев пользовался только печатными изданиями.

2. «История» Н.М. Карамзина сама оказалась для Н.С. Арцыбышева источником: из нее — прежде всего из «Примечаний» — тот «выуживал» цитаты из летописей и прочих документов, прежде всего из Ипатьевской летописи (Н.М. Карамзин цитировал ее по Хлебниковскому списку). Кроме того, суждения Н.М. Карамзина как историка оказывались — конечно, не предметом исследования, — но предметом внимания Н.С. Арцыбышева…

О конкретных приемах работы Н.С. Арцыбышева с карамзинскими текстами скажу ниже, а пока обратимся к его методологии. В этом отношении обильную почву дают материалы середины XII в., о которых подробно рассказывается в летописях Ипатьевской группы, к которым — помимо известных ее списков — относились источники В.Н. Татищева, в частности, Раскольничья, а также Воскресенская летопись, которая на данном отрезке времени включала в себя близкий к перечисленным выше текст.

Так, описывая события 1147 г., в частности, неудачный поход Святополка Мстиславича из Новгорода на Суздаль, Н.С. Арцыбышев дает следующий комментарий:

> «При описании этих случаев летописи не согласны с новейшими историками, руководствовавшимися неизданною *Кле.* [Киевской летописью]; но как *Ирт.* II.214 и далее [“История Российская” В.Н. Татищева в издании 1768—1784 гг.] есть перевод с последней, в котором изложение могло быть переиначено; а повествование *Игр.* II.224 [“История государства Российского” Н.М. Карамзина] утверждено только (в прим. 310) словом: “См. *Киев[скую] лет[опись]*” без приобщения подлинных слов, и оба упомянутые сочинения между собою разноречат, то не имея в виду настоящих слов *Кле.* для сверки с другими списками, решились мы следовать *Вос.* и прочим находящимся у нас летописям»[11].

В этой в высшей степени характерной реплике — квинтэссенция методологии Н.С. Арцыбышева: (1) во внимание должны браться первоисточники, в данном случае — *Киевская летопись*. Коль скоро она в полном виде не издана (на деле — не сохранилась), то использоваться должны в первую очередь летописи, содержащие извлечения из нее. (2) Из-за того что историки новейшие, т.е. в данном случае В.Н. Татищев и Н.М. Карамзин, точных цитат не дают, а пересказы чреваты неточностями (в другом месте автор признает, что сам по себе перевод на современный язык — «порча» текста[12]), то (3) надежнее использовать поздний источник, т.е. в данном случае Воскресенскую летопись.

В своих дальнейших примечаниях автор скрупулезно отмечает подобные же случаи или места, где Н.М. Карамзин в примечаниях обрывает цитаты на полуслове, ограничиваясь пересказом в основном тексте, и высказывает сожаления о том, что подлинных слов не приведено[13].

При этом Н.С. Арцыбышев не видит никакой разницы между текстами В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина (это в равной степени пересказы, в которых могут быть неточности). Он чаще такие пересказы не берет во внимание, иногда, когда существенные по содержанию суждения Н.М. Карамзина и В.Н. Татищева в главном совпадают, их воспроизводит, но все равно предпочитает им цитату из летописи.

Более того, нередко Н.С. Арцыбышев с помощью татищевских текстов правильно восстанавливает и толкует усеченные Н.М. Карамзиным цитаты из летописи. Например, в примечании к описанию битвы русских князей с половцами 1185 г. читаем:

> «*Кле*. Т.Ж.: “и с всеми полками не стряпа поиде” (*Ирт*. III.259: “с Рюриком”) противу им... отрядиста (двойственное число; следственно, *Ирт*. права, хотя в *Кле*. имени Рюрикова и не упомянуто) Володимера (Переяславского) в навороп (см выше № 420) и Мьстислава Романовича, а сами поидоста на заде»[14].

Здесь Н.С. Арцыбышев резонно, на основании имеющегося в тексте двойственного числа и слов В.Н. Татищева, заключил, что в Киевской летописи, не полностью процитированной Н.М. Карамзиным, речь шла о двух князьях — не только о Святославе Всеволодиче, но и и о Рюрике Ростиславиче. И действительно, в Ипатьевской летописи перед «отрядиста» стоят предполагаемые Н.С. Арцыбышевым слова: «Рюрик же и Святослав…»[15].

Время от времени ученый пускается в сопоставления карамзинских и татищевских суждений и высказывает предпочтения то в одну, то в другую сторону, но это предпочтения не в пользу В.Н. Татищева или Н.М. Карамзина, а пользу их отдельных высказываний.

Следует по достоинству оценить это обстоятельство! Во-первых, в «Повествовании о России», в отличие от журнальных статей, полностью отсутствуют личные выпады против Н.М. Карамзина — «неуч-тивые придачи к доказательствам», как назвал их М.П. Погодин[16]. Нелюбовь Н.С. Арцыбышева к Н.М. Карамзину можно увидеть лишь в последовательном неупоминании его имени: вместо Н.М. Карамзина в книге фигурируют «сочинитель *Игр*.» и изредка — «г. историограф». Во всем прочем налицо чисто рабочее отношение к текстам Н.М. Карамзина. Их цитируют, с ними соглашаются, спорят, поправляют, но никогда это не имеет вид разноса или разоблачения.

В этом отношении Н.С. Арцыбышев *выгодно отличается* от Н.М. Карамзина, часто допускавшего такие «выходки», то есть неучтивости, в адрес оппонентов и — что особенно печально — в адрес предшественников — *Никоновского невежды*, то есть составителя Никоновской летописи; В.Н. Татищева, реже — М.М. Щербатова.

Отношение Н.С. Арцыбышева к татищевской «Истории Российской» было в принципе таким же, что и у Н.М. Карамзина. В соответствии с этим, Н.С. Арцыбышев хоть и цитирует первого российского историка существенно меньше, чем «сочинителя *Игр*.», но никогда не позволяет себе неуважительного к нему отношения. Для Н.С. Арцыбышева невозможность проверить суждения предшественника — еще не основание для вывода о его недобросовестности. Если Н.М. Карамзин обвинял В.Н. Татищева в «вымыслах» только потому, что использованные в

«Истории Российской» информация и источники отличалась от тех, которые была доступныему, Н.М. Карамзину, то Н.С. Арцыбышев не считал возможным усомниться в порядочности своего предшественника и все имеющиеся в татищевской «Истории» странности и неувязки связывал с издержками переписки и перевода-толкования текстов с древнерусского на современный.

Между тем, сам Н.М. Карамзин мог бы оказаться в положении В.Н. Татищева, если бы все летописи Ипатьевской группы погибли так же, как Троицкая летопись. Вот широко известный фрагмент из Галицко-Волынской летописи (в варианте Хлебниковского списка):

> «Потом же Судиславу льстящю подо Мстиславом, рече ему: «Княже, даи дъщерь свою обрученую за королевича, и дай ему Галичь. Не можешь бо дръжити сам, а бояре не хотять тебе». Оному же не хотящю дати королевичю, но пач хотя дати Данилови. Глебови же Зьеремеевичем и Судиславу претяща ему не дати ему Данилови, реста бо ему: «Аже и даси королевичю, тогда восхощеши и можеши взяти под нимь. Даси ли Данилови, в векы не твой будеть Галичь». Галичаном бо хотящим Данила, оттуду же послаша в речех. Мьстиславъ дасть Галичь королевичю Андрееви, а сам взя Понизие. Оттуду иде к Тръцескому»[17].

Н.М. Карамзин цитирует этот текст в своей книге дважды и каждый раз по-разному, причем цитирует неточно (жирным курсивом выделены искажения).

В примечании № 196:

> «***Судислав рече:*** «Княже, дай дъщерь свою обрученную за королевича и дай ему Галич; не можешь бо дръжати сам, а бояре не хотят тебе». Оному ***жь*** не хотящю дати королевичю, но ***паче*** хотя дати Данилови; Глебови же ***Зьеремеевичю*** и Судиславу претяща ему дати Данилови, реста бо ему: «Аже даси королевичю, тогда въсхощеши и можеши взяти под ним: даси ли Данилови, ***въвекы*** не твой будет Галичь»… Галичаном бо хотящим Данила… Мьстислав ***же*** дасть Галичь королевичю».

В примечании № 326:

> «Судиславу льстящу под Мьстиславом рече ему: «Княже, дай дъщерь свою обрученную за королевича и дай ему Галичь»… Мьстислав дасть Галичь королевичю Андрееви, а сам взя ***Понизье*** (то есть низовье Днестра или Подолию) ***и*** оттуду иде к ***Торцьскому***»[18].

Н.С. Арцыбышев, собрав обе карамзинские цитаты в примечании № 2043 Книги II, правильно соединяет их и дает почти точный перевод, лишь ошибочно включив оборванную Н.М. Карамзиным фразу о галичанаях, хотящих Даниила, в предыдущее высказывание бояр:

«Вскоре Судислав, обманывая князя галичского, сказал: “Выдай дочь твою обрученную за королевича и уступи ему Галич, который сам ты не можешь удержать, а бояре не желают тебя”. Хотя Мстислав и не намеревался выполнить такой совет, думая предоставить этот город Даниилу; однако Глеб Зеремеевич с Судиславом стали противоречить и говорить: “Отдав королевичу, можешь и взять, когда тебе вздумается; если же уступим Даниилу, то Галичу не бывать твоим вовеки: жители тамошние желают Даниила”. Итак, Мстислав подарил Галич королевичу Андрею, сам взял Понизье и оттуда уехал в Торческ»[19].

Нетрудно увидеть, что смысловых искажений Н.М. Карамзин не допустил, но «поправки» в текст делал неоднократно. При желании и к нему можно было бы придраться и обвинить в коверкании текста или даже иногда в его злостной фальсификации.

Вот еще один пример, в котором Н.С. Арцыбышев стал невольной жертвой неточной цитаты из Н.М. Карамзина. Точнее, не самого Карамзина, а искаженного хлебниковского текста. Речь идет о завершающем Киевскую летопись рассказе, как князь Рюрик Ростиславич построил стену в Выдубицком монастыре: на его основе Н.С. Арцыбышев сделал вывод, что *Кле.* (Киевская летопись) была создана в 1309 г.

Карамзинская цитата, приводимая Н.С. Арцыбышевым, звучит так: «благоволи Бог въдохнути мысль благу великому князю Рюрикови Василью: того бо лета июля в 10 день в суб. (ошибка; должно бы *в пятницу*) заложи стену камену под церк. св. Михаила у Днепра, иже на Выдобичи, о ней же мнози не дьрзнуша помыслити от древних, али но делу ятися. *Сто бо и одиннадцать лет* имать отнеле же създана бысть»[20]. Автор, посчитав, что здесь назван срок от строительства стены до создания летописи, прибавляет к 1198 г. 111 лет, получая цифру *1309*. Однако в Хлебниковском списке, цитируемом Н.М. Карамзиным, пропущено ключевое слово! В Ипатьевском списке фраза полностью выглядит следующим образом: «100 бо и 11 лет имать отнелезе же создана бысть *церкви*, и в толико лет мнози же самодержци придоша держащеи стол княжения киевьского от того же боголюбиваго Всеволода, иже созда церковь ту»[21]. Речь, таким образом, идет не о стене, а о Михайловской церкви, созданной князем Всеволодом Ярославичем в 1088 г., по включающему счету на 111 лет раньше[22].

Приведенные примеры далеко не исчерпывают все разнообразие и специфику исследовательских приемов Н.С. Арцыбышева. Отдельного внимания заслуживают историко-географические разыскания автора: он всегда искал географическую привязку к описываемым в источниках событиям и для этого задействовал весь арсенал имевшегося на тот момент картографического и «землеописательного» материала (все изданные во второй половине XVIII — начале XIX вв. атласы Российской империи, труды З. Доленги-Ходаковского, Е.Ф. Зябловского, М.Ф. Берлинского, М.Е. Маркова, энциклопедические издания). Эта сторона научного творчества Н.С. Арцыбышева, к слову, оказалась наиболее востребованной в историографии: многие географические локализации, впервые предложенные ученым, ныне являются общепринятыми.

Однако это не отменяет прискорбного факта: труд Н.С. Арцыбышева совершенно незаслуженно оказался вне столбовой дороги отечественной исторической науки. В XIX в. историография находилась в плену концептуальности: ценились оригинальные идеи, а скучная, рутинная работа по «добыче» исторических фактов считалась низким жанром — со всеми вытекающими для историографической судьбы Н.С. Арцыбышева последствиями.

Примечания

1 *Иконников В.С.* Скептическая школа в русской историографии и ее противники. Киев, 1871.
2 Там же. С. 52—54; *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 101—104, 121—122, 128—131; *Гусаров Ю.В.* Цивильский затворник (очерк жизни и творческой деятельности Н.С. Арцыбышева). Чебоксары, 2000. С. 108—126; *Журавель А.В.* «Страшный Арцыбашев» // URL: http://suzhdenia.ruspole.info/node/1252 (дата обращения 1.10.2016).
3 Здесь и далее курсив в цитатах наш — *А.Ж.*
4 *Арцыбышев Н.С.* Повествование о России. Кн. I. М., 1838. С. 28.
5 Там же. Кн. I. С. 20.
6 Там же. Кн. II. № 76. С. 14.
7 *Назаренко А.В.* Немецкие латиноязычные источники IX—XI веков. М., 1993. С. 142, 196—197.
8 *Арцыбышев Н.С.* Повествование о России. Кн. II. № 74. С. 14.
9 См.: *Гусаров Ю.В.* Цивильский затворник. С. 104—105.
10 *Шлёцер Л.А.* Нестор: русские летописи на древлеславенском языке. Ч. I—III. СПб., 1809—1819.
11 *Арцыбышев Н.С.* Повествование о России. Кн. II. № 686. С. 106.
12 «Дабы не прерывать повести и *переводом не испортить* договоры 911 и 945 г. <…>, мы предложим их в подлиннике, особо» (Там же. Кн. I. № 97. С. 23).
13 «Подлинных слов *Кле.* о том не напечатано, а сочинители упомянутых “Историй” пишут не слово в слово; *и так ни на одного из них не можно обнадеяться*» (Там же. Кн. II. № 710. С. 110). Подобные высказывания следуют при изложении событий XII в. сплошным потоком: №№ 560, 563, 585, 586, 598, 599, 625, 686, 710, 727, 737, 738, 746, 749, 751, 779, 781, 788, 792, 793, 794, 798, 800 и т.д.
14 Там же. Кн. II. № 1451. С. 233.
15 ПСРЛ. Т. 2. М., 1998. Стб. 635.
16 Московский вестник. 1829. Ч. 3. С. 201.
17 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 750.
18 *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. II—III. М., 1991. С. 596, 624.
19 *Арцыбышев Н.С.* Повествование о России. Кн. II. С. 323.
20 *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. II—III. С. 576; *Арцыбышев Н.С.* Повествование о России. Кн. I. № 58. С. 16.
21 ПСРЛ. Т. 2. Стб. 709.
22 *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 210.

О.Ю. Казакова

Первое академическое покушение на авторитет Карамзина-историка: Устрялов — Пушкин — Вяземский

Критический анализ работ коллег является важным признаком нормального развития исторической науки. Однако зачастую он осложняется субъективными факторами (соперничеством, интригами, общественным мнением и пр.), заставляющими публику и научную корпорацию рассматривать конструктивную критику не по существу, а как недружественный акт, как покушение на авторитет маститого историка. Н.А. Полевой одним из первых (1824) обратил внимание на излишне эмоциональную борьбу вокруг главного сочинения Н.М. Карамзина: «Если статьи почитателей Карамзина отзываются безотчетным восторгом, зато критики на его творение, кажется, пишут под диктатурою какого-то неприязненного чувства»[1]. По свидетельству Н.И. Надеждина, и спустя дюжину лет «заносить руку критики на основания, уже положенные (Карамзиным. — *О.К.*), считалось почти святотатством. Все критические вылазки против бессмертного творения объявлены были злостными набегами зависти»[2]. В статье рассматривается малоизвестный пример переплетения обоих — объективного и субъективного — факторов развития отечественной исторической мысли: первый опыт профессиональной критики концепции Карамзина университетским профессором Н.Г. Устряловым (1836) и болезненная реакция на нее крупных общественно-литературных деятелей и почитателей историографа А.С. Пушкина и П.А. Вяземского.

В условиях пробудившегося интереса широкой публики к прошлому, во многом благодаря «Истории государства российского», выход каждого ее тома вызывал реакцию, в основном, восторженную, светских салонов, литературных обществ и «толстых» журналов. В лагере немногочисленных противников историографа числились члены «Беседы любителей русского слова» (А.С. Шишков и др.), Д.Е. Зубарев («Вестник Европы»), Н.С. Арцыбашев («Московский вестник»), Н.А. Полевой («Московский телеграф»), Ф.В. Булгарин («Северный архив»). Позиция академического сообщества была высмеяна в эпиграмме журнала «Благонамеренный» (1818): «Притом писателей, прославивших Россию, // Осмеивай, брани — пристрастность не нужна — //

И проклинай Карамзина»[3]. Хотя профессиональная критика отличалась более изощренной аргументацией, чем журнальные разборы, но, как правило, доводы всех рецензентов сводились к мелочному поиску фактологических, хронологических, текстологических неточностей — «мародерским наездам на слова, на нравы, на самые мелкие и ничтожные ошибки»[4].

Первую критику исторических взглядов и методологических принципов Карамзина предпринял молодой историк Н.Г. Устрялов (1805—1870) в диссертации на соискание степени доктора философии «О системе прагматической истории»[5]. Выходец из крепостных Орловской губернии, выпускник истфила столичного университета, он снискал известность благодаря публикациям источников («Сказания современников о Димитрии Самозванце» (1831—1834), «Сказания князя Курбского» (1833)), педагогический опыт приобрел, преподавая в высших и средних учебных заведениях Петербурга, а источниковедческие навыки — в работе Археографической комиссии (с 1834 г.). Таким образом, к написанию диссертации он подошел самостоятельным, уверенным в себе теоретиком и практиком. Работа состояла из двух равноценных частей: критического разбора «Истории государства Российского», «Истории русского народа» (Н.А. Полевого) и изложения собственной «прагматической истории».

Несмотря на деликатные фигуры речи и даже дифирамбы в адрес Карамзина («истинный гигант», «совершил подвиг великий с честью и славой» (с.10), «оказал величайшую услугу отечественной истории» (с. 25)), с первых же страниц Устрялов пошел на него в атаку. Автор отнес себя к профессиональным («прагматическим») историкам в пику историкам-«бытописателям» во главе с Карамзиным, фактически процитировав Н.А. Полевого, который в рецензии на «Историю государства Российского» (1829) разделил коллег на «повествователей» (Карамзин) и «прагматиков» (он сам)[6].

Атаку на «Историю государства Российского» Устрялов вел по трем фронтам: источниковедческому, методологическому и историософскому.

В первом случае он, казалось, шел по давно проторенному пути. Поколение «архивных юношей» начала века превратило источниковедение в самостоятельную, престижную и общественно значимую историческую дисциплину. Не только крупные историки, такие как М.Т. Каченовский и М.П. Погодин, критиковали карамзинские отбор и интерпретацию древних текстов, но даже гимназисты и светские львицы рассуждали об археографической компетентности Карамзина. В диссертации Устрялов указал на недостатки работы Карамзина с источниками: на игнорирование одних документов и, как следствие, слабое освещение некоторых тем (например, Западной Руси, влияния Ви-

зантии на древнерусское государство, взаимоотношений Золотой Орды и русских княжеств), на перенасыщенность однотипными источниками и, как следствие, мелочную детализацию других тем (например, междоусобных войн удельного периода), на общий недостаток критического анализа текстов, в частности, излишнее доверие к источникам личного происхождения, недооценку актового материала, использование сомнительных данных, «даже сказок». С другой стороны, в соответствии с европейским романтическим историографическим каноном он предлагал расширить источниковую базу и, соответственно, проблематику исторического исследования, включив в нее быт, обычаи, фольклор, верования, отражающие иррациональные стороны развития народного духа. Еще И.-Ф. Эверс обратил внимание на развитие общества, гражданскую жизнь в пику традиционной политической истории, однако он критиковал Шлёцера, тогда как Устрялов впервые привел эти доводы в полемике с Карамзиным. Хотя годами ранее об этом уже писал Полевой, Устрялов посчитал неудачной его «Историю русского народа» именно за небрежное обращение с источниками, посвятив ее разбору десяток страниц диссертации.

Гораздо более серьезные претензии были у Устрялова к «неудачному плану» «Истории государства Российского», говоря современным языком, к историческому нарративу. Диссертант указывал на хронологический способ изложения как на важнейший недостаток книги Карамзина. Как и большинство европейских романтических историков второй четверти века, Устрялов был сторонником принципа историзма, то есть тотального и перманентного, детерминированного разворачивания событий, в котором установление причинно-следственных связей фактов важнее описания самих фактов[7]. Такой способ исторического изложения, т.е. фактически аналитическое описание, был известен со времен Полибия под именем «прагматической истории»; автор вынес его в заглавие работы.

Практическим приложением прагматического подхода к российскому прошлому можно считать предложенную Устряловым периодизацию. Он оспаривал карамзинскую трехчленную схему (Древняя — Средняя — Новая история): от Рюрика до Ивана Великого (удельный период), от него до Петра Великого (централизованная монархия) и от Петра до наших дней (имперский период). По мнению Устрялова, только при Петре I произошел коренной поворот в развитии России, следовательно, достаточно двухчленной схемы — Древняя Русь от Рюрика до Петра и Новая Россия от Петра до Александра[8]. На наш взгляд, несмотря на дробную периодизацию, сложившуюся в национальной исторической науке в дальнейшем, фактически в общественном сознании XIX в. утвердилась (особенно в споре западников и славянофилов)

и до сих пор преобладает именно двухчленная схема периодизации до и после Петра Великого.

Во второй трети XIX века под воздействием гегельянства доминантой историографического канона становилось философское понимание истории. Сатирическая характеристика историософии Карамзина, приписываемая Пушкину, выражалась в «необходимости самовластья и прелести кнута», т.е. смысл и содержание русской истории заключался для него в формировании самодержавия, а узловыми точками этого процесса являлись смены правителей. Устрялов же считал основным смыслом истории России качественные скачки общественного развития. Квинтэссенцию духа истории, т.е. движущую силу отечественного исторического процесса молодой историк находил в «народности», национальном нарративе в прямой оппозиции к Карамзину[9]. Эта идея не была оригинальной, но типичной для современной ему историографии, реагировавшей на рост национализма в пост-наполеоновской Европе. Проблема в том, что в николаевской России не найдется двух одинаковых толкований этого популярного термина, ставшего частью официальной идеологии.

Для Устрялова фактически «народность» — это характеристика власти, дающей адекватный ответ на общественный запрос, а именно постепенно собиравшей русские земли в одно государство. В качестве примера приложения этой идеи к историческому процессу он предложил в описании правления Ивана III отказаться от карамзинского биографического подхода, а выделить те сферы его деятельности, которые способствовали собиранию земель и укреплению государственности, а именно, взаимоотношения с Ордой, ликвидация удельной системы и европейское направление внешней политики. Более традиционная для современной историографии, но дополнительная у Устрялова, коннотация концепта народности заключалась в отказе от универсалистских и прогрессистских просветительских построений карамзинского поколения историков в пользу идеи своеобразия, принципиального отличия России от Запада. Православие он считал главным фактором русской самобытности, вторым — длительное взаимодействие Руси с Золотой Ордой, которое, выражаясь современным языком, сформировало самодержавную политическую культуру, а термин «народность» в данном контексте подразумевал сознательную автаркию, ненависть к иноземному игу[10].

Резкие заявления Устрялова обрушили на него такую волну критики коллег, что защита «превратилась в травлю», и ее пришлось свернуть «во избежание соблазнительного спора»[11]. «Ему усиленно досталось, особенно за Карамзина. — свидетельствовал профессор А.В. Никитенко. — Скоро ли у нас будут спорить за идею, а не за выгоды или

лица?»[12] Накануне защиты Устрялов сам разнес печатные экземпляры диссертации ключевым фигурам научной и общественно-литературной жизни столицы, в том числе Пушкину. Несмотря на сложное отношение поэта к «Истории государства Российского»[13], он был поклонником таланта Карамзина и ревностным строителем его общественного пьедестала. Устрялов знал об этом и сопроводил рукопись просьбой не публиковать рецензию: «Приятнейшим долгом считаю препроводить к вам прилагаемую безделку. Впрочем, как она написана по частному случаю и в продажу не поступит, то благоволите прейти о ней молчанием в “Современнике”»[14]. Возникает вопрос, почему, имея такие опасения, Устрялов отнес экземпляр Пушкину? Молодой историк был честолюбив, чувствителен к общественному и материальному успеху, благосклонность авторитетного литератора обеспечила бы спрос на его уже изданные, но пока не распроданные, и последующие труды. Устрялов был знаком с Пушкиным с 1834 г., знал его положительные отзывы о своих публикациях о самозванцах и о Курбском. Вероятно, знаком он был с рецензией Пушкина на «Историю русского народа» Н. Полевого в «Литературной газете» (1830), в которой Пушкин сам же назвал Карамзина «первым историком и последним летописцем», т.е. «бытописателем» в терминологии Устрялова, поэт указал на недостатки источниковой базы историографа по ряду тем, как и Устрялов в «Системе прагматической истории».

Однако Пушкин увидел в диссертации другое — шанс ударить по высоким покровителям Устрялова в университете, Академии наук, учебном округе и министерстве просвещения — графу С.С. Уварову и его креатуре М.А. Дондукову-Корсакову. К фрондерству либерального интеллигента примешивалась и личная вражда Сверчка к Старушке из «Арзамасского братства», ставшему столпом самодержавия. Таким образом, диссертация дала возможность, а устряловская атака на Карамзина — материал для критики властей. Пушкин заказал рецензию шурину историографа, поэту П.А. Вяземскому. В случае с Устряловым уместно говорить о темпераментном нападении Пушкина—Вяземского, так как профессиональный разбор диссертации («научную рефютацию») готовил для «Современника» преподаватель Московского университета М.А. Коркунов. В отзыве Вяземского в форме открытого письма гр. Уварову много грубости и передергиваний: Устрялов-де уравнял «стройное творение» Карамзина и «хаотический недоносок» Полевого, «опутал свое мнение... пошлыми фразами», что он не более, чем «переводчик Маржерета и издатель Курбского», с «неспособностью головы» и «отсутствием здравого смысла». Поэт обличал лицемерную манеру Устрялова одновременно хвалить и ругать Карамзина, назвал диссертацию «ничтожной брошюрой», «удивительным crescendo наглости и нелепости». «Пока нет лучшего, не нарушайте уважения к тому, что есть», — призывал он.

В сущность исторической концепции автора Вяземский не вникал, но уверенно причислял его к «исторической оппозиции», скептической школе Каченовского, из которой, по его мнению, вышел и «высочайше объявленный сумасшедшим» Чаадаев. Таким образом, рецензия превращалась в политический донос. Вяземский недобросовестно сопоставил высказывания Устрялова и Чаадаева об отсутствии у России истории: в «Философических письмах» фраза относилась к допетровскому прошлому России, тогда как в диссертации Устрялова ею характеризуется развитие национальной историографии («Все говорят, что Россия еще не имеет своей Истории» (с. 3)). Спекулируя именем покойного императора — покровителя Карамзина, Вяземский обвинял протекторов Устрялова чуть ли не в нелояльности к правящей династии. Он закончил отзыв на высокой патетической ноте: «С каким чувством будут родители посылать сыновей учиться Русской истории в университет, в котором г. Устрялов занимает кафедру Русской истории!»[15] К слову сказать, сам Уваров послал сына учиться к Устрялову, как и родители Тургенева, Страхова, Пыпина, Стасюлевича, Чернышевского, Добролюбова.

Тем не менее, Пушкин поддержал Вяземского: «Письмо твое прекрасно, главное дать статье как можно более ходу и известности. Но, во всяком случае, цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет»[16]. Друзья обоих понимали политический смысл этой рецензии. «Вяземский напечатает в 4-м номере «Современника» пылкое опровержение против речей Устрялова и кольнет протектора его — Уварова», — упоминал один из них в частной переписке[17]. Разумеется, провокационное «Письмо» не было опубликовано, сохранившись только в архиве Вяземского.

Возникает вопрос о характере связи Устрялова и Уварова и степени влияния взглядов одного на другого. По нашему мнению, они шли в одном направлении, но параллельными курсами. Если Уваров утилитарно подходил к истории, как ретроспективному обоснованию своей триады, то Устрялов убедился в истинности идеологемы на основе анализа прошлого России, таким образом, он искал объяснительную модель исторического процесса. Однако еще в либеральной дореволюционной историографии сложился стереотип об обслуживании Устряловым идеологического заказа Уварова, с легкой руки А.Н. Пыпина он был зачислен в историографическую научную школу «официальной народности», являющуюся конъюнктурным идеологическим штампом (ее критерий — близость к властям, фаворитизм: М.П. Погодин обласкан графом С.Г. Строгановым, Устрялов — Уваровым, М.А. Корф — самим Николаем I), а не академической дефиницией.

Устрялов и Уваров познакомились в 1832 г. при выдвижении последним, президентом Академии наук, публикаций историка о самозванцах на получение Демидовской премии. Первые плоды реального сотрудничества преподавателя и высокопоставленного чиновника появились в конце 1830-х гг. при присвоении линейке учебников Устрялова для всех ступеней школы грифа министерства просвещения. В его университетской карьере диссертация была формальным шагом от экстраординарной к ординарной профессуре, не требующим вмешательства извне. В истории с присуждением Устрялову академического звания ключевую роль сыграл не президент Академии Уваров, а академик Ф.И. Круг, специалист по русской хронологии и нумизматике, у которого консультировался и сам Карамзин. Следовательно, в 1836 г. нападки Пушкина и Вяземского на диссертанта Устрялова, как марионетку Уварова, фактически были беспочвенны. Именно Круг рекомендовал 31-летнего университетского преподавателя в адъюнкты Академии наук — вскоре Устрялов стал первым русским академиком русской истории. Диссертация вошла в состав печатного курса его лекций, ее идеи (без персональной критики Карамзина) изложены в многочисленных дидактических «Руководствах» и «Начертаниях». Последнее произведение академика Устрялова оказалось также посвящено Карамзину — его речь готовилась для торжественного заседания в честь столетнего юбилея историографа в 1866 г., но не была оглашена, так как новое поколение историков уже самого Устрялова посчитало устаревшим.

Таким образом, диссертацию Устрялова можно считать первой комплексной академической критикой исторической концепции Карамзина. В своих размышлениях он опирался на современные ему исторические и историософские подходы. Отдельные положения его критики, как заимствованные, так и оригинальные (периодизация, история Западной Руси, принцип историзма, примат актового материала в источниковой базе исследований) получили развитие в российской историографии, другие преданы забвению (идеологема народности, излишне амбициозная и абстрактная идея прагматической истории). Неожиданно и неприятно для Устрялова его покушение на авторитет Карамзина вышло за рамки академического спора, чуть не превратившись в общественно-политическую дискуссию. Рецензия Вяземского не была опубликована в «Современнике» Пушкина, сам шурин Карамзина впоследствии сожалел о раздражении и страстности, «которыми опалены нарекания мои на профессора Устрялова». «Надеюсь, что тень любознательного и честного труженика простит мне некоторую запальчивость речи моей», — писал он[18].

Примечания

[1] *Полевой Н.А.* О новейших критических замечаниях на «Историю государства Российского», сочиненную Карамзиным // URL: http://polevoy.lit-info.ru/polevoy/kritika-polevogo/o-novejshih-kriticheskih-zamechaniyah-karamzin.htm (дата обращения — 10.10.2016)

[2] *Надеждин Н.И.* Об исторических трудах в России // URL: http://az.lib.ru/n/nadezhdin_n_i/text_1837_ob_istoricheskih_trudah_oldorfo.shtml (дата обращения — 10.10.2016)

[3] *Козлов В.П.* «История государства российского» Н.М. Карамзина в оценках современников // URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000239/st000.shtml (дата обращения — 10.10.2016)

[4] *Надеждин Н.И.* Указ. соч.

[5] *Устрялов Н.Г.* О системе прагматической истории. СПб., 1836. 84 стр.

[6] *Полевой Н.А.* История государства Российского. Сочинение Карамзина // URL: http://az.lib.ru/p/polewoj_n_a/text_0220.shtml (дата обращения — 10.10.2016)

[7] *Умбрашко К.Б.* Историзм в русской историографии первой половины XIX века // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/istorizm-v-russkoy-istoriografii-pervoy-poloviny-xix-veka (дата обращения — 10.10.2016)

[8] *Кужилин А.В.* Исторические взгляды Н.Г. Устрялова: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005.

[9] *Миллер А.* Триада графа Уварова // URL: http://polit.ru/article/2007/04/11/uvarov/ (дата обращения — 10.10.2016)

[10] *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х годов // URL: http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/pipin_hara/00.aspx (дата обращения — 10.10.2016)

[11] *Никитенко А.В.* Дневник. В 3 т. Л., 1955. Т. 1. С. 189.

[12] Цит. по: *Барсуков Н.А.* Жизнь и труды М.П. Погодина. В 22 т. СПб., 1893. Т. 5. С. 43.

[13] *Кожевников В.А.* О «прелестях кнута» и «подвиге честного человека»: Пушкин и Карамзин // URL: http://feb-web.ru/feb/pushkin/serial/mp1/mp1—1512.htm?cmd=2 (дата обращения — 10.10.2016)

[14] *Пушкин А.С.* Полное собр. соч. В 16 т. М.; Л., 1937—1949. Т. XVI. Письмо № 1273.

[15] Полное собр. соч. князя П.А. Вяземского. В 12 т. СПб., 1879. Т. 2. 1827—1851. С. 226.

[16] Письмо А.С. Пушкина к П.А. Вяземском // *Пушкин А.С.* Полное собр. соч. В 10 т. М., 1962. Т. 10. С. 334.

[17] Цит. по: *Веркеенко Г.П., Казакова О.Ю.* «Любознательный и честный труженик» Николай Герасимович Устрялов (1805—1870 гг.). Орел, 2005. С. 47.

[18] Полное собр. соч. князя П.А. Вяземского... Т. 2. 1827—1851. С. 227.

Дж.Я. Рахаев

Н.М. Карамзин и адыгская историография первой половины XIX века

8 сентября 2007 г., в ознаменование 450-летия добровольного вхождения Кабарды в состав Российского государства был открыт новый монумент — мемориальная арка Дружбы, возведенная на личные средства Президента КБР А.Б. Канокова. В церемонии приняли участие высокопоставленные лица из числа политиков, военных и бизнесменов, деятели науки и культуры.

Первоначально планировалось украсить ее барельефами, изображающими сцены из нартского эпоса и адыгской истории. Кроме того, на четырех постаментах предполагалось установить бронзовые фигуры видных исторических деятелей, внесших вклад в развитие российско-кабардинский отношений — верховного князя Кабарды Темгрюка Идарова и русского царя Ивана Грозного. Однако вскоре от этой идеи отказались.

Новый памятник в Нальчике и обстоятельства его открытия вызывают при ближайшем рассмотрении множество вопросов. Прежде всего, почему именно фигура Темгрюка Идарова, правителя крайне противоречивого, стала символом союза и единения Кабарды с Россией? Собственно, какие исторические события XVI в. лежат в основании юбилейного празднования? И, наконец, почему мемориал воздвигнут именно в наше время?

Последний вопрос кажется тем более обоснованным, поскольку открытие монумента в Нальчике — далеко не единственное мероприятие, связанное с юбилеем. Принимая во внимание масштабность празднования, большое количество книг и статей, посвященных личности и эпохе Темгрюка Идарова, появившихся в последнее время, переименование улицы Гагарина в Нальчике в улицу Темрюка Идарова, можно без сомнения говорить о ренессансе коллективной памяти о нем у кабардинцев.

Возрастающий интерес к Идарову, его новая героизация и использование его фигуры в рекламе указывают на обширную трансформацию культуры памяти на современном российском Кавказе. Вместе с распадом СССР в 1991 г. развалились не только институции коммунистического режима, но и официальная советская доктрина истории, а вместе

с ней и идея «многонационального советского народа». Поиски новых концептов коллективной идентичности на постсоветском Кавказе идут с формулированием новых исторических нарративов, создающих эту идентичность. Эти изменения коснулись и памяти о Темрюке Идарове, забытом правителе в период «независимости» кабардинских княжеств (70-е гг. XVI в. — 20-е гг. XIX в.), верном союзнике Ивана Грозного в имперский период (20-е гг. XIX в. — 1917 г.), сторонике царизма на Кавказе в довоенный период (1917—1941 гг.), союзнике Ивана Грозного в борьбе с крымско-турецкой агрессией в период Великой Отечественной войны и позднего сталинизма (1941—1953 гг.), выдающемся полководце и дипломате в период деградации коммунистического тоталитаризма (1953—1991 гг.) и национальном герое в современную эпоху.

История воспоминания о верховном князе Кабарды Темрюке Идарове (?-1572 г.) начинается вскоре после его смерти, практически синхронно (и в этом ее особенность) укореняясь в черкесской и русской культурной памяти. Тесное переплетение этих значительно разнящихся образов достаточно наглядно просматривается в период позднего средневековья. В 20-е гг. XIX в., благодаря усилиям кабардинского просветителя Шоры Ногмова, формируется новый образ, полностью их заместивший. На протяжении последующих двух веков именно ногмовский образ Темгрюка Идарова будет проявлять и отражать различные концепты коллективной идентичности. При этом всегда надо учитывать, что Идаров был всего лишь одной из многих памятных фигур, в которых на протяжении адыгской истории отражались различные концепты общности.

Вопрос о том, почему Темгрюк Идаров попал в культурную память практически сразу после своей гибели, почему на протяжении столетий его фигура способна приобретать все новые и новые значения, можно прояснить обратившись к биографии нашего героя. Темгрюк Идаров жил в травматичное для культурной памяти время, когда большинство кабардинских княжеств были вынуждены постоянно противодействовать натиску, с одной стороны — Крымского ханства, Большой и Малой ногайской Орды, а с другой — Шамхальства Тарковского.

В середине XVI в. верховный князь Кабарды Темгрюк Идаров, владения которого располагались в низовьях Терека, теснимый своими соседями — шамхалом Тарковским, ногайскими мурзами и кабардинскими князьями, направил ко двору царя Ивана IV посольство с просьбой о помощи и предложением содействия в налаживании дипломатических отношений с царствами Грузии. Русский царь, заинтересованный в активизации восточной политики, откликнулся на эту просьбу: к Темгрюку было направлено войско, на границе его владений построена крепость Терки. Со своей стороны, кабардинский князь направил в Москву почетными аманатами двух сыновей, а дочь Гуашаней (в крещении — Марию) выдал замуж за

Ивана IV. С помощью русских войск Идаров на короткий период сумел укрепить свое положение в регионе. В это время, один из сыновей Темгрюка, попав в опалу, был казнен. Идаров, узнав о судьбе своего сына, фактически разрывает свои отношения с царем и принимает участие в походе крымского хана Девлет-Гирея II 1571 г., знаменитом сожжением Москвы. Оставшись без союзника, Темгрюк оказывается в крайне стеснительном положении и вскоре погибает в сражении с ногайскими мурзами.

В XVI — начале XIX в. Идаровичи, потомки князя Темгрюка, в своих грамотах российским государям неоднократно упоминали его имя как пример преданного служения интересам России. Инкорпорированные в русскую аристократию многочисленные выходцы из Кабарды поддерживали эти представления. Примечательно, что в кабардинском фольклоре, сравнительно подробно сохранившем предания о делах многих кабардинских князей и воинов, в том числе и противников Идарова, имя Темгрюка нигде не встречается.

Военное противостояние кабардинских княжеств и России в первой четверти XIX в. завершилось поражением Кабарды. Мощный самобытный народ, законодатель этикета и военных традиций, внесший серьезный вклад в политическую историю и культуру народов Северного Кавказа в XV—XVIII вв., превратился в одну из этнических групп российского государства.

С включением кабардинцев в имперскую систему России диалог народов и культур усилился. Это было связано с появлением русских поселений, казачьих станиц, воинских контингентов, которые не только обеспечивали незыблемость царской власти, но и вступали в многочисленные контакты с местным населением. Появление крепости Нальчик как военно-административного и культурно-экономического центра стало важным фактором цивилизационного воздействия на кабардинцев, на восприятие и понимание ими меняющегося мира. Открытие и деятельность аманатской школы в Нальчике (1829), учеба в кадетских корпусах, посещение крепости для участия в работе Временного кабардинского суда, участие в торговле на меновых дворах, служба в Отдельном Кавказском корпусе, лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне — все это существенно расширяло социокультурное пространство кабардинцев.

В первой четверти XIX в., с включением кабардинских княжеств в состав России, возникла объективная потребность осмысления многовекового опыта русско-кабардинских отношений. Молодые адыгские интеллектуалы, служившие в одно время в Кавказско-Горском полуэскадроне (Ш.Б. Ногмов, С. Хан-Гирей, А.М. Мисостов и С. Казы-Гирей), в многочисленных исторических, художественных и публицистических произведениях решают одну и туже фундаментальную проблему — как обрести Отечество и не потерять Родину, как совместить присягу Госу-

дарю Всероссийскому и верность традициям своего народа. В наиболее концентрированном виде эта антропологическая проблема поставлена в «Истории адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова, написанная под большим влиянием «Истории государства российского» Н.М. Карамзина.

Н.М. Карамзин — писатель, поэт, историк, журналист, основатель консервативного направления в политической идеологии России XIX в. В своей «Истории государства российского» и публицистических работах «Историческое похвальное слово Екатерине II» (1802), «О любви к Отечеству и народной гордости» (1802), «Записка о древней и новой России» (1811), «Мнение русского гражданина» (1819) последовательно доказывал необходимость и правильность сохранения православно-монархического строя русской жизни, возражал против либеральных реформ в самодержавной политической системе.

Н.М. Карамзин осуждал тиранию как режим, считая, что она нарушает естественные, положительные и нравственные законы. На примере анализа правления Ивана IV он осудил незаконное «свирепствование» этого царя, погубившее целые города и множество подданных, и в целом характеризовал его царствование «как омрачение России ужасами мучительства», отметив, что результатом подобной тирании стало не только повсеместное «запустошение земель», приведшее к «оскудению жизни всех людей», но и глубокое падение нравов, наступившее вследствие воздействия на подданных страхом насильственной смерти. Выступал Карамзин и против таких форм правления, как аристократия и олигархия, считая, что они губительны для отечества. Он отказывался отождествлять «истинное самодержавие» с деспотизмом, тиранией и произволом, считая, что подобные отклонения от «норм самодержавия» были случайны и быстро устранялись инерцией традиции «мудрого» и «добродетельного» монархического правления.

Центральной темой в «Истории» Ш.Б. Ногмова является вопрос о русско-кабардинских отношениях и борьбе адыгов против внешних угроз. Эту проблему он пытается решить в тесной связи с оценкой деятельности адыгской правящей элиты, в первую очередь князя Темгрюка Идарова.

Ногмов создает совершенно новый образ Идарова, практически никак не связанный с адыгской традицией. Интересно, что даже имя этого князя — *Темгрюк*, он меняет на *Темрюк*, вслед за Карамзиным. Юность князя Темгрюка списана Ногмовым с образа русского князя Святослава, созданного Карамзиным. «Сей Князь *(Святослав. — Дж.Р.)*, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревностью отличить себя делами и возобновить славу оружия Российского… Собрал войско многочисленное и с нетерпением юного героя летел в поле… Суровою жизнью он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза; питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил

его на углях… не знал шатра и спал под сводом неба: войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло изголовьем. Каков был военачальник, таковы и воины»[1] (Карамзин). «Душа его *(Темгрюка — Дж.Р.)* пылала желанием прославить себя воинскими подвигами и возобновить древнюю славу адыхейского народа… Он собрал многочисленное войско, и юное его сердце рвалось с нетерпением на поле брани… Он презирал удовольствия роскоши, никогда не имел палатки и спал под открытым небом на войлоке, а под голову клал седло. Каков был предводитель, таково было и войско»[2] (Ш. Ногмов). Темгрюк, вслед за Святославом, наделяется рыцарскими манерами: «Князь… не хотел пользоваться выгодами нечаянного нападения, но всегда заранее объявлял войну своим неприятелям. Он посылал сказать им: иду на вас. В эти времена варварства, гордый Темрюк наблюдал справедливость и законы рыцарской чести своего народа»[3] (Ногмов); «Святослав не хотел пользоваться выгодами нечаянного нападения, но всегда заранее объявлял войну народам, повелевая сказать им: иду на вас! В сии времена общего варварства гордый Святослав соблюдал правила истинно рыцарской чести»[4] (Карамзин).

Однако наиболее существенная трансформация образа Темрюка обнаруживается в ногмовской версии военно-дипломатических отношений кабардинского князя и русского царя. Верховный князь Кабарды теперь предстает как верный союзник России, погибший в неравной борьбе с татарами: «Князь Темрюк с несколькими кабардинскими князьями дал присягу в верности русскому царю Ивану Васильевичу и обязался помогать ему в войнах с султаном и Тавридой (*Крымским ханством. — Дж.Р.*)…»[5]. «Крымский хан Девлет-Гирей II узнав об этом собрал войско с намерением совершенно истребить пятигорских кабардинцев…»[6]. «Князь Темрюк Идаров собрав многочисленное войско из кабардинцев и других адыхейских племен» встретил неприятеля «близ Тамани»[7]. «Кабардинцы хотя и не разбили неприятеля, но своим упорным мужеством лишили его надежды победить их», вследствие чего хан был вынужден двинуться на Россию. Однако сам князь был тяжело ранен. «По выздоровлении своем князь Темрюк немедленно собрал кабардинцев и спешил на помощь к царю русскому… Таким-то образом князь Темрюк много раз помогал России; по возвращении своем на родину этот добрый, храбрый и лучший из всех князей наших умер от разболевшейся старой раны»[8].

Ногмов заимствует из наследия Карамзина взгляды на роль монархии в политической истории русского общества. Именно отсутствие развитой монархической идеи в политической культуре адыгов — главная причина, по мысли Ногмова, социально-политического кризиса кабардинского общества в период позднего средневековья.

Ногмов принимает и другие элементы государственной идеологии Карамзина. Так, если у Карамзина мы видим попытку решения проблемы этногенеза славян (в частности, выводится их родство с антами), то и Ногмов буквально следует мысли Карамзина и связывает этногенез адыгов с антами. Как известно, проблема политогенеза древнерусского государства решена Карамзиным в рамках периодизации истории. Ногмов главную роль в переходе адыгского общества от родо-племенных отношений к феодальным относит ко времени утверждения среди кабардинской элиты династии Иналидов (согласно различным источникам являвшихся выходцами из Египта).

Периодизация адыгской истории проведена в целом в соответствии с периодизацией русской истории Карамзина.

Таким образом, именно Ш.Б. Ногмов создал новый образ Идарова — верного союзника Ивана Грозного, погибшего в неравной борьбе с татарами. Адыгские просветители XIX — начала XX в. (С. Хан-Гирей, А. Мисостов, В. Кудашев и др.), обращавшиеся к этой теме, апеллировали уже непосредственно к ногмовскому образу Темгрюка Идарова, наполняя его новыми деталями.

Октябрьский переворот 1917 г. и последовавшая Гражданская война надолго сняли с повестки дня проблемы средневековой истории Кабарды. В начале 20-х гг. XX в., в контексте изучения международной жизни Северного Кавказа, Идаров изредка упоминается в трудах местных историков.

Историографическая ситуация коренным образом меняется после серии статей Г.А. Кокиева. Именно Кокиев, следуя концепции М.Н. Покровского, коренным образом реинтерпретировал ногмовский образ Темгрюка Идарова. Историографические практики Г.А. Кокиева существенно дополнили официальный нарратив и тем самым оказали важное влияние на формирование советского патриотического мифа накануне и в годы Второй мировой войны, гармонично дополнив его элементами местного патриотизма. Советское руководство в стремлении поднять уровень патриотизма населения санкционирует мифологизацию исторического прошлого России. Иван Грозный теперь предстает как государственник, а Темгрюк Идаров — как верный союзник царя в борьбе с султанской Турцией, стремящейся поработить народы Кавказа.

В середине 50-х гг. XX в. партийное руководство республики и РСФСР пришли к мнению о необходимости всенародного празднования добровольного вхождения Кабарды в состав России. Историческим дискуссиям о датировке этого события положил конец надвигающийся 40-й юбилей октябрьской революции и в 1957 г. в городах и селах Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики прошла череда праздничных мероприятий. В 1982 г., уже гораздо скромнее, республика отметила 425-летие этого события. Новый, советский, образ Идарова казалось был прочно закрепился в

общественном сознании, однако распад СССР выявил иллюзорность подобных представлений.

В начале 90-х гг. XX в. в условиях демократизации общественной жизни и формирования федералистских начал историческое сообщество (К. Дзамихов, Г. Мамбетов, Б. Мальбахов и др.), откликаясь на заказ со стороны республиканского руководства, выдвинуло новую мифологему о военно-политическом союзе Кабарды и России. В новой трактовке категорически отвергалась формулировка о «добровольном вхождении» и предлагается новая трактовка событий: Россия и Кабарда предстают теперь как два равноправных субъекта международных отношений, заключивших в лице Ивана IV и Темгрюка Идарова взаимовыгодный договор. С приходом к власти В.В. Путина, взявшего курс на «укрепление вертикали власти», республиканские власти коренным образом пересмотрели устоявшуюся было трактовку событий и в 2007 г. широко отметили… 450-летие добровольного вхождения Кабарды в состав России.

Память о Темгрюке Идарове в Кабарде, КБАССР и КБР никогда не прерывалась, более четырех столетий он служил различным сообществам точкой фиксации коллективной идентичности. Множество раз менялось не только символическое значение, но и ранг этой фигуры в кабардинской культурной памяти. Из правителя слабого удельного княжества он стал символом нерушимого союза Кабарды с Россией в имперский период. Из второго эшелона исторических героев он в середине XX в. вознесся на вершину национального пантеона. Анализируя, как мифотворчество о Темрюке Идарове конструировалось и использовалось различными историческими авторами — государственной властью, аристократией и интеллигенцией, мы приходим к заключению, что его образ до сих пор влияет на выработку коллективной идентичности адыгов.

Примечания

[1] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. 1. СПб. 1818. С. 199.
[2] *Ногмов Ш.Б.* История адыхейского народа. Нальчик, 1994. С. 121.
[3] Там же.
[4] *Карамзин Н.М.* История государства Российского. Т. 1. СПб. 1818. С. 199.
[5] *Ногмов Ш.Б.* Указ. соч. С. 122.
[6] Там же. С. 123.
[7] Там же.
[8] Там же. С. 123—125.

В.А. Бердинских

Труды Н.М. Карамзина в оценках П.Н. Милюкова

Личность Карамзина неотделима от его исторического труда. Мощное индивидуальное творческое начало, можно даже сказать, своеобразная риторико-декламационная поза автора (столь естественная для Карамзина-человека в жизни) пронизывает всю его «Историю». «Жить, — писал он А.И. Тургеневу, — есть не писать историю, не писать трагедию или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душой к его источнику: все другое, любезный мой приятель, есть шелуха, не исключая и моих восьми или девяти томов». Он любил повторять малоизвестную русскую поговорку: «Век живи, век учись… жить».

Историк умер в возрасте 59 лет, как и его наследник по написанию генеральной российской истории С.М. Соловьев. 22-летний труд увенчался удачей, хотя и не стал завершенным замыслом. Политическая конъюнктура, о коей историк и не думал, оказалась к нему удивительно благоприятна вне зависимости от размера его дарования. Более консервативный, чем Александр I в первой половине его царствования, он пришелся со своим морально-нравственным ригоризмом как нельзя более кстати ко двору во вторую половину правления Александра и оказался просто незаменим Николаю I своим личным благородством, монархизмом и честностью в скользких условиях начала его царствования. По сути, он вдохновил реакцию Николая I и был вознагражден. Как верно заметил исследователь В. Вацуро, — это была канонизация. Черты живого человека складывались в иконописный лик ангела-хранителя монархической России. Это сыграло крайне негативную роль для наследия Карамзина в XX веке.

* * *

Обратимся к содержательной стороне «Истории государства Российского» Карамзина. П.Н. Милюков упрекает историографа в том, что последний не называет в примечаниях своих ученых посредников между собственной работой и источниками. Вряд ли это было общепринято в ту эпоху. Ссылаясь на источники, Карамзин думает о читателе вообще, а не о читателе-историке.

История Киевской Руси в это время — наиболее изученный учеными период русской истории. Татищев, Щербатов, Болтин, Шлёцер — четыре столпа русской историографии — оказывали здесь Карамзину существенную помощь. Беря у Шлёцера современную научную методологию, методы критики, аналогий и сравнений, все свои симпатии Карамзин оставляет многотомной истории М. Щербатова. При этом он учитывает рациональную критику Болтина и тексты Татищева, но настроен к последним авторам весьма критично.

Первый том «Истории» — самый трудный для Карамзина, заставший его наименее подготовленным, хотя ученую почву — наиболее возделанной. Отношение историографа к труду М. Щербатова в первых томах — отношение зависимости, которое далее ослабевает, хотя сохраняется до конца. Карамзин самостоятельно изучает широкий круг источников и вводит их в свою «Историю». Согласимся с исследователем В.П. Козловым. Это его великая заслуга перед наукой. Примечания к основному тексту — научная половина его труда. Это выписки, пересказы документов, тексты источников, своды исторических фактов. Карамзин использовал почти все русские публикации исторических источников до начала XVII в., привлек много иностранных изданий. Он первым ввел в научный оборот немало памятников: Лаврентьевскую и Троицкую (погибшую в пожаре 1812 г.) летописи, местные летописцы, новые списки Русской Правды, Судебник 1497 г., древнерусские литературные сочинения (Кирилл Туровский, Даниил Заточник…), актовые, дипломатические материалы (в основном из Московского архива Министерства иностранных дел) и многое другое.

Синодальные библиотеки, собрания монастырей, крупных вельмож — владельцев обширных библиотек и рукописных коллекций — все это оказалось доступно трудолюбивому историку. Он не пошел по вершкам, а зарылся вглубь самых разных источников. Богатство его документальной базы, сильно расширенной по сравнению с предшественниками, — важное достоинство труда Карамзина.

Он рационально сузил тему своего труда — не история России, а лишь история государства Российского. Вся система доказательств им также отнесена в примечания: историография вопроса, ссылки на источники, анализ их достоверности. Он старался смотреть на факты прошлого максимально широко, принимая во внимание всю совокупность свидетельств. Разрыв между основным текстом и примечаниями переходит нередко в прямое противоречие, поскольку эти две части труда (художественная и научная) создавались по разным принципам. И все же в примечаниях —только то, что соответствует его системе доказательств.

Это авторская хрестоматия истории России IX—XVII веков, созданная очень вольно. Строя свою масштабную историческую конструкцию, автор заполнял фактами отдельные ячейки, и проблема достоверности источника (главная для его предшественников) для него большого значения не имела. Точные цитаты источников, пересказы их и текстологические умолчания (если текст противоречит концепции Карамзина) соседствуют.

По мнению П.Н. Милюкова, автора лучшей работы по русской историографии, созданной в XIX в., видно, что том щербатовской истории всегда лежал на письменном столе историографа и постоянно давал ему готовую нить для рассказа и тему для рассуждения[1]. Но обратившись к источникам, на которые ссылался Щербатов, Карамзин расширял и сопоставлял их. Тяжеловесный и неуклюжий стиль Щербатова нимало не похож на блестящие, завершенные и четкие фразы Карамзина. Художественная цель последнего — занимательность изложения — напрочь отсутствовала у его предшественников. Что не важно — то сократить, но характер наших древних героев, любопытные происшествия — описать живо и разительно. Такую задачу ставил себе Николай Михайлович, только задумывая свой труд.

Историзм в его философии вторичен. Счастье, в соответствии с идеями европейской литературы, полагал он, находится в сердце каждого человека, а история помогает найти путь к нему. Поэтому для него важнейшие принципы исторического повествования — апологетичность, морализация прошлого.

Подбор и трактовка исторических фактов совершались в духе просвещенного абсолютизма. «Следуя принципу апологетичности и прежде всего идее самодержавия как главной прогрессивной силы русского исторического процесса, он представил прошлое страны на единой концептуальной основе, пронизывающей все события, большие и малые»[2]. Это принималось современниками как великая заслуга историка.

В прошлом он искал событий и лиц, имевших бы сегодня нравоучительное значение. Становясь, таким образом, нравственным судьей людей прошлого, историк воспитывал своих современников благонравными примерами. Борьба добродетели и зла, добрых людей и злодеев — суть конфликтов в истории.

Кроме морализации историограф создавал «илистрацию прошлого под современное». Современники легко угадывали тонкие намеки и аллегории. Создавалась иллюзия повторяемости исторического процесса. В прошлом Карамзин искал событий ярких, характеров героических, происшествий драматически-театральных. Писатель-художник побеждал в нем ученого.

Может быть, именно по этой причине (модернизация вместо историзма) историограф П.Н. Милюков вынес крайне жесткую и несправедливую оценку труду Н.М. Карамзина: «Он писал только “художе-

ственную историю”… При этих условиях Карамзин не мог участвовать в работе исторической мысли ни старшего, ни современного ему, ни младшего поколения. Одни продолжали критическую работу, другие принялись за философское построение русской истории. <…> Карамзин не начал собою нового периода, а закончил старый, и роль его в истории науки была не активная, а пассивная. Вместо сознательного творца новой эпохи, мы должны представлять себе Карамзина невольною жертвой устаревшей рутины…»[3].

Вряд ли прав Милюков, утверждая, что развитие русской историографии шло мимо Карамзина, а не через него. Стоит вспомнить, что именно Карамзин в значительной мере создал массовый общественный интерес к русской истории, на его книгах выросли два-три поколения русских историков середины XIX в.

Историки — профессионалы той эпохи жестоко судили любителя. «История» Карамзина, по типичному мнению другого историка начала XX в. (Н. Фирсова), смотрит назад, в XVIII век науки, подытоживая многие ее достижения. «Но сентиментальная школа, к которой он тогда принадлежал, и крайне искусственная манера, которую он усвоил и от которой не могли отвлечь его наши летописи и акты, — повели к тому, что из-под пера Карамзина вышла не подлинная реальная, а торжественно смазливая Русь, к тому же многие характерные подробности источников оказались принесенными в жертву опять таки литературной манере»[4]. Историки-профессионалы сурово судили XVIII век как век любителей.

И все же… Создание первой оригинальной концепции истории России, обращение к самому широкому кругу источников (не только исторических), написание читабельной (и не только у нас) истории страны — все это великая заслуга Карамзина. Отныне все масштабные «Истории России» XIX—XX веков — концепционны. Любопытство дилетанта уступило место научному интересу исследователя. Цели и методы научной работы совершенно изменились.

В 1827 г. в журнале «Вестник Европы» впервые появляется мысль «об истории как науке» в статье совершенно не известного даже при жизни автора — некоего Среднего-Камашева. Разночинцы николаевского времени и пошли в эту науку. Век одиночек-историков в науке закончился. Ни у Карамзина, ни у его предшественников, по сути дела, не было учеников, последователей, школ. Наступает век научно-критической и философской истории. Появляется отрасль науки с идеей всеобщей (всемирной) истории. Меняются характер и условия труда историка. К сожалению, пропадает надолго тот мощный личностный отпечаток автора в его трудах, поражающий нас по сей день волевой импульс. Но скорость развития науки (и особенно ее инфраструктуры) растет.

Научное развитие в России от чтения русских летописей, затем сведения воедино наиболее достоверных (для читателя) текстов (Татищев) перешло постепенно к историческому рассказу-повествованию (Карамзин) и остановилось в 1820-е гг. на пороге качественного рывка — перехода к научно-критическим исследованиям прошлого на основе структурирования исторического фактажа.

Обобщающе и очень прагматично выразил взгляды значительной части советских историков на излете перестройки академик Борис Рыбаков. Во многом они сходны с оценками П.Н. Милюкова. Любопытно, что Рыбаков противопоставляет Карамзина и Татищева. В этом есть рациональное зерно. В своем интервью журналу «Волга» в 1990 г. он сказал: «Например, бум по поводу переиздания Карамзина, на мой взгляд, совершенно неоправдан. Поверьте, Карамзин — даже не вчерашний, а позавчерашний день исторической науки, апофеоз сентиментального монархизма, смесь слезливых рассказов о князьях и царях с попытками дать научные толкования, которые вынесены в примечания. У Иловайского тоже мало науки, он историк примитивный, «квасной патриот». У Костомарова многое просто устарело, но кое-что имеет цену и сегодня. А вот Татищева переиздать просто необходимо. И несложно сделать, поскольку его семитомник выходил в Ленинграде в 60-е годы, к сожалению, правда, ничтожно малым тиражом — всего лишь три тысячи экземпляров»[5]. Стоит помнить, что эти оценки связаны с конкретным переизданием главного труда жизни Карамзина в самом конце советской эпохи.

Примечания

1 *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб., 1913. С. 139.
2 *Козлов В.П.* «История Государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 160.
3 *Милюков П.Н.* Указ. соч. С. 224.
4 *Фирсов Н.Н.* Н.М. Карамзин // Энциклопедический словарь Гранат. М., б.г. Т. 23. С. 464.
5 Дорожить своими историческими корнями. Беседа писателя Б. Дедюхина с академиком Б. Рыбаковым // Волга. 1990. №7. С. 151.

М.Г. Вандалковская

Н.М. Карамзин в творчестве историков-эмигрантов

Российская послеоктябрьская эмиграция XX в. создала не только огромное духовное наследие, но и всемерно стремилась распространить русскую культуру в западных странах, где были основаны эмигрантские диаспоры. Это признавали многие политические деятели и представители интеллектуальной элиты европейских стран.

Так, профессора Сорбонны Ш. Сеньобос и Л. Эйзенманн, создавая в Париже совместно с русскими учеными «Историю России» для французского читателя, выражали свое восхищение высокой научной культурой русских. Или, например, министр иностранных дел Чехословакии Э. Бенеш считал важнейшим предназначением и заслугой русской эмиграции ее культурную миссию, сохранение, преумножение и распространение русской культуры. В проекте положения об учреждении русского института в Праге было написано, что цель Института — сближение России и Чехословакии, «распространение в Чехословакии сведений о России, русской культуре и результатах текущих работ русских ученых, писателей и представителей всех областей знания и искусства»[1]. Это консолидировало эмиграцию, укрепляло ее духовную связь с Россией, поднимало ее самосознание и национальное достоинство.

Культурную миссию осуществляли многочисленные эмигрантские организации, институты, особенно Русское историческое общество (1925—1942), где заслушивались доклады, посвященные различным проблемам российской истории и знаменательным датам всемирной истории. Лекции о русской науке и культуре русские ученые читали в Русских народных университетах разных стран, в Славянском институте Парижа, в Сорбонне, в Карловом университете Праги и в других многочисленных учебных, научных и просветительских учреждениях западных стран. Значительна роль и такого мероприятия русской эмиграции как «День русской культуры», проводившийся в странах Запада специально созданными комитетами.

В числе чтимых эмигрантами имен, которым посвящались выступления, доклады и статьи наряду с именами А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, С.М. Соловьева и датами, связанными с крестьянской реформой 1861 г., великими правителями России — Петром I и Екатериной II значился и Н.М. Карамзин.

О Карамзине в эмиграции писали статьи и выступали с докладами многие русские ученые: известный специалист по истории русско-итальянских связей Е.Ф. Шмуро; В.В. Саханев, историк, этнограф и географ, первый казначей Русского исторического общества в Праге; правовед А.Н. Фатеев, преподаватель русского народного университета, член Русского исторического общества; П.Б. Струве, академик, экономист и политический деятель; И.И. Лаппо, историк, профессор, преподавал в Праге, затем переехал в Литву (Каунас). Особая роль в обсуждении творчества Карамзина принадлежала А.А. Кизеветтеру, профессионально занимающемуся историей исторической науки. Свои статьи о Карамзине Кизеветтер публиковал еще в России, затем некоторые из них перепечатывал в эмиграции, в Праге, где он обосновался, и стал глубокопочитаемым русским ученым. Его статьи отличаются широтой охвата проблем, связанных с творчеством Карамзина и высоким профессионализмом.

Рассматриваемые статьи русских эмигрантов о Карамзине в основном были приурочены к юбилейной дате — 100-летию со дня его смерти, активно отмечаемой в эмиграции. Доклады и выступления о Карамзине проводились преимущественно Русским историческим обществом в Праге[2].

Эти статьи различны по содержанию, объему и разноплановы по тематике. Они затрагивают проблему роли Карамзина в общественной жизни России, темы «Карамзин — писатель», «Карамзин — историк», его политические взгляды и оценки «Истории государства Российского». Все эти вопросы, как известно, уже были предметом оживленных обсуждений, споров и современников Карамзина, и последующих поколений его читателей.

Кизеветтер проницательно отмечал, что отголоски полемики вокруг Карамзина от панегирики до недоброжелательных эпиграмм долго еще будут оказывать свое влияние. В эмиграции это проявилось в большей мере при рассмотрении «Истории государства Российского».

Кизеветтер коснулся важного, с его точки зрения, вопроса о роли Карамзина в русской умственной и общественной культуре. Он отмечал общепризнанность многосторонности Карамзина, который одновременно был писателем, историком, журналистом, филологом и политиком. При этом Кизеветтер считал необходимым определить происхождение этой многосторонности. У Карамзина она происходила не из разбросанности интересов и механического соединения отдельных пристрастий, а из органического подчинения единому принци-

пу — служению русской культуре. Именно поэтому свою статью Кизеветтер назвал «Карамзин как двигатель русской культуры». Культуру Кизеветтер призывал рассматривать, исторически обусловленной обстоятельствами времени[3].

Тема «Карамзин — писатель», как явление культуры, особо рассматривалась Кизеветтером. Он считал Карамзина — писателя новатором, зачинателем нового литературного направления и со стороны формы, и со стороны содержания. «Он восстал против отягощения русского литературного языка церковно-славянскими архаизмами и начал выковывать литературную речь живую, легкую, теснее связанную с подлинными душевными движениями современного человека, а вновь изобретенными им словами, которые затем вошли в органический состав русской речи, он показал способность русского языка к обозначению тончайших оттенков мысли в выражении отвлеченных понятий, присущих европейской умственной культуре». Заслугу Карамзина в писательском творчестве Кизеветтер признавал в том, что он проповедовал «человечность, достоинство личности, теплоту сердца». Но это новаторство, отмечал Кизеветтер, отличалось искусственной напыщенностью и имело ограниченный, условный характер. «Мещанские» повести Карамзина «Бедная Лиза», «Наталья боярская дочь» с их искусственной и чопорной риторикой, рафинированной чувствительностью, по мнению Кизеветтера, все же сводили литературу «с героических котурн». Но Карамзин не сумел разглядеть признаков или предвестий художественного реализма, стихотворений Катенина, предвещавших творчество Некрасова, не предвидел грибоедовское «Горе от ума». Кизеветтер объяснял это тем, что новаторство Карамзина было обращено не к будущему, а к настоящему, уходящему в прошлое, «Карамзин, — пишет Кизеветтер, — не сходил со старого берега… Он только стремился самый этот берег преобразить, сделав его более уютным и привлекательным… Люди этого типа не любят совершать скачков, поверх бездны на другой берег. Но они готовят тот трамплин, без которого такие скачки были бы вообще ни для кого невозможны»[4].

О вкладе Карамзина в русскую культуру писал и Шмурло. Он сосредоточил внимание на роли Карамзина в создании Пушкиным его драмы «Борис Годунов». «Свой труд, — писал Шмурло, — Пушкин посвятил “с благоговением и благодарностью драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, как труд, гением его вдохновленный”». Посвящение Пушкиным «Бориса Годунова» памяти Карамзина Шмурло признавал не случайным. Он подчеркивал духовную связь поэта и историка, но вместе с тем полагал, что в истолковании событий Пушкин проявлял «духовную независимость» и во многом углублял представления Карамзина[5].

Значительное внимание историки-эмигранты уделяли политическим воззрениям Карамзина.

Статья Фатеева называлась «Политический профиль Карамзина». Черты карамзинского профиля автор статьи видел в законодательных актах XIX в. (Манифест 29 апреля 1881 г. законы 1889—1890-х гг.) по защите самодержавия. Фатеев сравнивал Карамзина с английским публицистом Эд. Берком, автором антиреволюционных памфлетов.

Карамзину, по словам Фатеева, была присуща «охранительная мудрость», обеспечивающая мощное развитие России; все новое в государственном устройстве он считал злом. Отсюда, заключал эту мысль автор статьи, следовала «язвительная критика» Александра I, подпавшего под влияние «школьника» Сперанского, за его «десятилетние заблуждения»[6].

П.Б. Струве, как последовательный сторонник свободной от деспотизма самодержавной государственной власти, признавал в Карамзине своего предшественника. Он называл его защитником традиций свободолюбивой и в то же время охранительной государственной мысли. Защита этих традиций, по убеждению Струве, всегда, и во времена Карамзина, осуществлялась «изъявлением народной воли»[7].

О защите Карамзиным отечества самодержавием писал и Лаппо. Он объяснял это тем, что Карамзин «не верил в политическое дарование народа и особенно дворянства» и признавал охранительные способности России только в самодержавном устройстве[8].

Представления Кизеветтера о политических взглядах Карамзина отличались более пространным и содержательным изложением. Он выступил против распространенного в историографии утверждения об изменении политических воззрений Карамзина от поклонения республиканскому правлению до апологии самодержавия. Кизеветтер считал, что по своему духовному складу Карамзину было свойственно только «облагораживать старое». Панегирик Карамзина Негласному комитету при Александре I, по мнению Кизеветтера, не означал «смены вех». Деятельность Негласного комитета не была связана с задачей коренного изменения политического строя. Либеральные свободы и республиканизм Карамзина, подчеркивал Кизеветтер, всегда находились в рамках самодержавного строя, и Карамзин всегда оставался защитником самодержавия. Это подтверждает и отрицательное отношение Карамзина к Сперанскому[9].

Пристальное внимание историков-эмигрантов было приковано к Карамзину-историку и его «Истории государства Российского».

В. Саханев выступил с докладом «Карамзин как историк» с позиций его «абсолютной защиты». Он считал, что Карамзин был основателем первой полной и научной концепции русской истории, первым приме-

нил шлёцеровский метод критики источников и ввел в научный оборот новые документальные материалы. Художественное освещение истории, по словам Саханева, позволило Карамзину привлечь широкие круги общества к русской истории[10].

Статьи и выступления Кизеветтера отличались особым подходом. Карамзин как историк рассматривался им в контексте развития исторической науки. Кизеветтера интересовала прежде всего научная основа труда Карамзина. «В своей существенной основе исторический труд Карамзина, — писал Кизеветтер, — и по подбору материала и по обобщающей схеме русского исторического процесса опирается целиком на предшествующие работы русских историков XVIII столетия, всего более на “Историю” кн. Щербатова»[11]. Мысль о преемственности и зависимости карамзинской «Истории» от ученых XVIII в. Татищева, Щербатова, Болтина, Шлёцера уже была изложена и доказана сравнительными текстологическими совпадениями «Истории» Карамзина, Щербатова и «Нестора» Шлёцера в талантливой книге П.Н. Милюкова «Главные течения русской исторической мысли», выдержавшей два издания (1896 и 1913 гг.).

Милюков для Кизеветтера был большим авторитетом. Опираясь на исследование Милюкова, Кизеветтер писал, что «значительнейшую часть своей эрудиции Карамзин взял уже готовой у историков XVIII ст. так же как и готовую общую схему русской истории, но эта схема была устаревшей». Это, однако, и по мнению Милюкова, и Кизеветтера не означало, что Карамзин ничего не прибавил к материалам и суждениям своих предшественников. Оба историка указывали на особое значение «Примечаний» к «Истории» Карамзина, введение им в научный оборот новых источников, оригиналы которых позднее были утрачены.

Важным совпадением позиций Милюкова и Кизеветтера являлся также их взгляд на задачи истории в творчестве Карамзина. По их мнению, Карамзин смотрел на писание истории как литератор и ценил в историческом произведении только занимательность рассказа и морализирование, он писал историю не для ученых, а для «большой публики». Старое построение истории, по словам Кизеветтера, он оживотворил, «иллюминовал его блеском своего таланта, сообщил ему в глазах общественной массы недостижимое ранее очарование»[12]. Теоретическим обоснованием взглядов Карамзина на историю Милюков и Кизеветтер считали его принадлежность к рационалистическому мировоззрению XVIII в., по которому жизнью человека руководит разум, а государства — разум государя. Поэтому, заключал свои размышления об этом Кизеветтер, история Карамзина «не есть даже история государства, это есть история государей — добрых и злых, хороших и дурных, мудрых и опрометчивых… двигательную пружину исторической жиз-

ни он усматривал только в актах личной воли носителей власти». Обличения Карамзиным террора и жестокости власти являлись моральными, но не политическими обвинениями. Карамзин в своей истории создал «сентиментальный идеал свободы под сенью самодержавия»[13].

Знаменательны и суждения Г.П. Федотова, также относившего Карамзина к XVIII в. «Художественному гению, более чем научному, — писал Федотов, — удается впечатлить свой образ национального прошлого, заворожить им целый народ».

По словам Федотова, Карамзин создал «первый национальный образ России», он дал «классическое одеяние» России, построил ее форму в стиле ампир — параллель: Захаров и Росси, — заставив ее героев говорить языком римлян». Сейчас нам не пристало глумиться над русским ампиром, отмечал он. Это последний большой стиль России. Такой видел Россию Пушкин. Карамзин зачаровал Пушкина и был водителем его поколения на повороте от декабрьского либерализма к николаевскому консерватизму. Карамзин дал душу и стиль николаевской эпохе, потому что и она имела свой стиль. Однако стиль этот был уже в состоянии окаменения. Разложение карамзинского стиля началось с тридцатых, даже двадцатых годов. Далее Федотов приводит имена Каченовского, Полевого, западников и славянофилов, полагая, что время ждало нового построения и нового мастера[14].

В русле размышлений Милюкова и Кизеветтера рассуждал и Шмурло. В 1930 г. он опубликовал статью под названием «С.М. Соловьев», предварительно прочитав доклад на заседании Русского Научного Института в Белграде[15].

Шмурло считал, что «Карамзин прежде всего и больше всего журналист, писатель, стихотворец, беллетрист по призванию». Сравнивая Карамзина с Соловьевым, Шмурло отдавал предпочтение Соловьеву, который, в отличие от Карамзина, понимал, что в основание истории заложена идея развития, движения и прогресса, т.е. вечного непрерывного изменения, эволюции и органического роста. Труд Карамзина он ценил за «живой, интересный, полный драматических положений рассказ, за блестящие характеристики отдельных личностей, изложенные легким, изящным, “карамзинским языком”, за лиризм, высокое чувство патриотизма»[16]. Заслугой Карамзина Шмурло считал и его способность заинтересовать русское общество его прошлыми судьбами. Но «История Государства Российского» удовлетворила далеко не всех. «Мало было одного рассказа, как бы живописен, интересен он ни был — ощущалась потребность не только проследить последовательную смену событий, но и уловить закономерность этой смены, открыть руководящую идею, основное начало, причинную связь между явлениями, узнать, чем было вызвано это самое движение и рост»[17].

Труд С.М. Соловьева «История России с древнейших времен» с его идеями о закономерности, органичности исторического процесса, принципом историзма и логики внутреннего развития признавался Шмурло так же, как Милюковым и Кизеветтером, новым поворотным этапом в развитии исторической науки, оставляя «Историю» Карамзина наследием XVIII столетия.

Рассмотренные статьи историков-эмигрантов — историографический памятник своего времени. Написанные историками, профессионально занимающимися историей исторической науки, они расширяют историографию о Карамзине и вносят новые акценты и коррективы в историю исторической мысли.

Примечания

[1] Сборник Русского института в Праге. Прага, 1929. Т. 1. С. 3.
[2] Хроника культурной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике. Praha, 2000. I. 1919 — 1929. С. 261, 270.
[3] *Кизеветтер А.А.* Карамзин, как двигатель русской культуры // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1929. Т. 1. С. 145—147.
[4] Там же. С. 147—150, 160.
[5] *Шмурло Е.Ф.* Роль Карамзина в сознании пушкинского «Бориса Годунова» // Записки Русского Исторического общества (далее РИО). 1927. Т. 1. С. 43—44; *Он же.* Этюды о Пушкине // Пушкинский сборник. 1929. Прага. С. 5, 23.
[6] *Фатеев А.Н.* Политический профиль Карамзина // Записки РИО. 1927. Кн. 1. С. 29—30; *Он же.* Политические направления первого десятилетия XIX века в борьбе за Сенат // Сборник Русского института в Праге. I. 1929. С. 238 — 252.
[7] *Струве П.Б.* «Русский колокол» И.А. Ильина // Россия. 1927. 1 октября; *Он же.* Об объединении и полемике // Россия и славянство. 1930. 6 октября.
[8] *Лаппо И.И.* Н.М. Карамзин и его государственные идеи // Россия. 1927. 26 ноября.
[9] *Кизеветтер А.А.* Карамзин, как двигатель русской культуры… С. 152—159.
[10] Записки Русского исторического общества в Праге. Кн. I. Прага, 1927. С. 24.
[11] *Кизеветтер А.А.* Карамзин как двигатель русской культуры… С. 150—152.
[12] *Кизеветтер А.А.* Карамзин как двигатель русской культуры… С. 150—152; *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли // *Милюков П.Н.* Очерки истории исторической науки. М., 2002. С. 142, 155—158, 217—218, 226.
[13] *Кизеветтер А.А.* Карамзин как двигатель русской культуры… С. 151, 159.
[14] *Федотов Г.П.* Россия Ключевского // *Федотов Г.П.* Собр. соч. В 12 т. М., 2012. Т. 4. С. 156 -157.
[15] *Шмурло Е.Ф.* С.М. Соловьев // Записки Русского Научного института в Белграде. Белград, 1930. Вып. 1. С. 281—283.
[16] Там же. С. 282—283.
[17] Там же.

Е.Н. Дербин

«История государства Российского» Н.М. Карамзина и его государственные идеи в русской зарубежной историографии

Об «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина написано очень много. В разные периоды отечественной историографии она оценивалась по-разному: от восхваления по выходу (А.С. Пушкин) до критики (Н.А. Полевой, А.Н. Пыпин, П.Н. Милюков) и полного отрицания (М.Н. Покровский). Пожалуй, впервые «спокойное, строго беспристрастное отношение к ее предмету»[1] прозвучало в русской зарубежной историографии. Она единственная откликнулась в 1926 г. на столетие со дня смерти Н.М. Карамзина и в 1966 г. на двухсотлетие со дня его рождения. С докладами и статьями, посвященными Н.М. Карамзину, выступили Н.К. Кульман (1926), Г.Л. Лозинский (1926), В.А. Францев (1926), И.И. Лаппо (1926), А.Н. Фатеев (1927), В.В. Саханев (1927), В.Н. Строев (1927), А.А. Кизеветтер (1927), Е.Ф. Шмурло (1929), П.Б. Струве (1932), К.И. Зайцев (1966)[2]. Удивительно, но в обильной карамзинской литературе нет анализа взглядов историков-эмигрантов. О них даже не упомянуто в антологии «Карамзин: pro et contra. Личность и творчество Н.М. Карамзина в оценке русских писателей, критиков, исследователей», вышедшей в 2006 г.[3] К счастью, ситуация стала меняться и в 2010 г. увидела свет другая антология: «Зарубежная Россия и Карамзин»[4], правда, без анализа представленных работ. В год 250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина и 200-летия первого издания «Истории государства Российского» стоит вчитаться в сочинения изгнанников. Они сумели не только не забыть и сохранить память о нем, как об одном из главных патриотов России, что им было очень близко, но и понять масштаб личности «бессмертного историографа». При прочтении их работ можно выделить следующие моменты.

При оценке «Истории государства Российского» историки-эмигранты единодушно стремились выделить как слабые, так и сильные стороны исторического труда Н.М. Карамзина. Они понимали, что рационалистическая концепция русской истории, как истории монархического государства, усвоенная им у историков XVIII в. и вновь по-

пуляризированная, уже в то время была устаревшей[5]. Объяснялось это тем, что Н.М. Карамзин смотрел на писание истории как литератор и ценил в историческом сочинении только занимательность рассказа и морализирование[6]. «Он вовсе не собирался быть ученым историком»[7]. При этом отмечалось, что «Примечания» к «Истории» Н.М. Карамзина не утратили своего научного значения до наших дней. А своей блестящей подачей исторического материала он совершил целый переворот в общественном мнении, заставив читающие массы обратиться к родной истории. Конечно, государственные идеи Н.М. Карамзина о решающей роли самодержавия не имели перспективы[8]. Он «был яркий представитель охранительной мысли»[9], но историки-эмигранты, на себе испытавшие гибель государственности вместе с крушением империи, пытались представить его идеи глубже. Так, Н.К. Кульман объяснял воспоминания о Н.М. Карамзине тем, что «с одной стороны, они свидетельствуют об известной степени национальной культурности, с другой — воспитывают здоровое национальное чувство. <…> память о нем должна быть особенно дорога нам, изгнанникам, по преимуществу обязанным хранить чувство любви к родине и веру в ее славное будущее. Карамзин был настоящим *русским* человеком и *патриотом* в самом лучшем смысле этого слова»[10].

Н.К. Кульман, а вслед за ним И.И. Лаппо, А.А. Кизеветтер и др., единодушно уповали на то, что Н.М. Карамзин понимал — самодержавие не есть деспотизм. «Просвещение, свободу слова, печати в соответствии с законами — вот что проповедовал Карамзин, представляя, таким образом, самодержавие <…> в виде просвещенного абсолютизма». «И царь, и граждане сливаются в одно целое, имя которому Россия». Идеология Н.М. Карамзина есть, прежде всего, национальная идея служения Отечеству. «Перед самодержавным царем стоят не его рабы, а граждане Государства Российского. Они должны нести ему не только свою любовь и верность, как воплощение идеи Отечества в одном человеке, но и свой труд, свое самопожертвование, свою *правду* во имя блага России». Однако, в то время, объясняет И.И. Лаппо, «Карамзин решительно не верил в *политические* дарования русского народа, а в особенности русского дворянства, которое было тогда не только высшим сословием России, но и ее *интеллигенцией*». Протест его против либеральных реформ Александра I историки-эмигранты объясняли большой теоретичностью этих реформ. Н.М. Карамзин «считал необходимым, чтобы закон был выводом из исторической жизни России, вырос *органически* из этой основы и реальных потребностей русского народа и его исторического государства, а не явился бы лишь плодом заимствований от других народов и простою пересадкою в Россию теоретических положений западно-европейской политической мысли».

«Он вовсе не был врагом освобождения крестьян, он лишь считал, что только тогда свобода может оказаться благодетельной для крестьян, когда ей будет сопутствовать просвещение»[11]. Поэтому «Карамзин все же предъявлял самодержавию свои условия, — только не политические, но моральные». «Мы обязаны воздать должное стремлению Карамзина облагородить самодержавие», — заключал А.А. Кизеветтер[12]. Напротив, Архимандрит Константин (К.И. Зайцев) находил Н.М. Карамзина политическим идеологом, «одним из основоположников русского национально-осмысленного консерватизма», высшей ценностью которого должен был стать «гражданин России». И это придавало, считал он, особую силу «Истории государства Российского»[13]. Этот взгляд на государственные идеи Н.М. Карамзина стал господствующим в русской зарубежной историографии и нашел отражение в общих трудах по истории отечественной философии и литературы. Так, В.В. Зеньковский считал, что «в охранительном патриотизме Карамзина церковное обоснование учения о власти подменяется заботой о славе России, мощи и величии ее. Это обмирщение былой церковной идеи заменяло церковный пафос эстетическим любованием русской жизнью, русской историей»[14].

Таким образом, государственные идеи Н.М. Карамзина были вновь актуализированы в русской зарубежной историографии и парадоксально созвучны дню сегодняшнему. Как писал Н.К. Кульман: «К сожалению, в нас долго воспитывали привычку “плевать на честные могилы”, а в тех случаях, когда плевать было уже слишком зазорно, оценивать их с точки зрения либеральной политической доктрины и, по возможности, умалять всех, кто не принадлежал к либеральным кругам». И он же первым из эмигрантов призвал: «Очевидно, надо теперь пересмотреть все оценки»[15]. В итоге русские историки, рассеянные по разным странам, единодушно призвали «присмотреться попристальнее к политическому мировоззрению Карамзина как русского национального деятеля»[16], а не простого поборника самодержавия.

Примечания

1 *Лаппо И.И.* Н.М. Карамзин и его государственные идеи // Подвиг честного человека: из наследия русской эмиграции (Зарубежная Россия и Карамзин). М., 2010. С. 31.

2 Историческая наука российской эмиграции 20—30-х гг. XX века (хроника) / Сост. С.А. Александров. М., 1998. С. 70, 76, 79, 82, 194.

3 Карамзин: pro et contra / Сост., вступ. ст. Л.А. Сапченко. СПб.: РХГА, 2006.

4 Подвиг честного человека: из наследия русской эмиграции (Зарубежная Россия и Карамзин) / Сост. и вступ. ст. М.Д. Филина. М.: Русский мир, 2010.

5 Хотя такой крупный ученый, как П.Б. Струве, обоснованно использовал ее в

своих исторических сочинениях в эмиграции. Но это скорее исключение. — См.: *Струве П.Б.* Избранные труды. М.: РОССПЭН, 2010. С. 124, 245, 312, 359, 422.

[6] *Кизеветтер А.А.* Карамзин // Подвиг честного человека: из наследия русской эмиграции (Зарубежная Россия и Карамзин). С. 128. — Ср.: *Амфитеатров-Кадашев В.* О Карамзине // Там же. С. 10.

[7] *Кульман Н.К.* Н.М. Карамзин. К столетию со дня смерти // Там же. С. 22—23.

[8] *Кизеветтер А.А.* Карамзин. С. 128—130.

[9] *Кульман Н.К.* Н.М. Карамзин. К столетию со дня смерти. С. 13.

[10] Там же. С. 12.

[11] *Лаппо И.И.* Н.М. Карамзин и его государственные идеи. С. 34, 37; *Кульман Н.К.* Н.М. Карамзин. К столетию со дня смерти. С. 15, 18—19.

[12] Кизеветтер А.А. Карамзин. С. 132—133.

[13] Архимандрит Константин (Зайцев). Н.М. Карамзин (1766—1826). К двухсотлетию его рождения // Подвиг честного человека: из наследия русской эмиграции (Зарубежная Россия и Карамзин). С. 207, 219—220.

[14] *Протоиерей В.В. Зеньковский.* Н.М. Карамзин. Из книги «История русской философии» // Подвиг честного человека: из наследия русской эмиграции (Зарубежная Россия и Карамзин). С. 144. — Ср.: *Тхоржевский И.И.* Карамзин. Из книги «Русская литература» // Там же. С. 154—156; *Коварская Л.А.* Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) // Там же. С. 167; *Осоргина А.М.* Н.М. Карамзин (1766—1826). Из книги «История русской литературы» // Там же. С. 187—188.

[15] *Кульман Н.К.* Н.М. Карамзин. К столетию со дня смерти. С. 12, 19.

[16] *Лаппо И.И.* Н.М. Карамзин и его государственные идеи. С. 31.

Л.А.Сидорова

Н.М. Карамзин в лекционных курсах комуниверситетов. 1920-е годы

Споры о Н.М. Карамзине — литераторе и историке — насчитывают уже более двух столетий. Они начались еще при жизни великого историографа и сопровождают его имя и творчество по сей день[1]. Противоречивые и подчас полярные, от апологетических до уничижительных, оценки личности, писательского таланта, вклада в изучение российской истории говорят, тем не менее, о неоспоримом вкладе Н.М. Карамзина в русскую культуру, в развитие отечественной общественной мысли.

Полемика не прекращалась ни в относительно спокойные периоды состояния российского социума, ни, тем более, на переломных этапах в жизни страны. Естественно, что в условиях победившей пролетарской революции в России «страсти по Карамзину» были обречены на оживление. Пройти мимо его идей было невозможно, следовательно, надо было встроить наследие Н.М. Карамзина в новую образовательную стратегию. Об этих намерениях свидетельствуют лекции для слушателей созданных в первые годы советской власти коммунистических учебных заведений.

Один из наиболее ярких примеров — лекции М.Н. Покровского, прочитанные 3—7 мая 1923 г. в Коммунистическом университете им. Г.Е. Зиновьева в Ленинграде[2]. Высокий статус лектора — лидера советской исторической науки, подтверждает директивность высказанных им положений о роли и месте Н.М. Карамзина, историка и писателя, в марксистских истории исторической науки и истории литературы.

Коммунистический университет, перед студентами которого выступил М.Н. Покровский, был одним из образовательных учреждений нового типа. В отличие от традиционных университетов, в нем обучались люди, имевшие большой стаж партийной и революционной работы, в то время как уровень их образования в большинстве случаев не превышал и начального. Перепрыгивая через гимназические звено и стремясь «штурмом» дать недостающее среднее и определенную долю высшего образования, комвузы были призваны решить проблему нехватки партийных кадров — организаторов промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и идеологии.

М.Н. Покровский чрезвычайно высоко оценивал роль таких университетов. «Вы — та новая школа общественных наук, о которой мы до сих пор только мечтали»[3], — заявил он, обращаясь к слушателям в мае 1923 г. Для него коммунистические университеты, невзирая на крайне низкий образовательный уровень учившихся в них, представляли собой «совершенно своеобразное, оригинальное, не по какому-нибудь плану выдуманное, но созданное, действительно, самой жизнью, самой стихией революции учреждение»[4]. Комвузы он полагал «образцом», которому должны были следовать «будущие факультеты общественных наук»[5].

Ожидалось, что в результате принимавшихся мер факультеты общественных наук (ФОНы), в которые были преобразованы гуманитарные факультеты классических университетов (Московского, Петербургского и пр.), будут, по словам М.Н. Покровского, «понемногу коммунизироваться», то есть «свердловизироваться (Имелся в виду Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова в Москве. — *Л.С.*) и зиновьевизироваться» снизу[6].

Это означало структурные изменения и обучение по новым методикам и по новым программам. Сущность преобразования высшей школы М.Н. Покровский определил, как создание школы общественных наук, которая станет, «действительно марксистской, не потому, что там преподают марксисты, а потому, что там немыслима будет никакая история, кроме марксистской, и никакое студенчество, кроме пролетарского»[7].

На этом пути М.Н. Покровский видел немалые трудности, коренившиеся в авторитете русской классической исторической науки и историков, ее преподававших и исследовавших. Студенты Комуниверситета им. Г.Е. Зиновьева услышали от него «ценное признание» — рассказ о влиянии, которое оказывали деятели дореволюционной науки на молодые марксистские кадры. «Не в том дело, чтобы в старую высшую школу посадить людей, знающих Маркса, — обращался он к слушателям. — Опыт показывает, к сожалению, что люди, великолепно знающие Маркса, попав на кафедру обычного университета, весьма скоро становятся похожими на самых заурядных университетских профессоров»[8], — сетовал М.Н. Покровский на случавшиеся «метаморфозы».

Такие же «метаморфозы» могли подстерегать молодое пролетарское студенчество при знакомстве с наследием российских историков — дворянских и буржуазных, поскольку ограничиться только лекциями комвузовских лекторов и малочисленными «марксистскими книжками по русской истории», которые многие студенты знали уже наизусть, было явно недостаточно для сколько-нибудь серьезного изучения истории.

Особую опасность, по М.Н. Покровскому, представляли собой самостоятельные занятия дома, в ходе которых слушателям комвузов «постоянно придется обращаться к до-марксистской литературе»[9]. Он призвал отнестись к ней критически и не ожидать, что она даст объек-

тивное освещение исторических событий, как, например, книги по физике описывают физические явления.

Упомянув в этой связи работы С.М. Соловьева, Б.Н. Чичерина, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, глава историков-марксистов особо остановился на трудах Н.М. Карамзина, в первую очередь на «Истории государства Российского». Он обратился к слушателям, имитируя в дальнейших словах ход возможных рассуждений воображаемого студента, знакомящегося с карамзинской историей: «Она устарела, устарел подход, устарела точка зрения, но все-таки, — рассуждал М.Н. Покровский за студента, — в ней изображается русская история от времен Рюрика до Смутного Времени, на котором остановился Карамзин. По этой книге можно, стало быть, ознакомиться с русской историей точно так же, как по учебнику физики вы знакомитесь с электричеством»[10].

Чтобы избежать такой ошибки при чтении немарксистской литературы, которую, по мнению М.Н. Покровского, совершали не только неопытные учащиеся комвузов, но и «многие товарищи, очень авторитетные»[11], следовало быть вооруженным особым ключом. «Если вы перестанете верить, что историческая книжка, написанная буржуазным историком, представляет моментальную фотографию исторического процесса, если вы поймете, что это — кривое зеркало, вы получите ключ к тому шифру, каким написана книжка»[12], — убеждал он студентов.

Задачей своего курса М.Н. Покровский считал показ «на нескольких примерах», что представляет собою «в действительности до-марксистская, а отчасти марксистская, литература по русской истории и как ее нужно расшифровать, чтобы воспользоваться ею»[13].

С этих позиций лектор начал представлять слушателям коммунистического университета роль Н.М. Карамзина и его главного исторического труда в российской историографии. Поскольку аудитория была не готова к серьезным академическим лекциям, чего не мог не знать и не видеть М.Н. Покровский, кстати, заметивший, что на его изложение событий Смутного времени («Эту довольно сухую материю, вас, вероятно, несколько утомившую»[14]) она реагировала вяло, он перешел на стиль упрощения и обобщения материала, преподнесения его на броских фактах, более понятных студентам.

Достаточно симптоматичным было то обстоятельство, что при отсутствии у студентов базовых знаний по истории, М.Н. Покровский не усматривал никакого ущерба для педагогического процесса. Напротив, эта молодежь представлялась идеальной *tabula rasa* для формирования нового поколения историков, которых готовили не столько на исторических фактах, сколько на марксистских социологических схемах.

Два вводных выражения — «к счастью» — были употреблены М.Н. Покровским в его лекции именно в таком контексте. «К счастью,

ваши головы не начиняют той чепухой, какой начиняли в свое время наши головы», — обратился он, учившийся у В.О. Ключевского, к слушателям, возможно и незнакомым, по его собственным словам, даже с рассказом «о начале Руси»[15]. В конце лекционного времени М.Н. Покровский вновь адресовал студентам сомнительный комплимент: «Та школьная история, которую вы, к счастью, не изучали»[16].

Свое понимание Н.М. Карамзина М.Н .Покровский счел необходимым дать «веселым штрихом»[17]. Для этого он избрал фрагменты из переписки историка с товарищем министра народного просвещения, попечителем Московского университета и одновременно Московского учебного округа М.Н. Муравьевым по поводу начала работы над «Историей государства российского». Они должны были убедить слушателей в крайней идеологизированности исторической концепции Н.М. Карамзина, в отсутствии у него научного подхода к изучению российской истории. М.Н. Покровский характеризовал великого историографа как «фигуру чрезвычайно любопытную», потому что в нем «политическая публицистика под видом объективной истории приобретает особенно выпуклый и, — усилил он степень оценки, — цинический характер»[18].

В глазах лидера историков-марксистов «История Государства Российского» — это не научное, а публицистическое произведение, написанное на заказ. Кратко излагая историю создания этого труда, М.Н. Покровский делал упор на двух факторах — деньгах и конъюнктуре. «Дело совершенно ясное, — убеждал он студентов. — Император Александр I, взвесив все обстоятельства, убедился, что писатель заслуживает доверия, хочет посвятить дни свои писанию “Истории”, которая бы прославила, между прочим, и царствование Александра, и дал ему за это определенную сумму денег. Совершенно ясная и определенная вещь. Так началась “История государства Российского” Карамзина»[19].

М.Н. Покровский считал необходимым раскрыть классовый характер заказа на главный исторический труд Н.М. Карамзина. Чтобы его аудитории стали понятнее мотивы историка, писавшего в начале XIX в., он решил провести параллель с современностью. «Когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое, — куда он идет? — спрашивал он своих слушателей и сам же отвечал: — Он идет в Социалистическую Академию и там читает или в дискуссионном клубе». Дав такие незатейливые пояснения, он перешел к событиям столетней давности. «Когда Карамзин написал первую главу «Истории» — что он сделал? — Вновь повторил М.Н. Покровский тот же лекторский прием. — Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры, Екатерины Павловны, и там Александру I читал первую главу своего произведения».

Затем М.Н. Покровский озвучил свой главный вывод: «Совершенно естественно — читают тому, для кого пишут. Писал Карамзин Александру

по его заказу, ему и нужно прочесть. Мы пишем для нашей коммунистической публики и ей читаем, а он поехал царю читать»[20]. Этот тезис лидера молодой советской исторической науки интересен во многих отношениях.

Во-первых, он нацеливал на поиск классовой основы любого сочинения по истории, будь то труд дворянского историка или работа историка-марксиста.

Во-вторых, подчеркивалась классовая ограниченность авторов и выходивших из-под их пера произведений. И здесь М.Н .Покровский не был оригинален: на зависимость исследователей от внешних факторов — территориальных, национальных, социальных, политико-идеологических, конфессиональных и пр. — указывали еще на заре становления российской профессиональной историографии. В XVIII в. один из ее создателей, Г.Ф. Миллер, писал, что «обязанность историка трудно выполнить», так как он должен был «казаться без отечества, без веры, без государя»[21].

Однако, и это в-третьих, Г.Ф. Миллер не отказывал историкам в возможности написать научную историю. «Я не требую, — писал он, — чтобы историк рассказал все, что он знает, ни также все, что истинно, потому что есть вещи, которыя нельзя рассказывать… и которыя, быть может, мало любопытны, чтобы раскрывать их перед публикою; но все, что историк говорит, должно быть строго истинно, и никогда не должен давать он повода к возбуждению к себе подозрения в лести»[22]. Позиция М.Н. Покровского была противоположной. Вопрос — «чего можно ожидать от «Истории» Карамзина, как научного произведения»[23] — был для него предельно ясен. Классовость (если не пролетарская!) и научность в исследовании были для него несовместимы, что он и доказывал в своей лекции.

Абсолютизируя политико-идеологические составляющие труда Н.М. Карамзина, рассматривая создание «Истории государства Российского» как «типичную придворную историю»[24], М.Н. Покровский призывал студентов не доверять этой многотомной истории. Свою позицию он подкрепил ссылкой на авторитет А.С. Пушкина, приведя с синтаксическими погрешностями известную эпиграмму поэта, выразившую, по его мнению, «отношение тогдашней либеральной публики» к историческому сочинению Н.М. Карамзина: «В его Истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастья: необходимость самовластья и прелести кнута»[25].

Заметим, что для М.Н. Покровского, получившего классическое университетское образование, обращение к литературным примерам было совершенно органичным, особенно в случае с Н.М. Карамзиным, не только историком, но и известным русским писателем.

Здесь уместно также сделать небольшое отступление в литературоведение. Эпиграмма отражала впечатления поэта от чтения шестого тома «Истории государства Российского», в котором освещены собы-

тия царствования Ивана III. Авторство А.С. Пушкина вызывало сомнения у ряда пушкиноведов и в XIX в., и позже, однако колебания были разрешены в пользу принадлежности данной эпиграммы А.С. Пушкину. Но только этой. Несколько других эпиграмм, посвященных «великому историографу» и приписываемых поэту, не связаны с его творчеством[26]. Сам А.С. Пушкин считал, что его эпиграмма на Н.М. Карамзина «остра и ничуть не обидна», а другие — «глупы и бешены»[27].

Среди эпиграмм, которые приписывались поэту и были оценены им весьма невысоко, литературоведы приводят одну. Вот ее текст:

«Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам решился доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать»[28].

Не беря на себя смелость делать какие-либо суждения об авторстве или обстоятельствах появления данных эпиграмм, вокруг которых сложился большой корпус работ литературоведов, позволю себе остановиться на проблеме, обозначенной в эпиграмме, приписываемой А.С. Пушкину. В ней поставлен вопрос о двоемыслии, актуальность которого для исторической науки несомненна.

Совсем в духе данной эпиграммы М.Н. Покровский разделил общественные взгляды историка и идеи, заложенные в его «Истории». Своих слушателей он убеждал в том, что Н.М. Карамзин принадлежал к «официальной “историографии” той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шагу вперед»[29]. Он отказал «великому историографу» в выработке собственной концепции российской истории. Исходя из этого посыла, М.Н. Покровский считал важным показать «не тот угол зрения, под которым Карамзин смотрел на историю, а смысл той философии истории, смысл того подхода, который нашли нужным Александр I, Аракчеев, вообще все тогдашнее правительство, продиктовать Карамзину»[30].

«Великий историограф», как полагал марксист М.Н. Покровский, должен был оправдать территориальные приращения, осуществленные «новейшими царями» — Екатериной II и Александром I. Для этого «собирание русской земли» Н.М. Карамзин сделал «стержнем всего русского исторического процесса»[31].

Далее М.Н. Покровский предложил своим слушателям «окончательно расшифровать» «Историю государства Российского» — то есть определить истинный движитель русской истории — «классовую силу, которая стояла за “собирателями”». Для М.Н. Покровского вывод был очевиден: «Собирание Руси с самого начала Московского княжества и

до Александра I двигалось совершенно определенным экономическим фактором, этим фактором был **торговый капитал**»[32].

Подведя студентов к своей теории торгового капитала, М.Н. Покровский выдвинул ее в качестве методологического основания, «ключа», с которым историку-марксисту следовало подойти к чтению и освоению главного труда Н.М. Карамзина, не опасаясь попасть в «чрезвычайно глупое положение»[33]. Из «Истории государства Российского», по словам лектора, было должно «вышелушивать» только факты, которые Н.М. Карамзин «взял из разных источников»[34].

Однако пользование этим собранием фактов также имело свои правила. Требование применения классового подхода распространялось М.Н. Покровским и на обращение к фактам, приведенным Н.М. Карамзиным. «Только таким образом, — наставлял он молодых историков-марксистов, — вы в состоянии будете использовать и Карамзина, и его источники»[35].

Такой сугубо фрагментарный и утилитарный подход к наследию великого историка, который пропагандировал М.Н. Покровский, вызвал у него, как лектора, потребность подкрепить его обоснованность ссылками на примеры негативного отношения к исторической концепции Н.М. Карамзина. Не заботясь об объективности и отметая заслуги историографа, он писал, что «уже в 20-х гг. XIX века в ученом мире с Карамзиным почти не считались; он был тем оселком, на котором пробовали свое научное остроумие молодые историки»[36].

М.Н. Покровский доказывал студентам, что теория русской истории Н.М. Карамзина устарела «в день своего появления»[37]. Популярность историка он связывал только с мнением «широкой публики», которую привлекала художественность «манеры изложения». Другими читателями «Истории государства Российского» были, по мнению лектора, лишь авторы учебников, которые «частью поневоле, по долгу службы черпали из Карамзина философию русской истории»[38].

Объяснение для «быстрого устарения» исторической концепции Н.М. Карамзина М.Н. Покровский видел в социально-экономическом развитии России. «Когда Карамзин кончил свой труд, вдохновлявшийся интересами торгового капитала, в России сложился промышленный капитализм, требовавший новых точек зрения повсюду, между прочим и в истории»[39], — наставлял он своих слушателей.

Таким образом, студенты Коммунистического университета им. Г.Е. Зиновьева получили от М.Н. Покровского «ключ» к историческому наследию Н.М. Карамзина, который открывал им великого историка лишь как дворянского публициста, выполнившего заказ самодержавной власти и тем самым обрекшего свои труды на скорое забвение и превращение в собрание фактов. Н.М. Карамзин, предложивший рос-

сийской исторической науке свое видение истории, пребывал пока для молодых историков-марксистов *terra incognita*.

Примечания

[1] См., напр.: Карамзин: pro et contra / сост., вступ. ст. Л.А. Сапченко. СПб.: РХГА, 2006.
[2] *Покровский М.Н.* Борьба классов и русская историческая литература. Лекции, читанные в Коммунистическом университете имени тов. Зиновьева 3—7 мая 1923 г. Пг.: Изд. «Прибой», 1923.
[3] *Покровский М.Н.* Борьба классов и русская историческая литература. С. 5.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же. С. 6.
[8] Там же.
[9] Там же. С. 8.
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Там же. С. 11.
[13] Там же. С. 9.
[14] Там же. С. 23.
[15] Там же. С. 12—13.
[16] Там же. С. 31.
[17] Там же. С. 23.
[18] Там же. С. 23.
[19] Там же. С. 25.
[20] Там же. С. 25.
[21] Цит. по: *Иконников В.С.* Опыт русской историографии. Т. I. Кн. I. Киев, 1891. С. 228.
[22] Там же.
[23] *Покровский М.Н.* Борьба классов и русская историческая литература. С. 23.
[24] Там же. С. 28.
[25] Там же; см. текст эпиграммы: (НА КАРАМЗИНА)
«*В его “Истории” изящность, простота*
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута» //
Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в двадцати томах. Т. 2. Кн. первая (Петербург. 1817—1820). СПб.: Наука, 2004. С. 28.
[26] См.: Там же. С. 521 — 523.
[27] Цит. по: Там же. С. 522.
[28] Цит. по: Там же.
[29] *Покровский М.Н.* Борьба классов и русская историческая литература. С. 28.
[30] Там же. С. 28—29.
[31] Там же. С. 29.
[32] Там же.
[33] Там же. С. 31.
[34] Там же.
[35] Там же.
[36] Там же. С. 32.
[37] Там же.
[38] Там же.
[39] Там же.

В.В. Тихонов

Н.М. Карамзин в советских историографических исследованиях 1940-х — середины 50-х гг.: парадоксы «реабилитации»

Фигура Н.М. Карамзина занимает особое место в русской культуре. Не является исключением и его значение для развития исторического знания в России. Отношение к наследию «Колумба древностей российских» традиционно является индикатором состояния историографии. Государственнический пафос и патриотизм, заложенные в «Истории Государства Российского», обеспечили долгую жизнь историческому нарративу, предложенному историографом.

В начале XX в. в сообществе профессиональных историков отношение к классику характеризовалось признанием его заслуг в деле популяризации истории. Несмотря на это, теоретико-методологический базис историков начала XX в. заметно отличался от консервативного романтизма Н.М. Карамзина, и зачастую научное сообщество видело в фигуре историографа пример устаревшего взгляда на историческую науку[1].

Особенно ярко такая точка зрения нашла свое выражение в известной работе П.Н. Милюкова «Главные течения русской исторической мысли». Он рассматривал Н.М. Карамзина как последнего представителя историографии XVIII в., в значительной степени отказывая его «Истории» в научном значении. П.Н. Милюков подчеркивал зависимость историографа от предшественников (в первую очередь от М.М. Щербатова и А.Л. Шлецера) и язвительно отмечал тот факт, что Н.М. Карамзин редко ссылался на свои источники, при этом забывая, что такое непедантичное отношение к ссылкам — явление типичное не только для начала XIX в., но и для нескольких последующих десятилетий. Только в 1880—1890-х гг. (уже во время П.Н. Милюкова), под влиянием авторитета немецкой исторической науки, обширный справочный аппарат стал нормой.

Несмотря на критическое отношение, автор подспудно признавал большую роль историографа для русской исторической науки, разделяя ее на два периода: до Н.М. Карамзина и после. Но, по мнению П.Н. Милюкова, хотя после смерти Н.М. Карамзина начался новый этап развития русской исторической мысли, он «этого нового периода не создал и не подготовил. Накануне его наступления он в последний раз, с особенной яркостью и рельефностью, подчеркнул те типичные черты старых воззрений»[2].

Все же мнение П.Н. Милюкова, пусть и получившее широкое хождение, не было единственным, а научное сообщество в 1916 году достойно отметило 150-летний юбилей Н.М. Карамзина. Признание его вклада в русскую культуру и историографию мало кем подвергалось сомнению.

Революционные события и крах российской государственности чрезвычайно сильно ударили по сложившейся системе академической науки. Радикальные призывы изменить, фактически перекодировать научно-исторический канон воплотились в творчестве М.Н. Покровского (1868—1932) — лидера историков новой формации. Будучи выпускником историко-филологического факультета Московского университета, где он учился у П.Г. Виноградова и В.О. Ключевского, М.Н. Покровский построил свои историографические исследования на отрицании значимости для нового строя дореволюционной исторической науки. Критика таких историков, как С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, Б.Н. Чичерин и, разумеется, Н.М. Карамзин, чаще всего встречается на страницах сборника его историографических работ «Историческая наука и борьба классов» (1933 г.). В интерпретации М.Н. Покровского, Н.М. Карамзин предстает в качестве верноподданнического выразителя дворянско-монархической концепции русской истории[3]. Все же, Н.М. Карамзин не стал главным объектом разоблачительной критики. По мнению М.Н. Покровского, «теперь никто не читает уже Карамзина»[4], поэтому энергию необходимо направлять на разоблачение в первую очередь таких историков, как В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов и др.

В противовес историкам-марксистам представители дореволюционного академического истеблишмента в новых условиях, наоборот, обратились к наследию Н.М. Карамзина как примеру «честной работы историка», источнику традиций научно-исторического сообщества. В концентрированном виде эти идеи наши выражение в речи С.Ф. Платонова в 1926 г. в память об историографе[5]. В этом проявлялось и противостояние историков «старой школы», и марксистов. Но в конце 1920-х-начале 1930-х гг. последовал разгром остатков дореволюционной академической элиты. Казалось, это должно было утвердить историографический канон, разработанный М.Н. Покровским.

Итак, утверждение негативного взгляда на наследие досоветской исторической мысли стало общим местом для марксистской историографии 1920-х — 1930-х гг. Показательно, что за два десятилетия специальных трудов, посвященных историческим взглядам Н.М. Карамзина, так и не появилось[6]. Но времена стремительно менялись. В советской исторической науке произошел серьезный идеологический и концептуальный поворот. Наследие умершего в 1932 г. М.Н. Покровского вскоре разгромили так же, как он громил труды дореволюционных классиков.

Накануне Великой Отечественной войны можно наблюдать определенный всплеск внимания к наследию Н.М. Карамзина. Причины, как представляется, заключались в следующем. Во-первых, с середины 1930-х гг. в историческую науку, после нескольких лет ссылок, последовавших после так называемого «Академического дела», вернулись многие носители дореволюционной историографической традиции. Для них Н.М. Карамзин был пусть и устаревшим, но все же классиком, которого необходимо знать. Известно, что специальную лекцию, посвященную Н.М. Карамзину, в 1938 г прочел ученик В.О. Ключевского А.И. Яковлев[7], вернувшийся в 1934 г. из ссылки. То, что это создавало определенный фон для реабилитации — несомненно. Во-вторых, государственнические взгляды Н.М. Карамзина частично вписывались в новое направление советской внутренней политики, пропагандировавшей советский патриотизм[8].

Наследие Н.М. Карамзина оказалось востребованным в специализированных источниковедческих исследованиях М.Д. Приселкова[9]. Об «Истории Государства Российского» писалось в ведущем журнале для историков — «Историческом журнале». В небольшой заметке, посвященной выходу в свет первых восьми томов «Истории государства Российского», указывалось, что их автор «стремился доказать… целесообразность самодержавия, крепостничества и угнетения нерусских национальностей». Несмотря на это, признавалось, что «История» сыграла большую роль в развитии исторической науки, а примечания к ней насыщены «богатейшим документальным материалом»[10].

Специальная глава была посвящена Н.М. Карамзину в фундаментальном труде Н.Л. Рубинштейна «Русская историография». В ней с позиций классового подхода, но в спокойном тоне анализировалось творчество историографа. В своих выводах Н.Л. Рубинштейн по сути оказался солидарен с дореволюционными учеными (С.М. Соловьевым и П.Н. Милюковым). Так, он подчеркивал, что труды Н.М. Карамзина подвели итог под развитием исторической мысли XVIII столетия, а не стали новым словом. Подробно сравнивались идеи «Истории Государства Российского» и исторические взгляды М.М. Щербатова. Советский историк акцентировал внимание читателей на том, что Н.М. Карамзин фактически во многом повторяет М.М. Щербатова. Главным достоинством «Истории» Н.Л. Рубинштейн признал то, что она донесла до широких читателей русскую историю[11].

В годы войны вышла первая часть книги историка-юриста Б.И. Сыромятникова «“Регулярное” государство Петра Великого и его идеология». В ней значительное внимание было уделено и роли Н.М. Карамзина в развитии отечественной исторической науки. Историограф, по мнению Б.И. Сыромятникова, является ключевой фигурой в кристаллизации двух основных направлений русской общественной и исторической мысли — западников и славянофилов. Путь Н.М. Карамзина — это путь от космополитизма и преклонения перед западной культурой к консерватизму и национализму. Парадоксальным образом именно его идейное наследие задавало идейную повестку для всего XIX столетия[12].

Итак, к последнему сталинскому десятилетию имя Н.М. Карамзина было фактически возвращено в актуальное научное поле и частично реабилитировано. Тем не менее, труды историографа все еще считались слишком «реакционными» и «монархическими». Поэтому мы не находим его сочинений в издательских планах Академии наук и Комиссии по истории исторической науки[13].

Идеологические кампании «позднего сталинизма», как это ни странно, дали мощный толчок развитию историографических исследований в СССР. Для борьбы с «буржуазной историографией» стали специально готовить исследовательские и преподавательские кадры. Было решено написать многотомный фундаментальный труд по истории исторической науки СССР. Не могли в нем обойти и фигуру Н.М. Карамзина.

Раздел, касающийся Н.М. Карамзина, написал И.К. Додонов. Впрочем, нельзя все особенности текста связывать с его именем, поскольку такие многотомники тщательно обсуждались и редактировались. Из них фактически выхолащивалась всякая авторская и исследовательская индивидуальность, что делало их текст по сути плодом коллективного творчества. Заголовок уже давал однозначную характеристику социально-политической сущности деятельности историографа: «Дворянская реакция и ее отражение в русской историографии (Н.М. Карамзин)». Труды историка классифицировались как проявление реакции в условиях кризиса крепостничества[14]. Сам он объявлялся адептом крепостничества. Научная значимость «Истории государства Российского» принижалась. Касаясь примечаний Н.М. Карамзина к «Истории», И.К. Додонов признал, что в них имеется несколько тонких источниковедческих наблюдений, но они оказались доступны только узкому кругу специалистов.

Несмотря на ряд уничижительных характеристик, делался следующий вывод: «Историографическое значение “Истории государства Российского” в условиях своего времени было очень большим. Карамзин — крупная веха в развитии дворянской историографии конца XVIII — начала XIX в.»[15]. Таким образом, фактически повторялась оценка, данная Н.М. Карамзину еще в конце XIX в. Только теперь она насыщалась классовыми характеристикам и терминологией.

К 1955 г. была подготовлена и первая в истории советской историографии диссертация, посвященная наследию Н.М. Карамзина. Ее автором стал И.А. Кудрявцев (1903—1972). Она получила название «“История государства Российского” Н.М. Карамзина в русской историографии». Такой ракурс был явно неслучаен. Изучение взглядов «реакционного крепостника» не приветствовалось, а анализ критики его трудов и полемики вокруг них вполне позволял избежать обвинений в идеализации историографа. Фактически это привело к тому, что изучение оценки роли Н.М. Карамзина в историографии предшествовало полноценному исследованию собственно его исторической концепции.

Этот пробел был очевиден. Один из официальных оппонентов В.Е. Иллерицкий прямо рекомендовал вставить в диссертацию полноценную главу с описанием исторических взглядов Н.М. Карамзина[16].

В начале своего исследования И.А. Кудрявцев давал следующую характеристику Н.М. Карамзину, как историку: «Карамзин, несомненно, был самым выдающимся представителем дворянского направления в русской исторической науке. Он создал законченную концепцию русской истории, полностью соответствовавшую интересам крепостников-помещиков и самодержавия в новых условиях — разложения и начавшегося кризиса феодально-крепостнической системы в России. Стремясь к наибольшему фактическому обоснованию своей исторической концепции, он не только полностью использовал все достижения и так называемой “критической школы”, но и лично сам произвел большие разыскания новых исторических документов, благодаря чему ему удалось серьезно пополнить и даже в значительной степени обновить документальную базу русской истории. Обладая крупным литературным талантом, он написал “Историю…” вполне доступную для самых широких слоев читателей и обладающую к тому же большой силой эмоционального воздействия»[17]. В то же время его взгляд на русскую историю получил официальное признание, став фундаментом государственно-монархической концепции истории России.

Признавая огромное значение Н.М. Карамзина для развития русской историографии, И.А. Кудрявцев проанализировал историю полемики вокруг его труда. В традициях советской исторической науки классовый анализ был выдвинут на первое место. «Реакционная» концепция Н.М. Карамзина противопоставлялась более «прогрессивным» идеям демократически настроенных мыслителей-материалистов. Рассматривая значение наследия Карамзина для современной ему советской исторической науки, Кудрявцев утверждал, что «для советских историков оно представляет лишь историографический интерес»[18]. Диссертация И.А. Кудрявцева так и осталась неопубликованной.

Итак, несмотря на уничижительные классовые характеристики творчества Н.М. Карамзина, необходимо подчеркнуть, что фактически в 1940-е — первой половине 1950-х гг. происходит своеобразная реабилитация фигуры историографа. Его труды вновь оказываются в поле зрения исследователей, постепенно их признают заслуживающими внимания. Без характеристики взглядов историографа не обходится ни одно пособие по историографии. Впрочем, именно тогда стало обязательной традицией акцентировать то, что исторические взгляды Карамзина не представляют методологической ценности для советских историков, а вызывают лишь историографический интерес. Это клише оказалось чрезвычайно устойчивым и дожило почти до развала Советского Союза. Только в конце 1980-х гг. началась академическая публикация «Истории государства Российского». В 1989 г. в предисловии к первому

тому А.Н. Сахаров вынужден был констатировать, что в оценке фигуры Н.М. Карамзина «отказ от старых стереотипов идет медленно, дается он нелегко, осторожно пересматривается позиция за позицией»[19]. Таковы были парадоксы, а скорее закономерности, той «реабилитации» историографа, которая пришлась на 1940-е — первую половину 1950-х гг.

Примечания

[1] См.: *Тихонов В.В.* Н.М. Карамзин как историограф в оценке представителей московской исторической школы конца XIX — начала XX в. // Карамзинский сборник. Вып. 1. Остафьево, 2011. С. 121—124. В среде представителей московской исторической школы отношение к историографу было заметно более скептичным, чем среди петербургских историков.

[2] *Милюков П.Н.* Главные течения русской исторической мысли // *Милюков П.Н.* Очерки истории исторической науки. М., 2002. С. 226.

[3] *Покровский М.Н.* Историческая наука и борьба классов: Историографические очерки, критические статьи и заметки. Т. 1. М., 2012. С. 22—24, 27 и мн. др.

[4] Там же. С. 121.

[5] *Шмидт С.О.* Доклад С.Ф. Платонова о Н.М. Карамзине 1926 г. и противоборство историков // Археографический ежегодник за 1992 год. М., 1994.

[6] См.: Николай Михайлович Карамзин: Указатель трудов, литературы о жизни и творчестве. 1883—1993 / Отв. ред. А.А. Либерман. М., 1999. С. 101—120.

[7] *Тихонов В.В.* Московские историки первой половины XX века: научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева и С.В. Бахрушина. М., 2012. С. 69.

[8] *Дубровский А.М.* Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930—1950-е гг.). Брянск, 2005. С. 19—28. Автор выделяет три предпосылки идеологического поворота: 1) приход большевиков к власти и вынужденный переход к прагматической политике; 2) утверждение режима личной власти Сталина; 3) усиление международной напряженности.

[9] *Приселков М.Д.* История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940.

[10] Выход в свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина // Исторический журнал. 1941. № 1. С. 158.

[11] *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М.: Л., 1941. С. 166—188.

[12] *Сыромятников Б.И.* «Регулярное» государство Петра Великого и его идеология. Ч. 1. М.; Л., 1943. С. 14.

[13] *Тихонов В.В.* О нереализованном проекте по изданию историографической серии «Научное наследие». 1946—1949 гг. // Вспомогательные и специальные науки истории в XX — начале XXI в.: призвание, творчество, общественное служение историка. Материалы XXVI Международной научной конференции. Москва, РГГУ, 14—15 апреля 2014 г. М.: РГГУ, 2014. С. 376—379.

[14] Очерки истории исторической науки в СССР. Т. I. М., 1955. С. 277.

[15] Там же. С. 286.

[16] Архив РАН Ф. 1690. (И.А. Кудрявцев). Оп. 1. Ед. хр. 91. Л. 6.

[17] *Кудрявцев И.А.* «"История государства Российского" Н.М. Карамзина в русской историографии». Дисс. … канд. Ист. Наук. Рукопись. М., 1955. С. 1.

[18] Там же. С. 20.

[19] *Сахаров А.Н.* Бессмертный историограф: Николай Михайлович Карамзин // *Сахаров А.Н.* Россия: Народ. Правители. Цивилизация. М., 2004. С. 431.

М.Ю. Киселев

Н.М. Карамзин и его наследие в фондах Архива Российской академии наук

Имя Николая Михайловича Карамзина занимает в российской истории особое место. Удивительна и судьба его главного творения — «Истории государства Российского». При жизни автора ею зачитывалась едва ли не вся просвещенная Россия, читали даже вслух в салонах, обменивались впечатлениями по поводу драматических событий, описанных мастерской рукой историка, наиболее чувствительные проливали слезы. Имя Николая Михайловича пользовалось широчайшей популярностью не только в прошлые века, но и ныне оно не остается в забвении. В чем притягательная сила ставшего бессмертным сочинения Карамзина? Почему только на протяжении второй четверти XIX столетия «История государства Российского» переиздавалась шесть раз? Исследователя и читателя влечет к Н.М. Карамзину магия слова, созданные им художественные портреты исторических личностей, сочетание писательского и исследовательского талантов. Дарованиями, свойственными Николаю Михайловичу, не обладали, по нашему мнению, ни историки XVIII века, ни историки XIX столетия вплоть до Н.И. Костомарова и В.О. Ключевского.

В Архиве Российской академии наук (РАН), одном из крупнейших и старейших архивохранилищ России, сохранились документы, в которых содержится мнение российских ученых как о самой личности Н.М. Карамзина, так и о его произведениях и исторических событиях, на фоне которых протекала его жизнь и деятельность.

В личном фонде академика АН СССР Н.М Дружинина. (1886—1986) отложились схема биографии Н.М. Карамзина, подготовительные материалы и план его лекции «Карамзин Н.М. как историк» в Московском государственном университете, прочитанной 9 марта 1937 г.[1] Подготовительные материалы выполнены на карточках и состоят из нескольких частей, хранящихся в отдельных конвертах. Первый конверт озаглавлен «Записки и статьи Н.М. Карамзина (к докладу в МГУ)», карточки в нем систематизированы по разделам: двойственность Карамзина, его социальное окружение, отношение к французской революции, история и современная политика, западно-европейское влияние, монархия или республика, дворянство, роль героев, оценка крепостного

права, необходимость повиновения, философия русской истории, отношение к либералистам и сервилистам, первые исторические опыты, возникновение истории Государства Российского, философские предпосылки, значение истории, история и ее методы, идеал правления, общий характер истории, окончательная оценка, концепция, построение, критицизм, роль личности, источники, пользование источниками, Карамзин и историки его времени, Карамзин и Щербатов, форма изложения, примечания, критики «Истории Государства Российского». На каждой из 229 карточек сделаны выписки из произведений М.П. Погодина, П.Н. Милюкова, С.М. Соловьева, Н.М. Карамзина, К.Н. Бестужева-Рюмина. Аналогичные карточки систематизированы в конвертах, озаглавленных «Историки о Карамзине» (55 карточек), «Карамзин Н.М.» (37 карточек), «История Государства Российского Н.М. Карамзина» (12 карточек).

Наибольший интерес представляет план лекции Н.М. Дружинина, посвященной Н.М. Карамзину, в котором советский ученый дает свою оценку историку, его произведениям и эпохе. По мнению Н.М. Дружинина, в советской историографии отсутствовал интерес к Н.М. Карамзину (не было книг, статей, высказываний). Он упоминает лекции М.Н. Покровского[2], в которых Н.М. Карамзин представлен как исполнитель заказа Александра I и А.А. Аракчеева, а «История Государства Российского» — непрерывное собирание земель (панегирик самодержавию, в интересах торгового капитала). Отмечалось обычное представление о Н.М. Карамзине, как носителе социальной и политической реакции, воспитанном в патриархальной помещичьей усадьбе, выражавшем интересы дворянства, жестком крепостнике. Ученый считал, что в это представление необходимо внести поправки: литературное новаторство, либеральные споры в салоне Г.Р. Державина на волосок от ареста, осуждение аракчеевщины и военных поселений. Он отмечал игнорирование двух важных моментов в мировоззрении Н.М. Карамзина: эволюции политических взглядов и внутренней противоречивости, которые историк сам признавал: «по чувствам я останусь республиканцем, я телом либералист».

Советский ученый отмечал необходимость учитывать влияние перемен в Европе на события в России: атмосфера просветительской литературы, апофеоз освобожденного разума, критика феодального прошлого; оглушающее влияние на Н.М. Карамзина и его единомышленников Французской революции; три этапа в его отношении к революции: надежды и мечты, ужасы якобинской диктатуры и отчаяние, успокоение и консервативные выводы. Н.М. Дружинин останавливался на интересе Н.М. Карамзина к русской истории, изучении летописей, замысле написать историю в назидание и руководство правителям и

народу. Останавливаясь на условиях, в которых Н.М. Карамзин начинал свою работу над «Историей Государства Российского», ученый отмечал готовую историческую концепцию, наличие немецких и русских исторических трудов, использование художественных средств, привлечение широкого круга источников. По его мнению, центральная тема исследования — история государственной власти и ее деятельности, а князья и цари — как воплощение этой власти. В дальнейшем Н.М. Дружинин останавливался на рассмотрении вопросов роли личности правителя в концепции произведения, приемах внешнего изложения материала и успехе «Истории Государства Российского».

В личном фонде члена-корреспондента АН СССР А.И. Яковлева (1878—1951) сохранилась лекция «Карамзин Н.М.», прочитанная 15 октября 1938 г.[3]

Советский ученый отмечал, что Н.М. Карамзин при написании «Истории Государства Российского» имел перед собой целый книжный шкаф готовых трудов по российской истории, на которые он мог опираться и которые он мог дополнять и переделывать. Он считал, что научное мировоззрение предполагает исследование фактов, для изучения которых необходимо обращение к источникам, восстановление реальных событий, а затем уже изображение явлений или группы явлений. По его мнению, Н.М. Карамзин, наоборот, определял перспективу, пытался ее понять и затем подкреплял материалами, которые можно было найти в источниках. Он считал, что подчинение этой художественной задаче делает историографию не столько научным исследованием, сколько художественным произведением. В то же время ученый отметил использование Н.М. Карамзиным Лаврентьевской и Ипатьевской летописей, а также не дошедших до нашего времени княжеских договоров, устава князя Владимира и договоров Новгорода с московскими и литовскими князьями, как бессмертную заслугу. Он оценил наличие примечаний к каждому тому произведения как научную заслугу.

А.И. Яковлев отметил взгляды Н.М. Карамзина на ход русской истории: Россия из небытия, благодаря самодержавию, превратилась сразу в могучее государство, затем, вследствие ослабления самодержавия, она впала в несчастье; вследствие восстановления самодержавия, она превратилась снова в могучее государство и таким государством она должна пребывать до скончания века, поскольку она будет беречь самодержавие. При оценке произведения Н.М. Карамзина ученый считал, что для историков, желавших учиться обращению с первоисточниками, его примечания и ряд критических рассуждений в этих примечаниях были превосходной школой, готовящей к настоящей, глубокой и серьезной научной работе. По его мнению, с точки зрения общественной, «История Государства Российского» — не только более или менее удовлет-

ворительное воспроизведение явлений, но и политический памфлет, чрезвычайно энергично в известном направлении написанный и очень искусно составленный.

В личном фонде кандидата исторических наук И.А. Кудрявцева (1903—1972) отложилась кандидатская диссертация «История Государства Российского Н.М. Карамзина в русской историографии»[4], защищенная в Московском государственном историко-архивном институте в 1955 г. Задачей работы являлось рассмотрение отношений к Н.М. Карамзину, как историку, со стороны представителей различных исторических школ и направлений, существовавших в России на протяжении XIX и начала XX веков. Ученым после проведения научных исследований были сделаны следующие выводы:

появление произведения Н.М. Карамзина было большим событием в идейно-политической жизни русского общества, по которому на протяжении довольно длительного времени русские люди поучали первое знакомство с историей своей родины;

произведение Н.М. Карамзина было крупнейшим явлением в русской исторической науки, автор не только подвел итоги достижениям историков XVIII века, но и продвинул историческую науку вперед, обогатив и значительно обновив ее источниковедческую базу;

Н.М. Карамзин был одним из самых выдающихся представителей дворянской историографии, он развил монархическую концепцию русской истории и придал ей реакционно-охранительный характер;

концепция русской истории Н.М. Карамзина была положена в основу всей официальной историографии Российской империи;

произведение Н.М. Карамзина вызвало широкую полемику, на отношении к его исторической концепции проявлялись не только научные, но и политические позиции участников обсуждения;

разделение критиков Н.М. Карамзина на несколько групп;

для советских историков Н.М. Карамзин представлял лишь историографический интерес, но они очень мало им занимались; советские историки обстоятельно раскрыли классовую природу исторических взглядов Н.М. Карамзина и реакционную роль, которую они сыграли в общественно-политической борьбе; слабо разработан вопрос о роли Н.М. Карамзина в развитии исторической науки и о нем как источниковеде.

Сохранились отзывы ряда советских историков на диссертационное исследование И.А. Кудрявцева. В отзыве академика М.Н. Тихомирова[5] отмечалось, что произведение Н.М. Карамзина, хотя решительно устарело уже к середине XIX века, продолжало еще являться основным пособием для составителей различного рода описаний городов и монастырей даже в начале XX века. При оценке исследования И.А. Кудрявцева он отметил, что в поле внимания автора попадали давно забытые, но крайне интересные с историографической точки зрения работы, о которых ничего не сообщают наши книги и статьи по историографии XIX века.

В отзыве кандидата исторических наук В.Е. Иллерицкого[6] отмечалось, что содержание и выводы диссертационного исследования И.А. Кудрявцева устанавливают несостоятельность схемы развития русской исторической науки, предложенной Н.Л. Рубинштейном в его книге «Русская историография», согласно которой будто бы уже в 1820-х гг. дворянская историография утратила значение и уступила свое место пришедшей на смену буржуазной историографии. По его мнению, недостаточно полно освещены исторические взгляды Н.М. Карамзина, характеристики источниковедческой основы произведения и взгляды революционеров-демократов о Н.М. Карамзине.

В отзыве доктора исторических наук А.С. Нифонтова[7] на диссертационное исследование И.А. Кудрявцева содержится мнение о необходимости более точной периодизации развития полемики вокруг работы Н.М. Карамзина. По мнению ученого, рубежной датой между первым и вторым этапом полемики можно считать 1829 г., когда идеологическая борьба приобрела особу остроту в связи с предложенной Н.А. Полевым концепции исторического развития России принципиально отличной от концепции Н.М. Карамзина. Он предлагал несколько расширить общие характеристики внутреннего положения России на отдельных этапах хода полемики, провести более четкое различие между общим периодом разложения феодально-крепостнического строя и периодом его очевидного кризиса. Не согласен ученый с утверждением автора о том, что полемика в 1850-е гг. якобы утратила свою актуальность благодаря успехам философии и истории, чем объяснялось недостаточное участие в полемике Н.Г. Чернышевского. Он утверждал, что в период отмены крепостного права в России основное внимание революционеров-демократов привлекала борьба с буржуазным либерализмом.

Определенный интерес представляют замечания доктора исторических наук Н.Л. Рубинштейна на статью И.А. Кудрявцева «“Вестник Европы” М.Т. Каченовского об “Истории Государства Российского” Н.М. Карамзина»[8], подготовленные 12 ноября 1963 г. Ученый не соглашался с утверждениями автора, что в статьях М.Т. Каченовского никакой критики и принципиального спора о произведении Н.М. Карамзина не было. Он утверждал, что Каченовский в своих статьях ставил вопрос с критикой центрального положения: «история государей», а не «государства». И все это несмотря на необходимое смягчение общего тона, которое диктовалось общим настроением эпохи, занятым

Н.М. Карамзиным положением, которое исключало возможность более резкой критики.

Со времени создания «Истории Государства Российского» прошло около двух столетий. Нынешние историки знают о древней России куда больше, чем Н.М. Карамзин, — сколько всего найдено: документы, археологические находки, берестяные грамоты, наконец. Но книга Н.М. Карамзина — история-летопись — единственная в своем роде и больше такой не будет.

Представленная информация позволит расширить источниковедческую базу по истории России, личности Н.М. Карамзина и его эпохи, может быть использована в исследовательских и образовательных целях.

Примечания

[1] Архив РАН. Ф. 1604. Оп. 1. Д. 246. 340 Л.
[2] Там же. Ф. 1759. Оп. 1. Д. 82, 83. Лекции М.Н. Покровского по русской истории, прочитанные в Коммунистическом у ниверситете им. Я.М. Свердлова в 1923—1926 гг.
[3] Там же. Ф. 665. Оп. 1. Д. 151. Л. 46—75.
[4] Там же. Ф. 1690. Оп. 1. Д. 13. 378.
[5] Там же. Д. 90.
[6] Там же. Д. 91.
[7] Там же. Д. 92.
[8] Там же. Д. 94.

Литературно-публицистическое творчество Н.М. Карамзина и русская культура

Е.В. Пчелов

Можно ли считать создателем буквы «Ё» Н.М. Карамзина?

В 1873 г. в Петербурге увидело свет «филологическое разыскание» выдающегося учёного-языковеда Я.К. Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне». Один из разделов этой книги, ставшей основой для создания русской академической орфографии, был посвящён истории русского правописания, и в т.ч. вопросу о появлении и использовании на письме и в печати новых букв русского алфавита. Конечно, автор не мог пройти и мимо второй половины XVIII в., в самом конце которого развернулась активная издательская и литературная деятельность Н.М. Карамзина, ставшего, как известно, настоящим реформатором русского литературного стиля и языка.

Среди карамзинских нововведений Я.К. Грот отметил следующее: «Не любя надстрочных знаков, не отмечая напр. ударения, он однако ж ввёл двоеточие над буквой е в тех случаях, когда прежде писали іо *(это была графема из двух букв под ^. — Е.П.)*. В одной из книжек *Аонид* в первый раз написано так: в конце стиха, в слове *слёзы* и в выноске замечено: “Буква е с двумя точками заменяет іо”»[1] (примечание Карамзина в реальности выглядит следующим образом: «Буква *е* съ двумя точками на верьху заменяетъ їô»[2]). Поскольку это была вторая книга альманаха «Аониды», изданная в 1797 г., в науке прочно утвердилось мнение, что букву *ё* придумал Карамзин и впервые напечатал в 1797 г. Однако при более внимательном рассмотрении изданий конца XVIII в. в этом утверждении появилась возможность усомниться. Но прежде, чем обратиться к этому вопросу, необходимо кратко остановиться на истории обозначения ёкающего произношения в русской письменности в до-карамзинский период.

Как известно, первоначально в древнерусском языке не существовало ёкающего произношения, т.е. перехода звука *е* в *о* после мягкого согласного под ударением. Поэтому слова с привычной нам буквой *ё* произносились твёрдо — сестры, жены и т.д., так же, как они произносятся и в современном церковнославянском языке. Однако довольно рано (по крайней мере, с конца XI в.) такое произношение возникает в разговорной речи, неизбежно проникая и в письменный, книжный

язык. Оно фиксируется нерегулярно в разных памятниках книжности и письма с помощью использования в соответствующих случаях буквы *о* (или *ъ* вместо *ь* в сочетании с плавным согласным). Переход *е* в *о* прежде всего возник после шипящих и звука *j*, но позднее установился в положении после любого мягкого согласного перед твёрдым или в конце слова. К XVII в. этот переход в разговорной речи полностью завершился, что зафиксировали словари и грамматики, составлявшиеся побывавшими в России иностранцами, при этом несоответствие письменной речи и устной в данном случае также отмечалось этими авторами («Русская грамматика» Г.В. Лудольфа)[3].

Для передачи ёкающего произношения на письме в XVIII в. было предложено несколько вариантов. Первоначально это были диграфы, т.е. сочетания двух знаков письма, объединённые или необъединённые особым образом. Логика подсказывала, что таких вариантов могло быть три — *ьо, йо, іо*. И у каждого из них были свои сторонники и защитники. Диграф *іо* при этом имел диакритический значок, объединяющий обе буквы — таким значком стала камора, изображавшаяся в виде «крышечки» ^ и таким образом показывающая как бы «слитность» произношения звуков. Здесь важно также отметить, что такой диграф мог применяться и в тех словах, где *ё* действительно представляло собой сочетание двух звуков, и в тех, где ёкающее произношение установилось после мягких согласных (т.е. без начальной йотации). Вышеупомянутый диграф, как показали исследования Б.А. Успенского[4], впервые появился в письме В.Н. Татищева В.К. Тредиаковскому в 1736 г., когда Татищев предложил использовать особую букву — *іо*, в таких словах, как *іожъ, міодъ, кліостъ*. Далее В.Е. Адодуров, которого можно считать автором первой русской грамматики на русском же языке, в пространном варианте своего сочинения (1738—1739 гг.) посвятил новой букве специальный параграф — 97. Он обозначал её как *іо* под крышечкой и именовал «двоегласной литерой», поставив в конец алфавита в своей «Заметке о транскрипции» конца 1730-х гг. При этом буква, по его мнению, предназначалась прежде всего для написания иностранных слов, «принятых в русский язык». В.К. Тредиаковский в «Разговоре между Чужестранным человеком и Российским об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи» (1748 г.) попытался «узаконить» *іо* под «каморой» (кроме того, он предлагал и другую форму *іо* — под горизонтальной чертой). На основании этих данных, Б.А. Успенский выдвинул предположение, что диграф появился между 1735—1736 и 1738 гг. и возможно даже был введён академической реформой 1735 г. (когда была введена также и буква *й*). По словам исследователя, введение в русский алфавит новых букв (*ґ*, «га», обозначавшая взрывной звук *г*) и *іо* под «каморой») имело «революционное» для русской письменности значение, поскольку легитимировало явления русской некнижной фонетики.

Между тем, в середине — второй половине XVIII в. высказывались и скептические мнения об этом нововведении. М.В. Ломоносов в подготовительных материалах к «Российской грамматике» (издание датировано 1755 г., хотя в действительности увидело свет в 1757 г.) написал: «*іô* в простом штиле писать должно», а затем вместо «должно» поставил «можно». В другом месте, размышляя о возможности нового написания, Ломоносов заметил: «Коль странно будет писать *несіошъ*». И, наконец, в самой грамматике в § 88 заключил: «Букву *іô* почитать должно за двуписьменное начертание, из *і* и *о*: и для того в азбуках на ряду ставить не должно…»[5]. А.П. Сумароков решительно возражал против диграфа, считая, что его могут заменить сочетания *ьо* или *йо*: «…Писать надобно так: *Альона*. А для чего писать *іôжъ*, а не *йожъ*, етова я не постигаю, *Маіôръ* не *Майоръ*». Показателен такой факт: в 1769 г. М.Д. Чулковым издавался еженедельный журнал «И то и сіô» — под таким названием вышли первые пять выпусков. Однако, начиная с шестого, включавшего произведения Сумарокова, название журнала изменилось на «И то и сьо»[6].

18 ноября 1783 г. на своём заседании Российская Академия по инициативе президента Академии кн. Е.Р. Дашковой приняла решение ввести в русский алфавит две новые буквы, в т.ч. «іô или іôту для выражения слов и выговоров с сего согласия начинающихся; как матіôрый, іôлка, іôлъ и пр: ибо выговоры сии уже введены обычаем; которому, когда он не противуречит здравому разсудку, всячески последовать надлежит… сие Ея Сиятельства предложение и принято Академиею; совершенное же оных утверждение предоставлено будущему собранию в ожидании о буквах мнения от его высокопреосвященства (*митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила*)» (другая буква — уже упоминавшаяся «га»)[7]. В день своей годовщины, 25 ноября 1784 г., в протоколах отмечено, что Академия «сочла за необходимость принять в Алфавит наш две новыя буквы», из которых вторая «выражала бы іôту»[8]. Таким образом, Российская Академия, составляя толковый словарь русского языка, ориентировалась на явления живой речи, старалась фиксировать то, что происходит в разговорном языке, чему и должно было способствовать официальное введение новых букв. Важно подчеркнуть, что доминировала позиция об *увеличении* числа букв (т.е. более точной передаче фонетики), а не об уменьшении состава алфавита и, следовательно, *упрощении* правописания (что возобладало при обсуждении орфографических реформ в дальнейшем). Существенно, что буква-диграф предназначалась теперь не столько для слов иностранных, сколько для слов исконно русских. Это заложило основу для создания буквы *ё*, воспринимавшейся уже в качестве специфически русской и неупотребительной в заимствованных словах.

Буква *iô* присутствует в «Словаре Академии Российской» в таких словах, как: раiôкъ, семiôрка, синiô, полотiôръ, мотыliôкъ, пень пniôмъ, нашliôпать, iôжъ и др. Встречается она в изданиях и произведениях конца XVIII в., например, в книге И.Ф. Богдановича «Рускія пословицы» (Ч. 1. СПб., 1785), в названии комедии самой кн. Е.Р. Дашковой «Господинъ Тоисiôковъ» (от «то и сё») (написана в 1786 г.), в фамилии героя комической оперы Я.Б. Княжнина «Сбитеньщик» (1783 г.) — Волдыріôвъ (все эти авторы были членами Российской Академии). Тем не менее, ёкающее произношение оставалось признаком «низкого стиля», просторечия (о чём, в частности, говорится и в «Российской грамматике» Ломоносова), поэтому буква *iô* часто употреблялась именно в просторечных словах[9]. В целом к концу XVIII в. употребление диграфа на письме и в печати стало всё более и более заметным, что и обусловило появление нового, более простого варианта буквы для обозначения *ё*.

Внимательное рассмотрение изданий карамзинского круга позволило обнаружить наличие буквы *ё* в книгах, выход в свет которых на титульном листе датирован временем ранее 1797 г. Уже в первом выпуске «Аонид» 1796 года буква *ё* напечатана в басне самого Карамзина «Соловей, галки и вороны» в слове «зарёю» («Прошедшею весною, / Вечернею зарёю / В лесочке сем певал любезный соловей…»)[10], а также и в последующих произведениях того же выпуска (в т.ч. в стихотворении В.В. Капниста «Мотылекъ»). Более того, во втором издании поэтического сборника И.И. Дмитриева «И мои безделки», которое датировано 1795 г. (так же, как и первое), буква *ё* напечатана впервые в сказке «Причудница» (из Вольтера) в слове «всё» («Всё эдак, так тоска возьмет и среди рая! / Всё чудо из чудес, куда ни поглядишь…»)[11]. В первом издании этой же книги буква *ё* ещё отсутствует. Если вслед за составителями «Сводного каталога русской книги гражданской печати XVIII века» полагать, что оба издания вышли в одном и том же, 1795 г., то допустимо предположить, что введение буквы *ё* в печать произошло именно во втором издании (в котором также были исправлены опечатки предыдущего), т.е. после июля 1795 г. (время выхода в свет первого издания) — скорее всего, осенью того же года (в Московской университетской типографии во время её аренды Х. Ридигером и Х. Клаудием)[12]. Следовательно, инициатором введения буквы *ё* в печатный текст мог быть не только (или не столько) Карамзин.

Первое появление буквы *ё* в стихотворении И.И. Дмитриева не даёт, впрочем, и веских оснований считать создателем буквы именно его. Ведь издание «И моих безделок» печаталось под наблюдением того же Карамзина. Сравнительно недавно С.В. Власов подверг сомнению датировку первого появления буквы *ё* в печати 1795 годом. По его мнению, и второе издание «И моих безделок» Дмитриева, и второе издание первой книжки «Аонид» на самом деле были выпущены в свет уже после 1797 г., т.е.

после издания второй книжки «Аонид», где содержится примечание, разъясняющее появление новой буквы. Иными словами, наличие на титульных листах второго издания «И моих безделок» и второго издания первых «Аонид» 1795 и 1796 годов в качестве годов издания, есть следствие простой перепечатки этих книг (своего рода, исправленные дополнительные тиражи), в результате чего на титульных листах сохранялись более ранние даты. В реальности же, как полагает исследователь, эти перепечатки были осуществлены уже после 1797 г. и, таким образом, 1797 год остаётся годом первого появления буквы *ё* в печати, а Карамзин остаётся наиболее вероятным создателем этой буквы[13]. В значительной степени кажется правдоподобным предположение С.В. Власова, ведь о втором издании «И моих безделок» нет сведений ни в переписке Карамзина с Дмитриевым, ни в других источниках. Тем не менее, это предположение всё же лишено однозначных доказательств и в значительной степени носит умозрительный характер. Главный аргумент автора заключается в том, что первое издание первой книжки «Аонид» 1796 г. буквы *ё* не имеет, в то время как во втором, помеченным тем же 1796 годом, буква *ё* уже появляется. В то же время по всем своим параметрам (шрифты, набор, оформление) оба издания «И моих безделок» очень близки, что в какой-то степени ставит под сомнение напечатание второго издания спустя два с лишним года после первого (вторая книжка «Аонид» напечатана к концу июля 1797 г.). Как бы то ни было, полной ясности во времени появления второго издания «И моих безделок» нет. Мне представляется всё же возможной перепечатка этого сборника И.И. Дмитриева в том же, 1795 году. Однако главный вопрос остаётся — кто же являлся автором буквы *ё* — Карамзин, Дмитриев или какое-либо другое лицо?

Если считать, вслед за С.В. Власовым, что второе издание «И моих безделок» вышло после издания второй книжки «Аонид», то кандидатура Карамзина, сделавшего соответствующее примечание к слову «слёзы», кажется наиболее вероятной. Если же полагать, что буква *ё* появилась в переиздании «И моих безделок», вышедшем в том же 1795 году, что и первое их издание, то этот вопрос остаётся открытым. Первое издание «И моих безделок» готовилось в апреле — июле 1795 г. В это время И.И. Дмитриев находился в Петербурге, а Карамзин в конце весны уехал в село Знаменское, где пробыл до декабря 1795 г. «И мои безделки» печатались в Москве, а листы их вёрстки присылались и Карамзину, и Дмитриеву. При этом корректуру книги осуществлял литератор В.С. Подшивалов (1765—1813), находившийся и с Карамзиным, и с Дмитриевым в переписке. Он же осуществлял и финансовые расчёты с владельцами Университетской типографии.

В.С. Подшивалов сотрудничал с Карамзиным и Дмитриевым в эти годы очень активно. Примечательно, что одной из областей его интереса была

орфография — В.В. Измайлов отмечал, что после Подшивалова осталось в рукописи его сочинение «Рассуждение о русских буквах». В 1816 г. в пятом выпуске «Трудов Общества любителей российской словесности» была посмертно опубликована работа Подшивалова «Чтение и письмо», из которой следует, что автор был сторонником сокращения числа букв русского алфавита и, следовательно, его упрощения (одна из его идей — замена ъ на апостроф — независимо от её происхождения оказалась очень актуальной в XX в.). Среди предлагавшихся Подшиваловым нововведений заметно его внимание к разным формам буквы *е* для обозначения различных фонетических особенностей: он, в частности, предлагал широко использовать диакритику[14]. Возможно, эта идея и оказала влияние на создание буквы *ё*, также представляющей собой по сути диакритическую форму *е*. Между тем, сама по себе внешняя форма буквы *ё* не была оригинальной с точки зрения европейской орфографии — такая форма известна во французском языке, где она имеет, правда, совершенно иное фонетическое значение. Возможно, общая ориентированность русского сентиментализма, Карамзина и Дмитриева на французские образцы и привела к мысли использовать в русской письменности французскую графему, придав ей новое содержание. Во всяком случае, однозначно считать создателем буквы *ё* именно Н.М. Карамзина пока кажется преждевременным.

Примечания

1 *Грот Я.К.* Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. СПб., 1873. С. 42.
2 Аониды. Кн. 2. М., 1797. С. 176.
3 *Пчелов Е.В., Чумаков В.Т.* Два века русской буквы Ё: История и словарь. М., 2000. С. 166.
4 *Успенский Б.А.* Первая русская грамматика на родном языке: Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975. С. 39—40, 85, 162, 174.
5 Там же. С. 208—212.
6 Там же. С. 209—210.
7 Архив РАН. Ф. 8. Российская Академия. Оп. 1. Записки заседаний Академии. Д. 1. Л. 21, 22 об, 23; см. также: *Пчелов Е.В.* Российская Академия и вопрос о введении в русский алфавит новых букв // Кириллица. От возникновения до наших дней / Российский Институт культурологии. СПб., 2011. С. 204—217.
8 Архив РАН. Ф. 8. Оп. 1. Д. 1. Л. 54 об.
9 *Пчелов Е.В., Чумаков В.Т.* Указ. соч. С. 25.
10 Аониды. Кн. 1. М., 1796. С. 47.
11 *Дмитриев И.И.* И мои безделки. М., 1795. С. 76.
12 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Т. 1. М., 1962. С. 300—301.
13 *Власов С.В.* К истокам буквы Ё // Русистика: прошлое и настоящее национального языка. Сб. ст., посв. 70-летию проф. Б.И. Осипова. Омск, 2009. С. 32—46.
14 *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 37.

Д.Д. Лотарева

Языковая реформа Н.М. Карамзина и формирование понятий для характеристики персональной идентичности человека в России в XVIII веке

В ходе своей языковой реформы Н.М. Карамзин закрепил отказ от механистического подхода к человеку. Такой подход был характерен для просветительской философии, а также для масонства, широко распространенных в России в XVIII в. Однако масонский подход к человеку предполагал большое внимание к человеческой натуре и ее проявлениям[1].

В течение всего XVIII столетия в образованных, прежде всего дворянских, кругах России происходило активное усвоение западноевропейских философских идей, связанных, прежде всего, с Просвещением, смысл которого (при всех специфических отличиях его развития в разных странах) заключался в провозглашении идеи самоопределяющейся личности.

До петровских преобразований в России понятие человеческой индивидуальности традиционно находилось на периферии общественного сознания, что отражено в корпусе лексики русского языка. Так, в одном из самых ранних словарей петровского времени имеется слово «Личный» (personalis), однако слово «Личность» в нем отсутствует[2]. Во многом это связано с господством в сфере отвлеченных понятий церковнославянского языка, закреплявшего восприятие человека как «тварной» сущности, объекта, но не субъекта. Показательно, что славянизм «тварь» в смысле «создание» использовался в языке и в середине XVIII в. Так, в рассуждениях некоего Автора о Петиметре говорится, что любая девушка должна посещать его школу, «есть ли хочет быть совершенною тварию». Или: «...Один из них[3], показывав мне в ... трубу Землю, сказал: Смотри, малинкая тварь, вот та звездочка, на которой ты родился» (высказывания взяты в одном из журналов середины XVIII в.).

Характерно, что в первой половине XVIII столетия просветительская философия способствовала сохранению такого восприятия, хотя и расширяла его рамки. Как известно, человек рассматривался просветителями как природное существо, природные требования которого должны были быть признаны совершенно справедливыми и законными при ус-

ловии, что они будут соотнесены с такими же справедливыми и законными требованиями других людей. В России же представления о самоценности индивидуума, естественные и органичные для европейской культуры, отодвигались на второй план. Ценность личности в социальной практике России этого столетия измерялась степенью ее включенности в структуру сословно-монархической государственности. Парадигма «Сына Отечества» превалировала над парадигмой «Человек чувствительный». Человек рассматривался как тело, вмещающее дух, а дух рассматривался фактически как разум. Так, общим местом в беллетристике стало указание на философа как утешителя: «Не **тела** я болезнь стихами исцеляю, / От зол унывший внутрь / **Дух** в бодрость восставляю»[4]. Чувства приравнивались к страстям, которые являлись причиной бед человека: «Когда свободен дух от наглости страстей...». Привлекательным считался «Натурой разум оживленный». Душа часто отождествлялась с духом, либо рассматривалась как вместилище страстей/грехов.

Характеристика человека в литературной речи того времени включала стандартный набор положительных и отрицательных черт, своего рода эмблем, что было закреплено дидактическими принципами классической литературы эпохи Просвещения.

В связи с этим, в лексике русского языка для характеристики человека широко применялись слова «порода», «лицо», «личный», «природа» или «натура» (калька с немецкого) в значении «самость», «душа», «дух», «естество», «внутренна» («Вся внутренна моя мятется...»), «утроба» («... увидишь ты, что мы утробу свою терзаем, ополчась друг против друга!»). Слово «персонально» (калька с немецкого) употреблялось, как правило, в значении «лично» («Она ... причиняет мне труд к нему писать и отнимает случай персонально говорить с ним»). Очевидно, что эти слова являются носителями усредненных понятий, далеких от описания конкретных проявлений индивидуальных черт характера, чувств и т.п.

Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что все изменения в восприятии человека и его индивидуальности в русской культуре фиксировались в процессе формирования русского литературного языка[5]. В ситуации петровских реформ и дальнейшей трансформации всех сфер общественной жизни отечественным ученым и литераторам (которым приходилось быть apriori философами) необходимо было искать слова для определения огромного количества явлений, ранее русской культуре малоизвестных. В этой связи проблема перевода сфокусировала в себе реальный смысл трансформации воззрений людей того времени, в том числе и на человеческую личность. Отвлеченная лексика начала, середины и конца столетия заметно отличается и отражает новые реалии, возникшие не только в практической, но и в культурной жизни. Если сначала одним из главных способов перевода было калькирование, описание

или поиск подходящего славянизма (семантическое приноравливание), то в конце века мы видим творческое, вдумчивое, осмысленное создание новых слов на основании уже имеющегося личного опыта. В словах происходит внутренний сдвиг от прямого значения к новому осмыслению.

Основная магистраль этих поисков в самом общем виде может быть обозначена так: переводческая/словотворческая деятельность А. Кантемира — поиски масонской Новиковско-Елагинской школы — языковая реформа Карамзина[6].

Так, Кантемир, в своем переводе книги Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» подбирал эквиваленты для заимствованного, как говорилось выше, из немецкого языка слова «натура» и остановился на славянизме «тварь» (в смысле «все вокруг», «все созданное» и в смысле «(отдельное) существо»[7]. Он же ввел в широкое обращение слово «характер» в смысле «образ, тип, обобщенные черты людей, выраженные в литературе и искусстве» в противовес бытовавшему смыслу «качество, должность, ранг»[8].

В течение XVIII в. в России происходил процесс переориентации с восприятия человека как некоего механического соединения «натуры» (природной телесности), страстей и разума на то, чтобы изучить его внутренний мир во всей сложности и многогранности. Особенно отчетливо это проявилось во второй половине столетия, что связано с усвоением образованными людьми идей масонской метафизики, заимствованной из сочинений немецких авторов. Масоны обращались, прежде всего, к «внутреннему человеку», хотя и их учение не было свободно от некоторой механистичности. Так, они соотносили части тела человека с планетами солнечной системы, химическими элементами и т.д. Конечно, масонская этика, являясь органичным порождением эпохи Просвещения, использовала идентичный набор понятий. Тем не менее, акценты в ней заметно смещены. Так, известный русский розенкрейцер И.В. Лопухин на вопрос «Что есть человек?» отвечал в своем программном произведении «Духовный рыцарь» (1791): «Малый мир, ибо он есть извлечение, Екстракт из всех существ: и потому подобен Великому Миру (умозрительному миру в его метафизическом понимании. — *Д.Л.*). Богу же самому он подобен разумною душою, которая божественно влита в живой небесный дух, управляющий человеческим телом, сооруженным из стихий»[9]. Своеобразной квинтэссенцией такого подхода к человеку стала позиция Г.Р. Державина, обозначенная в оде «Бог»: «Я крайня степень вещества» и знаменитое «Я царь — я раб — я червь — я Бог». При этом масонские практики предполагали чрезвычайно внимательное отношение к самому себе, настаивали на пристальном «самопознании», что вовлекало адепта в ежедневные нравственные упражнения. Безусловно, это создало базу для эмансипации личности в российской культуре.

Говоря о вкладе Н.М. Карамзина в становление понятий персональности в русском языке, необходимо отметить, что он, благодаря своему особому языковому и эстетическому чутью, сместил акценты в употреблении слов, которые были известны и до него.

Таким важным словом, зафиксировавшем сдвиг в русском сознании относительно восприятия человека, было слово «личность». В течение всего XVIII в. в литературных текстах широко использовалось слово «личный» в смысле «до персоны принадлежащий». Так, в Словаре Академии Российской «Личность» — «отношение в каком-либо случае собственно к одному лицу». И только в конце XVIII — начале XIX в. можно констатировать специализацию слова «личный» соотносительно с «лицо» = «человек», «индивидуум», «человек как член общества». Очень четко это видно в произведении А.Н. Радищева «Опыт о человеке»: «Ведаешь ли, от чего зависит твоя особенность, твоя личность, что ты есть ты?»; «Глас внутреннего его чувствования, столь явная его личность, единственное его я». У Карамзина читаем: «Чувство бытия, личность, душа — все сие существует только потому, что вне нас существует по феноменам или явлениям, которые до нас не касаются» (Сочинения, т. 7, с. 235).

Из всего корпуса отвлеченной лексики наибольший интерес представляет слово «индивидуальность», можно сказать, выпестованное российской думающей публикой в течение столетия. Выше уже говорилось об общих словах, использовавшихся для обозначения личности. При этом существовала более важная тенденция восприятия человека как чего-то «отдельного», вычленявшаяся из базового представления об отдельном предмете как таковом. В XVIII в. это фиксировалось словом «неделимый» (прямая калька с латинского individuum) и — в продолжение этой цепочки — «нераздельный», «неразделяемый», «особенный» (ср. «особа»), «единственный», «частный». В Словаре Академии Российской «особенный» и «особливый» — это «принадлежащий, свойственный особенно какой вещи или известному лицу»[10]. В «Философических предложениях» Я.П. Козельского говорится о благополучии «особенного каждого человека и общего всех народов». У него же в «Статьях о философии»: «единственный человек» с пояснением: франц. individu. У Тредиаковского в «Философии Бакона»: «Причина одного есть всех других особностей причина» (в ориг. individus). В словаре Вейсмана сочетание «особливой человек» определяется как необщительный, обособленно живущий человек (статья Sonderling), однако с середины XVIII в. оно приобретает специфическое цельное осмысление «человек, лицо, индивидуум»[11]. Весьма характерно, что в 20-е гг. XIX в. слова «единственный», «отдельный», «нераздельный» потеряли значение «индивидуальный»; вместо них стали использовать непосредственно «индивидуум» и «индивидуальный»[12].

Слово «индивидуальность» в смысле «совокупность отличительных, существенных признаков предмета» окончательно закрепилось в русском языке в 1820-е гг., чему предшествовали десятилетия как перемен в сознании, так и поисков средств выражения этих перемен. Масонская литература, ставшая почвой для развития сентиментализма, ввела в оборот группу слов, относящихся к внутреннему миру человека, чертам характера, психологическому складу. Эти слова имели характерное окончание на *—ость* (безрассудность, беспристрастность, бесхарактерность, доверчивость, лживость, мечтательность, мужественность и т.п.)[13]. Это подготовило почву для развития эмоциональности (!) литературного языка, за что ратовал Карамзин (который был масоном не просто формально, но близко общался с представителями российского розенкрейцерства, принимал участие в переводческой и литературной деятельности вольных каменщиков), отказавшийся от прямого аллегоризма в описания характеров своих героев. Продолжая традиции «елагинско-фонвизинского направления», он ставил во главу угла занимательность повествования, а это предполагало отказ от славянизмов и вообще архаики. Характерно его заявление о «естественности» поступков героев трагедии «Эмилия Галотти», но в его устах слово «естественно» звучит уже по-новому: «Главное действие возмутительно, но не менее того естественно»[14]. Карамзин также широко и свободно пользовался словообразованием от основ имен прилагательных с помощью суффикса *—ость* для выражения отвлеченных понятий, относящихся к сфере умственной и эмоциональной жизни человека, а также к основным вопросам культуры[15].

Нет подтверждений тому, что именно Карамзин ввел в русский язык слово «индивидуальность», используя суффикс *—ость* при переводе французского слова «individualité», однако это очень возможно (ср: «общественн*ость*» — от «universalité»). В период его становления как литератора французский язык был гораздо более принят, чем немецкий, поэтому немецкие «Person» (лицо), «Personalitat» (по Канту: интеллектуальная субстанция, сознание, трансцендентальный субъект мысли) и «Personlichkeit» (личность) в переводах на русский язык не зафиксировались. Кроме того, Карамзина очень занимала проблема перевода с французского языка: «Трудно... выражать ясно на русском языке то, что на французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык... Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их немцы, начав писать на собственном языке своем». Точно известно, что он перевел слово «personnalité» как «личность», а слово «identité» как «одинаков*ость*»[16]. При этом Карамзиным был подведен своеобразный итог лингвистических поисков современников, которые спорили, как лучше перевести слово «personnalité» — «личность» или «особа» и склонялись к тому, что «личность» больше подходит для перевода «l'individu»[17].

Н.М. Карамзин в ходе своей языковой реформы закрепил отказ от механистического подхода к человеку, принятого как в просветительской, так и в масонской философии (из последней он, как отмечалось выше, взял внимание к человеческой натуре и ее проявлениям): «Нужно знать себя и со стороны души, и со стороны тела... Нужно вникнуть в различные их отношения между собою, чтобы осмелиться сказать: я себя знаю»[18].

Примечания

[1] «Нужно знать себя и со стороны души, и со стороны тела... Нужно вникнуть в различные их отношения между собою, чтобы осмелиться сказать: я себя знаю» (см.: Переписка Карамзина с Лафатером. 1786—1790 // *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 486). В этом смысле характерен перевод Карамзиным сочинения книги Ш. Боннэ «Созерцание природы» (1764), опубликованный в журнале «Детское чтение для сердца и разума» в 1789 г. При переводе он значительно (и совершенно сознательно) сократил текст, изъяв теологическую часть рассуждений автора, из-за чего человек предстал у него венцом природы. «Верю, что мудрость Господня далеко превосходит всех наших философов», — говорил он, отказываясь от линейного восприятия человека в рамках просветительских понятий «тело/дух/душа» (см.: *Канукова Ф.З., Кафарова О.Б.* О философских вопросах мировоззрения Карамзина и Жуковского // Николай Михайлович Карамзин. Юбилей 1991 года. М., 1992. С. 55—72).

[2] См.: «Лексикон треязычный сиречь речений славянских, еллино-греческих и латинских. Сокровище из различных древних и новых книг собранное и по славянскому алфавиту в чине расположенное» Федора Поликарпова (М., 1704).

[3] Речь идет о жителе некоей планеты. — *Д.Л.*

[4] Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие. СПб., 1755. Т. 1. С. 139.

[5] «Споры о языке занимали центральное место в русской культурной жизни этого времени, они абсорбировали идеологические, политические и религиозные проблемы» (*Успенский Б.А.* Из истории русского литературного языка XVIII века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни». М., 1988. С. 4.)

[6] *Виноградов В.В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 237.

[7] *Веселитский В.В.* Антиох Кантемир и развитие русской литературы. М., 1974. С. 21—22.

[8] Там же. С. 46—47.

[9] *Лопухин И.В.* Духовный рыцарь или ищущий премудрости. Репринтное издание. М., 1994. С. 21.

[10] *Веселитский В.В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке 18 — начала 19 веков. М., 1972. С. 31—32.

[11] Там же. С. 33—34.

[12] *Веселитский В.В.* Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века. М., 1964. С. 180—25.

[13] История лексики русского литературного языка конца 17 — начала 19 века. М., 1981. С. 133.

[14] *Карамзин Н.М.* Избранные произведения в 2-х томах. М.; Л. 1964. Т. 2. С. 82.

[15] *Виноградов В.В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 311.

[16] *Левин В.Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца 18 — начала 19 в. М., 1964. С. 163—171.

[17] Там же. С. 171.

[18] Переписка Карамзина с Лафатером. 1786—1790 // *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 486.

И.В. Магилина

«Письма русского путешественника» как источник по социально-политической и культурной жизни Европы в конце XVIII века

Жанр «путевых заметок», широко распространенный в Западной Европе с середины XVIII в., в России был мало неизвестен. По словам самого Карамзина, россияне уже довольно давно путешествуют по чужим странам, «но никто из них до сих пор не рассудил сделать этого с пером в руках». Карамзин гордился, что ему такая мысль пришла первому, и «Письма» в высшей мере возбудили интерес публики. «Письма русского путешественника» — первое произведение подобного рода, которое регулярно печаталось в «Московском журнале» в 1791-1792 гг., по примеру «Mercure de France», а к 1797 г. вышло отдельным изданием в 4-х томах.

С литературной точки зрения «Письма» часто сравнивают с «Сентиментальным путешествием» английского писателя Лоренса Стерна, основоположника сентиментализма в литературе. Стерн трактовал свой роман как «мирное странствие сердца в поисках природы, со всеми душевными влечениями, способными внушить нам больше любви к ближним»[1]. Соответственно жанру, «Письма русского путешественника», сочетая черты художественного романа и путевого очерка, являются «зеркалом души» зарождавшегося в России сентиментализма и романтизма. Однако между романами Стерна и Карамзина имеется существенное различие. Содержание «Писем» в полной мере можно считать публицистическими очерками о событиях, происходивших в Европе в 90-х гг. XVIII ва. Сам Карамзин в 1797 г. в статье гамбургскому журналу «Le Spectateur du Nord» подчеркивал главную цель своего труда следующим образом[2]. По его мнению, «Письма» должны были быть не «зеркалом души», а «зеркалом действительности», отражением общественно-политической жизни Европы, увиденной глазами молодого русского дворянина.

Публикация романа, как уже отмечалось, вызвала широкий отклик у образованной российской публики, но реакция иностранной публики, а роман был издан в 1802-1804 гг. на французском и английском языках, была совсем иной. Знаменитом и популярном у англоязычной пу-

блики журнале «The Edinburgh Review» была опубликована рецензия на английское издание «Писем русского путешественника»[3]. Читатели «среднего класса», на которых был рассчитан критический журнал, использовали литературные обзоры в качестве основного источника информации о новых публикациях. В рецензии говорилось, «*Книга, содержащая в себе путешествие московского уроженца, возбуждает такое же любопытство, как и всякое необыкновенное явление, например лошадь в Венеции или в Шотландии дерево*». Автором рецензии был Генри Брум, один из наиболее острых и саркастически настроенных сотрудников журнала. По его мнению, «переписка господина Николая Карамзина требует всевозможного снисхождения. Признаться должно, что она от путешественников, за которыми мы привыкли следовать, кажется нам столь далеко отстоящею и, при совершенном недостатке хороших качеств их, всеми погрешностями оных так много наполненною, что одна только редкость русского сочинения и забавная странность писательской головы могли побудить нас к помещению сего сочинения в число рассматриваемых нами книг»[4]. Следовательно, только редкость «русского сочинения» и «странность мышления русского» автора могли заставить включить в обозрение журнала эту книгу, которая по своему содержанию значительно ниже привычных описаний путешествий.

Генри Брум категоричен в своих выводах: русский автор принадлежит к числу сентиментальных дворян, которые во время путешествий описывают повседневные события и пренебрегают крупными, они не замечают ни войн, ни революций, а рассматривают свои чувства и интересы как предмет, на который должны быть обращены взоры всех[5]. Рецензия имела широкий резонанс у английской и американской читающей публики, кстати, последняя в данный период времени, по словам русского посольского секретаря в США Петра Полетики, ничего не читала кроме Библии и английских газет, в частности «The Edinburgh Review», единственное английское издание, лояльно настроенное по отношению к молодой республике.

Несколькими годами позднее в «The Edinburgh Review» была помещена хвалебная статья, посвященная путешествию по России Е.Д. Кларка[6]. Кларк, следовавший через территорию России на Ближний и Средний Восток, особенно подчеркивал «совершенно дикие нравы» русских, включая высшее общество и духовенство. Отрицательная характеристика страны должна была обосновать союзнические предпочтения англичан — Англии следовало «дружить» с Турцией, а не с Россией. По всей видимости «мышление автора», целенаправленно извращавшего некоторые эпизоды из русской действительности, не вызвали ни у редакторов «The Edinburgh Review», ни у читающей публики критической реакции. Справедливости ради стоит отметить, что сразу

же после выхода в свет сочинения Кларка, а из пяти томов России был посвящен только первый, с опровержением выступил английский генерал Итон, находившейся во время наполеоновских войн на русской военной службе. Он публично обратился к английскому правительству с опровержением одиозных утверждений Кларка[7].

Но было мнение, которое с современной точки зрения можно назвать абсолютно независимым, выражавшим частную точку зрения, основанную на идеологии, разделявшейся самим Карамзиным. Молодой американец Джоэль Р. Пойнсет, ставший в 1837 г. военным министром США, путешествовал по Европе с 1801 г. Два года, с 1806 по 1808 г., он находился в России как частное лицо. Несмотря на свой весьма скромный статус Дж. Пойнсет был частым гостем императора Александра I и членов его семьи. В одном из писем в Соединенные Штаты Пойнсет как раз раскрывает (не подозревая) значение «Писем русского путешественника» для русского общества. «Приходится писать тебе, дорогой Джозеф, по-английски, иначе я могу позабыть свой родной язык. Русские, хотя и большие знатоки всех языков, общаются даже друг с другом только по-французски, и в салонах ни на каком другом не говорят, и слышать не хотят. Во времена Петра Великого и долгие годы спустя языком, принятым при дворе и в высших классах общества, был немецкий, но начиная с царствования Екатерины, французский продолжает быть дипломатическим и придворным языком. Цель этой политики вытеснения родного языка заключалась в том, чтобы развить способности своих подданных и заставить их изучать тот язык, с помощью которого они приобретут некоторые познания, ибо у самих русских нет ни произведений искусства, ни науки, ни этики. Как бы ни влияла эта политика на русское дворянство, она нанесла большой вред национальной литературе страны и помешала распространению знаний в средних классах общества. Их невежество достойно сожаления, и оно будет сохраняться, пока для них не будут написаны и изданы книги на языке, который им понятен. Начало этому положил не так давно Карамзин, урожденный русский. Его произведение (“Путешествия”), написанное и вышедшее в свет на русском языке, считается во всей Европе литературным курьезом, столь же удивительным, по словам “Эдинбург ревью”, как дерево в Шотландии или лошадь в Венеции. Тот факт, что Карамзин отважился думать и писать на своем родном языке, делает ему большую честь»[8].

Что же «курьезного» находили английские критики в произведении Карамзина? Ведь и в Венеции есть деревья, и в Шотландии лошади. На наш взгляд, Карамзин заложил в русской публицистике совершенно новую традицию — поиск собственного места в разнообразном множестве. Путешествуя по разным странам Европы, Карамзин впервые в

российской общественной мысли анализирует не только текущие события, происходящие вокруг путешественника, но и природные, социальные, экономические и политические условия, которые сформировали европейские нации. И это ему удается в полной мере, так как для него — человека века Просвещения — все двери открыты. Кстати, именно этот момент сильно раздражал критика Брума, который считал, что Карамзин самым бесцеремонным образом вторгался во время своего путешествия к знаменитым людям. Действительно, это очень интересная деталь. Каким образом простому, даже не родовитому русскому дворянину удавалось проникать в дома и иметь откровенные беседы с самыми выдающими людьми европейского Просвещения конца XVIII века? Объяснение этому только одно — солидарность масонского братства. Карамзин стал масоном в Симбирске в 1783 г., когда от скуки стал постепенно втягиваться в жизнь, не достойную порядочного человека. Его духовным наставником на этом пути был не менее даровитый человек, Н.И. Тургенев, который и принял его в ложу «Золотого Венца» в степени «товарища». Именно Тургенев, разглядев способности юного Карамзина, отослал его в Москву к Новикову, выдающемуся русскому просветителю и масону высших степеней.

Этот факт в биографии Карамзина или замалчивается, или прикрывается стыдливой фразой, что «Масонство привлекало Карамзина своей просветительской и благотворительной деятельностью, но отталкивало своей мистической стороной и обрядами». Это очень упрощенный подход, и эта тема требует отдельного и внимательного рассмотрения, так как даже среди ортодоксальных верующих есть разные представители. Однозначно, что вступление Карамзина в Ложу «Золотого Венца» открыло для молодого неродовитого дворянина, обладавшего недюжинными талантами, двери в высшее общество — касту уникальных людей конца XVIII — начала XIX в. — просветителей. Со второй половины XVIII в. масонство в России прочно ассоциировалось с утонченным просвещением, и в его рядах находились представители высшего света екатерининской эпохи А.А. Репнин, Р.И. Воронцов, В.В. Голицын, А.Б. Куракин, А.П. Сумароков, И. Елагин, М.М. Херасков, А.В. Суворов, Н.И. Новиков, М.М. Щербатов, масоном был некоторое время даже император Павел I. Н.А. Бердяев писал, что моральные искания масонов привели к формированию «русской культурной души» и «нравственному идеалу личности»[9].

С восшествием на престол Александра I в России наступил «золотой век вольных каменщиков». Духовное влияние масонов на русское общество было огромно, «лучшие русские люди были масонами»[10]. К «лучшим людям» нового поколения относились Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, П.П. Лабзин, П.А. Вяземский, практически все высшее

руководство страны, включая Н.Н. Новосильцева, М.М. Сперанского, Н.П. Румянцева, К.В. Нессельроде, А.Х. Бенкендорфа и др. В 1803 г. в братство вступил и император Александр, правда, император никогда не афишировал своей связи с масонством по религиозным соображениям, так как образ «государя-масона» имел мало общего с образом «православного царя-батюшки»[11]. Особенностью масонов, в том числе и русских, была откровенная приверженность республиканским взглядам, которыми «бредила» вся просвещенная русская молодежь, включая будущего императора Александра и его брата Константина.

В пору своей молодости Н.М. Карамзин был также сторонником этих идей. Ф.Ф. Вигель, описывал, как складывались республиканские идеалы Карамзина: «Как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру, создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого. <…> С чистой и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий вследствие от едва начавшейся французской революции...»[12]. «Золотой век», о котором мечтали просветители-энциклопедисты, казалось, должен был скоро вернуться на Землю в виде божественной триады: «свободы», «равенства», «братства»… С этими надеждами и в уме, и в сердце Карамзин отправился в Европу, в которой разгоралась заря новой жизни — французская революция.

Можно сказать, что Письма» — это еще и эволюция идеалистических взглядов Карамзина, на практике убедившегося, что идеалы, даже самые светлые, не могут, например, воплощаться в жизнь путем крови и насилия, что сами идеалы в реальной жизни оказываются нежизнеспособными и вырождаются или в самые уродливые формы деспотизма, или в имперские претензии. Почему Г. Брум решил, что «сентиментальный дворянчик был занят собственный персоной, а не историческими событиями»? Вот слова самого Карамзина о его впечатлениях от пребывания во Франции, находившейся в состоянии «революционного брожения»: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее вижу, но Руссо ее предвидел. <…> События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! нет! <…> Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием. <…> Все свойства общественные и все их последствия развиты у французов до высшей степени своего совершенства. Жаль, если это великое событие (т.е. *революция*) должно переменить и характер народа; изменение, полагаю, не послужит ему к выгоде, и он перестанет быть тем, чем он сейчас является в моих глазах: самым любезным из всех народов»[13].

Не меньше, чем революционными событиями, Карамзин увлекался Англией, ее институтами, жизнью, культурой. Можно с уверенностью говорить, что он был англоманом, а не франкофилом. И вот его вывод, вынесенный из путешествия: «Люблю Англию, но не хотел бы провести в ней всю свою жизнь, <…> Люблю твердый характер англичан, люблю даже их странности, но не люблю их угрюмой флегматичности. Люблю их промышленность, их честность в делах, но не люблю их искусной скупости, помышляющей о разорении всех других народов, не люблю их презрения к беднякам, возмущающего мое сердце. Люблю видеть, как они горды своей конституцией, но не люблю видеть, как они продают места в парламенте… в них действует более ум, нежели сердце, ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. <…>»[14]. И общий вывод, который делает Карамзин в конце своего путешествия: «Я видел великих людей, и их священные образы навсегда запечатлелись в моей душе <…> Я видел главные народы Европы, их нравы, обычаи, оттенки характеров, происходящие от разницы климатов, степени просвещения и, в особенности, формы правления; я их видел, и я научился быть более осторожным в моих суждениях о достоинствах и недостоинствах целых народов. <…> Пусть другие гоняются за состоянием и чинами; я презираю роскошь и те пустые знаки различий, которые ослепляют чернь. Но я хочу быть полезным моей родине; я хочу быть достойным уважения публики»[15].

По замыслу Карамзина, умный, думающий читатель должен размышлять над прочитанным, анализировать и сравнивать условия политические, экономические, социальные, наконец, в Европе и в России и только после этого искать пути улучшения общества и власти. «Удивительно всесилие творческого гения, который, вырвав Россию из летаргического сна, в который она была погружена, направил ее на пути света с такой силой, что по прошествии малого числа лет мы находимся впереди вместе с народами, которые многие века обгоняли нас. Но здесь другие идеи и новые образы теснятся в моем уме: достаточно ли прочны сооружения, воздвигаемые с излишней поспешностью? Шествие Природы не является ли всегда постепенным и медленным?»[16].

Можно ли говорить, что Карамзин разочаровался в просветительских (читай либеральных) идеалах эпохи? На наш взгляд, речь должна идти не о разочаровании, а об эволюции его взглядов. Дело в том, что европейское, главным образом англосаксонское, понимание либерализма отличалось от российского восприятия. Такое ключевое понятие, как «свобода» в англо-американской трактовке имело двойной смысл. Во-первых, как «свобода от», т.е. от внешнего принуждения, гарантия прав, собственности и независимости, во-вторых, «свобода для», т.е. творческой реализации экономической деятельности. Для Карамзина

и большей части российского общества, понятие «свобода» имело иное содержание. «В виде члена общества нет другой свободы человеку, кроме гражданской. А сию свободу надобно согласить 1-е — с народною пользой, 2-е — с подчиненностью в общежитии, 3-е — с повиновением военным, 4-е — с нравственностью и духовным законом, 5-е — с непоколебимостью собственности, 6-е — с тишиною и порядком внутренним, 7-е — с народными и частными правами»[17].

Необходимо иметь в виду, что существовало и другое понимание свободы и прав человека, которое соответствовало самым радикальным проявлениям французской революции и воплотилось в жизнь во время социалистической революции. Радищев и его последователи проповедовали именно этот радикальный вариант. Для них понятие «вольнодумство» (свободомыслие) было тождественно понятию «независимость», как это ни странно. Они призывали русское общество «к топору» ради уничтожения рабства, «тирании», «пиявиц ненасытных». Франция, которая прошла через кровавую вакханалию революции ради высоких, но утопических идей, уничтожила не только короля, но и еще 2 миллиона своих сограждан, и остановилась в шаге от полного превращения в страну третьего мира. От чего и от кого призывали быть независимыми Радищев и его единомышленники — от государства, Отчизны с тысячелетней историей, от собственного народа?! Или же они имели ввиду опыт других стран, например Соединенных Штатов, не имевших в рассматриваемый период ни истории, ни культуры, и только создававших в начале XIX в. собственные политические институты и экономическую систему. Одним из первых на эти детали обратил внимание Н.М. Карамзин, сказав, что для русского человека благо отечества должно быть превыше личного счастья (свободы). Счастье Карамзин понимал как свободу.

Описывая менталитет и архетипические представления немцев, французов, англичан, швейцарцев, Карамзин пытался разобраться в общем и специфическом для каждого из них, подчеркивая плюсы и минусы с точки зрения идей Просвещения, не знающих национальных границ. Россия формально оставалась «за пределами» повествования, но именно на «Отечество», на российскую общественность, направлен «поток сознания» автора. Впечатления, полученные в ходе бесед с крупнейшими европейскими мыслителями и простыми, случайными людьми, дали возможность Карамзину, с одной стороны, понять и оценить место России в сознании европейцев, с другой — ее собственные потенциальные культурно-исторические возможности.

Примечания

[1] *Стерн Л.* Сентиментальное путешествие М., 1999. С.126.
[2] Le Spectateur du Nord journal politique, littéraire et moral. Hambourg, 1797. T. V, Octobre. P. 59. Опубликовано в: *Карамзин Н.М.* Письмо в «Зритель» о русской литературе // *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 449-464.
[3] The Edinburgh Review, or Critical Journal. 1804. Vol. 14. P. 137-141.
[4] *Арзуманова М.А.* Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А.С. Шишкова // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. С. 309 -323.
[5] Там же.
[6] Путевые заметки Кларка издавались в течение 10 лет, но России был посвящен том I. *Clark E.D.* Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa: Vol. I—VII. London, 1810-1823.
[7] О характере русских // Сын Отечества. 1814. Ч. 13. № XIV. С. 107.
[8] Письмо Дж. Пойнсеты Дж, Джонсону. С.-Петербург, январь 1807 г. // Россия и США: Становление отношений. 1765-1815 гг. М., 1980.
[9] *Бердяев Н.А.* Русская идея. Судьба России. М., 1997. С. 74.
[10] Там же. 76
[11] Там же.76.
[12] Русский Архив. 1884. Т. I. С. 22.
[13] *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Повести. М., 2007. С. 487.
[14] Там же. С. 667.
[15] Там же. С. 364.
[16] Там же. С. 511.
[17] Сын Отечества. 1814. Ч. 12. № X. С. 14.

В.Н. Шульгин

Общественно-политическая программа Н.М. Карамзина и ее восприятие в отечественной историографии

В литературе встречается отождествление свободного консерватизма Н.М. Карамзина и его «казенно-бюрократического» варианта, за который выступал Николай I[1]. Так, А.М. Минаков соглашается с суждением М.В. Довнар-Запольского о рецепции программы Карамзина Николаем I: «…император Николай Павлович был, можно сказать, политическим учеником Карамзина, и выдвинутые “Запиской” Карамзина идеалы самодержавного царства в течение десятилетий проводились в народную жизнь»[2]. Близкие оценки в духе до- и пореформенного либерализма высказывал А.А. Кизеветтер, считая, что историограф всегда был «реакционером»[3]. Кизеветтер, не сумев уловить феномен консервативного русизма историографа, заявлял, что Карамзина нельзя считать консерватором английского типа, допускавшего новаторство. Историк-либерал верил в политическую свободу в ущерб реально развивавшейся гражданской свободе сословий при законной монархической власти.

Карамзин же стоял именно за первичность гражданской свободы, обеспеченной законной самодержавной властью, а в основе инвектив Кизеветтера был национальный и правовой нигилизм. Единственной «уступкой» Карамзину было причисление его к мягким реакционерам[4]. Кизеветтер даже не ставил вопроса о правомерности неприятия Карамзиным революции. Он настолько по-интеллигетски сроднился с думой об уничтожении «царизма», что оказался не в состоянии понять, что это худший тип модернизации. Удивительно, что историк-радикал не предполагал возможности существования отечественного самобытного консерватизма. На такой «антикарамзинской» основе формировались и оценки советских историков[5].

В подобных обобщениях игнорировалось, что Николай I отверг главный пункт программы Карамзина — его учение о совместимости *гражданской свободы* с традиционным самодержавным царством, от принципов которого уклонилась Россия при Петре I. По Карамзину, именно вследствие протестантского по типу разрушения *симфонии*

властей Петром, государство Российское нуждалось в возрождении этого коренного православного начала. К этим важнейшим тезисам о необходимости исправления «дела Петра» Николай Павлович был глух.

В России бытовало и исключительно «западническое» восприятие Карамзина. Это настроение выразил В.Г. Белинский. В 1843 г. он писал, что «великой заслугой» Карамзина является «галломанство». Роль классика сводилась к усовершенствованию литературного языка[6]. Критик не усмотрел в Карамзине «нововводителя идей». Поэтому Белинский, следуя за Н.И. Полевым и М.Т. Каченовским, почел «Историю» Карамзина не удовлетворяющей «потребностям… общества», а историографа лишил принадлежности к подлинно «самобытным» авторам из-за отсутствия «народности»[7]. Белинский не понял содержательно-национальной стороны творчества Карамзина, ставшей очевидной для А.С. Пушкина. Частично это объясняется засекреченностью ряда ключевых политических произведений Карамзина, прежде всего «Записки о Древней и Новой России…». Однако это не оправдывает ошибок Белинского, который мог бы оценить самобытничество Карамзина по опубликованным сочинениям.

Уже в 1802 г. Карамзин публично призывал сограждан к вере в самобытность России: «…почувствуем цену собственного. Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою <…> русским нужно по крайней мере внимание русских»[8]. Карамзин думал и о необходимости перемены подражательного политического курса Российской империи, привязавшей себя к Западу. На эти наметки политической части своей программы Карамзин прямо указывал первым своим утверждением цитированной статьи: «Любовь к отечеству может быть физическая, моральная и политическая»[9].

Политическое новаторство Карамзина заключалось в курсе на органическое совмещение политического самодержавия (русской монархической государственности) и «либеральной» гражданской свободы, эволюционно развивающейся в привычных национально-политических и «моральных» рамках. Этого-то диалектического единства «старины и новизны» Карамзина так и не поняли «либералисты». Для них аксиомой был западнический подход, по которому христианская монархическая государственность считалась несовместимой с развивавшимся режимом гражданской свободы (либерализмом). Отечественная «освободительная» традиция, оказавшись в западническом методологическом плену, лишая «по теории» русскую историческую государственность возможности органической эволюции, не сумела разобраться в сути свободного консерватизма Карамзина и его школы. Именно поэтому до сих пор исследователи подчас не умеют понять непротиворечивость двух утверждений зрелого историографа, одновременно говорившего о своем русском монархизме и «республиканизме».

Сам Карамзин говорил об этом в письме 1818 г. к И.И. Дмитриеву, утверждая, что здесь противоречие «только мнимое»[10].

К сожалению, и сегодня встречается путаница в оценке модуса консерватизма нашего героя. Творчество Карамзина чаще всего расценивалось как консервативное, но рано наметилось расхождение в оценках между представителями официального дореволюционного лагеря (и, по сути, примкнувшими к ним радикалами-западниками) и соратниками Карамзина. Замечено, что сановный Петербург возвел наследие историографа «в ранг одиозной идеологии примитивного монархизма»[11]. Радикалы по сути оценок ничем не отличались от охранителей «Петербургской системы». Так, не понимая разницы между подлинным и лубочным Карамзиным, будущие декабристы принялись его осуждать. Наоборот, А.С. Пушкин и другие сторонники гражданского свободного консерватизма, защищали наследие учителя. Посему трудно согласиться с утверждением, что «о какой-либо научности анализа карамзинской политической программы говорить не приходится вплоть до 1870-х годов»[12]. Отзывы современников из круга Карамзина свидетельствуют о глубине понимания его политической программы. Они вполне научны, поскольку ими была осознана обоснованность утверждений историографа о цивилизующей самобытности России и ее исторических жизненных началах.

Этого нельзя было сказать о петербургских верхах. Николай Павлович ценил Карамзина, но их отношения «не были такими близкими, как с Александром I»[13]. Император хотел видеть в Карамзине «идеолога нового царствования», но не уловил суть консерватизма своего именитого подданного[14]. На это расхождение обратила внимание Т.Н. Жуковская. Надежды Николая I стали неприятной новостью для свободного мыслителя, которому «отводилась роль идеолога <…> “озвучивающего” готовую идею “сильного самодержавия”… Историограф же хотел внушить… идеал “просвещенного” самодержавия». В «многочисленных беседах» Карамзин не добился понимания. Николай I отверг карамзинский текст Манифеста о воцарении, приказав составить его М.М. Сперанскому, отразившему царское «видение модели управления Россией»[15]. Уже отсюда ощутимы принципиальные различия модернизационных программ Николая I (охранительно-бюрократической) и Карамзина (свободно-консервативной).

Самодержец не вполне доверял Карамзину. Вот показательный факт. Граф Д.Н. Блудов, «карамзинист» и сановник, упомянул о странном запросе Николая I. К царю поступил анонимный донос на Карамзина как автора «возмутительного» памфлета. Речь шла о засекреченной «Записке о Древней и Новой России» (1811), о которой ходили толки. Удивительно то, что Николай «дал ход» клевете, запросив у Блудова объяснений. Блудов объяснял: «Основная… мысль сего замечательного…

произведения есть та, что Россия <…> создана <…> и возвеличена самодержавием; что в нем не только надежный, прочный, но и необходимый залог ее могущества и благоденствия…»[16]. Этим толкованием Блудов успокаивал подозрительного Николая I, показывая, что Карамзин был охранителем важнейшего устоя отечества — царской власти.

Далее оправдывался альтернативный консерватизм Карамзина. Блудов признал справедливой критику историографом Петра I и Александра I. Он упомянул и о критике польских симпатий Александра I, шедших вразрез с интересами Империи: «Иные места сей записки можно почти назвать… пророчествами». После польского восстания 1830 г. эти слова имели вес. Говорилось и об апологии Карамзиным религиозных устоев России, то есть о том пункте, который разделял сановных охранителей-этатистов, по-вольтеровски думавших о вере, как удобном орудии порядка, и свободных консерваторов, стремившихся к религиозности «по правде». Блудов писал: «Особенного замечания достойно все, сказанное им о духе… веры Христианской, о применении вечных заповедей ее к делам политическим»[17]. Блудов в духе Карамзина отстаивал право верноподданнической критики монарха в случае его уклонения от религиозного, самодержавного и народного идеала. Это типично свободно-консервативный подход, исходивший из естественного права просвещенных граждан «подавать советы», направленные на защиту народных устоев[18]. Итак, Блудов реабилитировал Карамзина, не затушевывая отличий его консерватизма от курса верхов на этатистское охранительство, хотя часто ограничивался намеками. Он по-карамзински отвергал охранительный курс Петербурга, сделавшего ставку на «консерваторов», не умевших подать «совет благоразумия», по ментальности чуждых отечеству, «верно» стоявших навытяжку в ожидании царского приказа, рассчитывая лишь на силу принуждения.

В.П. Козлов привел факты непонимания охранителями сути консервативного подхода Карамзина. В 1810 г. на Карамзина пошли доносы. Он назывался «якобинцем», «восхваляющем свободу», несущим яд «безбожия, материализма…» (сановник П.И. Голенищев-Кутузов)[19]. Не дремал и «второй фронт» объявившейся демократии. Ф.В. Булгарин, Н.С. Арцыбашев и другие, пользуясь недовольством «официальной России» самобытничеством Карамзина, атаковали историографа[20].

А.С. Пушкин и П.А. Вяземский принялись отражать нападения на своего учителя. В 1826 г. Пушкин по запросу Николая I написал записку «О народном воспитании», отвечая на вопрос царя, почему декабристы поднялись на восстание. Поэт советовал: «Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину»; это не только «великое» произведение, но и «подвиг честного человека». Пушкин, по сути, отстаивал карамзинскую идею: вера русских граждан в правду самодержавного монархизма должна быть свободной. Карамзин учил следовать самобытным началам отеческой жиз-

ни вольно, так как они истинны для России. Таким образом, обучая истории по Карамзину, опираясь на научность и народность, государство получит кадры свободных граждан, понимающих правду своего отечества, отличную от чужих стран, опирающихся на иные традиции. Полагаю, что именно этой мыслью руководствовался Пушкин, когда писал: «Изучение России должно будет преимущественно занять... умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою…». Другой совет Пушкина, не принятый царем, состоял в указании на принципы преподавания зарубежной и древней истории. Пушкин писал, что юношеству «…можно будет *с хладнокровием показать разницу духа народов*, источника нужд и требований государственных: не хитрить, не искажать республиканских рассуждений <…> Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны»[21]. В этих строках содержится свободно-консервативная программа народного просвещения, построенная на принципах Карамзина.

Известный парадокс историографа, состоящий в том, что он одновременно республиканец и сторонник русского самодержавия, помогает понять суть дела. Пушкин также исходит из этой антиномии. Для России, наследницы вселенского православия, великой размерами и разнообразием, органично именно самодержавное царство. Это русская правда. Ее надо свободно, по Карамзину, доводить до дерзновенной молодежи, помнящей, что Русский Бог помог одолеть нашествие наполеоновской Европы. Но это только половина дела. Если играть одни марши, бить в барабан и плясать русского, не умея слышать иные мелодии, добру не бывать. Должна быть полнота сведений. Оболганный, замолчанный политический республиканизм, противоестественный для России, отомстит за себя. Молодые сердца и умы, открытые для новизны, тут же уловят фальшь и начнут восстанавливать нарушенный баланс между своим и чужим… в пользу чужого. Русский человек жалостлив, ему станет обидно за обижаемого древнего и современного западного республиканца. Да и запретный плод сладок. Говоря правду о себе, говори правду и о других.

Запад, имевший тот феодализм, католицизм и протестантизм, которых на Руси не было, создал естественные предпосылки для собственного, цивилизующего его партикуляризма, уйдя в конструирование политической системы «сдержек и противовесов», в «репрезентации», многопартийность. Замалчивать эту феодальную «формулу» западной истории со всеми ее либеральными последствиями опасно. Создается соблазн прельщения замалчиваемым чужим, якобы лучшим, потому что «славны бубны за горами». Боясь познавать чужое, не понять и своего! Все познается в сравнении. Пушкин призывал не чураться свободного образования. Он верил в правду отечественных устоев веры и

царственности, от которых ничуть не убудет, если просвещенные люди узнают о том, что в других землях иные исходные основы жизни.

Пушкин призывал царя не к механическому запрету либеральных идей, а к тому, чтобы показывать учащимся, что последние составляют тот «чужеземный идеологизм»[22], который ложен в русских условиях. Просто средствами хирургического «отрезания» информации о нем, как вроде бы простом средстве победы над западным радикализмом, делу не поможешь. Замалчиваемое становится привлекательным. Это закон. Поэтому надо показывать и собственные начала для нас, и западные, имея в виду их неприемлемость «здесь». Конечно, Пушкин-консерватор плюралистом не был и «мерзости папизма», как и американскую демократию, осуждал не только из-за перспективы их насильственного перетягивания на русскую почву, но и в принципе, как отклонения от истины. Но это не значит, что их надо замалчивать, возбуждая к ним нездоровый интерес. Надо показывать ход этих отклонений цивилизации, ставших возможными из-за отхода Запада от первоначального христианства. Пушкин, идя вослед Карамзину, намечает эту линию рассуждений, развитую затем славянофилами и почвенниками.

Пушкин исходил из того, что россиянам нужна собственная перспектива во взгляде на свое, которая позволит понять, почему для нас чужое не может быть своим. А Запад пусть сам разбирается. Увидев русскую духовную честность, они, может быть, и захотят вернуться «на родину» Христа, возродив истинные первоначала европейской цивилизации. Все должны быть свободны. Поэтому и Русь должна быть Святой, самобытной, свободной, по-своему самодержавной. Боясь говорить о республиканизме, мы сами даем ему нравственный перевес как незаслуженно «обиженному феномену», естественно возникшему по европейской исторической «формуле». По закону «совестного» бумеранга мы тем самым наносим удар сами себе и подрываем свой природный устой, выступающий обидчиком чужого права. Это равносильно тому, если мы для достижения равновесия снимем с противоположной чаши весов гирю-противовес. Наша чаша падает вниз, противоположная — поднимается, и мы смотрим заворожено, открыв рот, снизу вверх на вознесшегося с нашей помощью «передового европейца». Так отсутствие эвристического равновесия между своим и чужим наносит удар по своему.

Представляется, что это верное объяснение подхода Пушкина, анализирующего благие возможности использования наследия Карамзина для совершенствования и верховной власти, и воспитания свободных граждан, живущих самобытной жизнью, не закрывающих глаза на мир. Русские должны знать существенные собственные блага и не ошибаться в оценке чужого[23]. Итак, Пушкин одним из первых уяснил свободно-консервативную суть учения Карамзина, став его последователем.

Воспитанник историографа П.А. Вяземский, хотя и побыл в молодости «либералистом», также стал «каримзинистом». Ко времени написания своей знаменитой критической статьи 1847 г. «Взгляд на литературу нашу…» Вяземский уже стал консерватором-самобытником. Он оправдал надежды Карамзина, предрекшего его поправение еще в период конституционных увлечений Вяземского в 1810-е гг. Теперь ученик сроднился с консерватизмом учителя, заметив: «Карамзин не мог не быть монархическим писателем в высшем и бескорыстном смысле этого слова, потому что Россия развилась, окрепла… в силу монархического начала <…> нет у него нигде ни натяжки, ни отступления от добросовестности»[24]. Прошло еще 20 лет и, отзываясь на столетнюю годовщину со дня рождения Карамзина, Вяземский в стихах излагал принципы свободно-консервативного мировоззрения историографа, который «…учит в нравственной свободе / Блюсти общественный закон, / Отечеству быть верным сыном / И человечество любить, / Стоять за правду гражданином / И вместе человеком быть. / Нет тени в нем противоречья».

Таким образом, идеи и программа Карамзина оказали мощное влияние на генезис русской свободно-консервативной мысли. Представители его круга и их последователи стали продолжателями дела историографа, отстаивая необходимость эволюционного роста гражданской свободы в единении с самодержавно-христианской русской государственностью, одушевленной «духом народности». Представители первого поколения свободных консерваторов, пройдя школу Карамзина, поняли: изничтожая народные «инстинкты» в высших государственных сферах, аристократический космополитизм (подобно «демократическому») подрывает волевой порыв гражданина к бескорыстному жертвенному служению отечеству[25]. Скороспелая модернизация с западным уклоном, как показывал Карамзин в «Записке», оборачивалась «презрением» к предкам. В ней истоки «самоедства» и «смердяковщины», вредившие России.

В течение всего XIX в. среди свободных консерваторов не прекращалась апология Карамзина как сторонника консервативного прогресса России. Именно поэтому почвенник А.А. Григорьев по-пушкински отмечал основополагающий факт спасительного синтеза историографом благодатного духа самобытничества с приверженностью России к свободному просвещению. Григорьев это *диалектическое достоинство* (недоступное для «двух» других лагерей общества, реакционного и радикального) назвал новым обретением «нравственной» русской самостоятельности в постпетровское время. Оно поставило Карамзина «во главе нашего действительного и, стало быть, народного литературного движения»[26]. Отмечалось, что «все его сочувствия в высшей степени правильны…»; он «первый истинно русский писатель, за исключением… Фонвизина»[27]. Карамзин, по Григорьеву, начал возрождать ту «на-

родную физиономию», которую Россия окончательно обрела благодаря Пушкину[28].

Однако, как до революции, так и после нее, в историографии господствовали иные оценки, шедшие от «официальных охранителей», искусственно затягивавших Карамзина в свой стан. Содержательно близки к ним были инвективы «демократов», о чем уже говорилось. Только в послевоенном СССР началась осторожная реабилитация Карамзина. Так, исследователь-филолог Г.П. Макогоненко говорил, что Карамзин — не «идеолог реакции»[29]. Значительный вклад в постижение Карамзина внес Ю.М. Лотман. Но его подход не был до конца свободен от установок либерально-радикальной историографии. Карамзин, по Лотману, так и не расстался с иллюзиями «века Просвещения». Представляется, что исследователь не вполне учел, что скептицизм Карамзина все-таки «поменял знак» и повернулся против безбожного духа революционной эпохи. Лотман пишет: «Из трех христианских добродетелей он был щедро наделен любовью, принуждал себя иметь веру, но надежда его покинула на середине пути»[30]. Да, вера Карамзина была не столь органичной, как у позднейших славянофилов. Но он определенно был верующим.

Даже славянофил К.С. Аксаков, в наибольшей мере противополагавший земщину государству (Карамзин был большим этатистом), высоко оценивал роль историографа в деле пестования «русского направления» общественной мысли, которое нами определяется как свободно-консервативное. Аксаков, имея в виду потаенную «Записку» 1811 г., критиковавшую подражательность реформ Петра I, писал, что «великая заслуга» Карамзина в том, что он «пришел к истинному образу мыслей», торя путь будущему национальной мысли: Карамзин «в ненапечатанных своих сочинениях… близко подходит к современным понятиям… о русском деле», встав в один ряд с Ломоносовым как предшественником «Русского направления»[31]. Так, славянофил отметил факт противостояния свободных консерваторов-самобытников, тянувшихся к свято-отеческой традиции, и официальных охранителей, руководствовавшихся аристократической разновидностью западничества.

Итак, нельзя до конца согласиться с суждением Лотмана. Надежда на Россию не покидала историографа. Карамзин говорил незадолго до кончины: «Для нас, Русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, приведение»[32]. Именно на идею отеческой самобытности опирался просвещенный монархизм Пушкина. Адмирал А.С. Шишков также много сделал для укоренения в русском обществе веры в свои природные начала. Это учел Лотман, отметив, что Карамзин, «как и Шишков, заменил “философскую” идею XVIII в., согласно которой народ — сумма отдельных людей <…> представлением о народе как “национальной

личности”, не расторжимой на единицы»[33]. Если народ — личность, то она самобытна по определению.

На главную роль Карамзина в становлении отечественного консерватизма XIX в. указал польский историк А. Валицкий, замечая, что историограф не отождествлял русское самодержавие и деспотизм. Самодержавие, по Карамзину, «является скорее нераздельной, а не беспредельной властью», соответствующей традициям, противостоящей «иностранным теоретическим… моделям». Самодержавие отрицает политический произвол, поскольку монарх ограничен «традицией… опирающейся на религию». Подход русского консерватора был оправдан, ведь государство не может развиваться без исторического преемства. Валицкий заключает: «Надо отдать должное Карамзину — он представлял просвещенный консерватизм, весьма далекий от реакционного антизападного обскурантизма таких людей, как Аракчеев, Магницкий и Рунич…»[34].

Не все на Западе оценивают роль Карамзина столь объективно. Так, Британская энциклопедия утверждала, что «История» Карамзина — это «Эпос Деспотизма». Карамзин якобы испытывал «восхищение перед Иваном Грозным…»[35]. Это клевета. Общеизвестно мнение Карамзина о наличии в русской истории двух законных монархов, уклонившихся в деспотизм (Иоанн Грозный и Павел I). Историограф писал в знаменитой «Записке»: «Кто верит Провидению, да видит в злом самодержце бич гнева небесного! Снесем его, как бурю, землетрясение… феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение 9 веков имели только двух тиранов»[36].

Заслуга начала воскрешения истинного облика Карамзина во многом принадлежит Н.Я. Эйдельману, отринувшему «проблему» якобы бывшего «противоречия» между Карамзиным-«либералом» и Историографом-консерватором, проистекшую из ложной оценки Карамзина как приспособленца. Эйдельман писал: «Само существование такого человека... было… целым “политическим течением”». Вослед уезжающему за границу Александру Тургеневу Карамзин послал примечательное напутствие и одновременно апологию русскому самобытничеству. Его цитирует, соглашаясь, Эйдельман: «Мыслить, мечтать можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России, или нет гражданина, нет человека: есть только двуножное животное, с брюхом…»[37].

Эйдельман возвращал пушкинский взгляд на Карамзина — «честного человека», любящего Отечество. Он подводил нас к верному пониманию историографа как основоположника творчески свободной консервативной традиции, опиравшейся на капитальный факт русского государственного величия, далеко не случайного в истории. Читаем: «Пушкинское “Подвиг честного человека” <…> Решимся сказать, что это был подвиг *свободного человека*: Карамзин ведь был одним из самых внутренне свободных людей <…> Писал, что думал, рисовал исто-

рические характеры на основе огромного нового материала; сумел открыть древнюю Россию <…> сохранить достоинство Истории…»[38].

Эйдельман почувствовал самый дух того действительно ***свободного консерватизма*** Карамзина, увлекшего Пушкина, Вяземского, а вслед за ними и другие поколения самобытников. Все они встали за веру, царя и отечество не по моде, которая была уже совсем не консервативной, но западнической, не за благодеяния верховной власти, которая чаще всего была предубеждена против отеческих традиций, но по народной совести и чести. Для свободных консерваторов был значим пример твердой и независимо-просвещенной позиции Карамзина, противостоявшего одновременно и «молодым якобинцам», и официальным охранителям, по сути, способствовавшим вызреванию гибельного беспочвенного радикализма преследованием свободной национальной мысли.

Итак, хотя до сих пор мы встречаемся с ошибочными оценками воззрений Карамзина, следует заключить, что к середине 1980-х гг. удалось преодолеть многие заблуждения, как следствия длительного преобладания радикально-революционного направления отечественной мысли. Это открывало возможность не только «реабилитации» Карамзина. Началось понимание его исключительной роли основоположника отечественного свободного консерватизма XIX—XX вв.

Примечания

[1] См. обоснование понятия «свободный консерватизм»: *Шульгин В.Н.* Русский свободный консерватизм первой половины XIX века. СПб., 2009. С. 7—28.

[2] *Минаков А.Ю.* Предисловие // *Карамзин Н.М.* О любви к отечеству и народной гордости. М., 2013. С. 47. Ср.: *Довнар-Запольский М.В.* Обзор новейшей русской истории. Киев, 1914. Т. 1. С. 213. Речь идет о «Записке о Древней и Новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811 г.)

[3] *Кизеветтер А.А.* Н.М. Карамзин // Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1. С. 16—23. Ср.: *Пыпин А.Н.* Общественное движение при Александре I. Пг., 1918.

[4] *Кизеветтер А.А.* Указ. соч. С. 17—18, 20, 25—26.

[5] М.Н. Покровский назвал Карамзина защитником интересов «торгового капитала». Н.Л. Рубинштейн заявил, что историограф был сторонником «исторического национализма». См.: *Покровский М.Н.* Избранные произведения в 4 томах. М., 1965—1967. Т. 4. С. 292; *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 180. Любопытно, что до революции и церковные историки не избежали либеральной моды осуждения Карамзина. Так, В.З. Завитневич в докладе в Киевской Духовной академии назвал историографа реакционером. Автор проглядел очевидную преемственность по линии Карамзин—Пушкин—славянофилы. Удивительнее всего, что Завитневич не заметил стремления историографа исправить антицерковный уклон Петра I. См.: *Завитневич В.З.* Сперанский и Карамзин как представители двух политических течений… // Труды Киевской Духовной академии. 1907. Кн. XI. С. 347—396 (особенно: С. 391).

[6] *Белинский В.Г.* Собрание сочинений в 9 томах. Т. 6. М., 1981. С. 105, 109.

[7] Там же. С. 106—107, 109—110.

[8] *Карамзин Н.М.* О любви к отечеству и народной гордости (1802) // Избранные статьи и письма. М., 1982. С. 96.

[9] Там же. С. 92.

[10] Из письма к И.И. Дмитриеву: «Не требую ни конституции, ни *представителей*, но по чувствам останусь республиканцем, и при том верным подданным царя русского: вот противоречие, но только мнимое!» — Там же. С. 186 (курсив Н.М. Карамзина).

[11] *Ермашов Д.В., Ширинянц А.А.* Русская социально-политическая мысль XIX — начала XX века: Н.М. Карамзин. М., 2001. С. 10.

[12] Там же. С. 10.

[13] *Жуковская Т.Н.* Комментарии к «Записке Николая I Н.М. Карамзину [1826] // Николай I: Личность и эпоха. Новые материалы. СПб., 2007. С. 342.

[14] *Карамзин Н.М.* Мнение Русского гражданина // Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Ч. 1. СПб., 1862.

[15] *Жуковская Т.Н.* Указ. соч. С. 342.

[16] Цит. по: *Ковалевский А.* Граф Блудов и его время. СПб., 1866. С. 232.

[17] Там же. С. 233.

[18] Там же. С. 246.

[19] *Козлов В.П.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в оценках современников. М., 1989. С. 99—100.

[20] Там же. С. 58, 65—145.

[21] *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в 10 томах. Т. 7. М., 1964. С. 48 (курсив мой. — *В.Ш.*)

[22] Там же. С. 42—43.

[23] См. еще о значении Н.М. Карамзина: *Пушкин А.С.* Указ. соч. Т. 8. С. 66—69.

[24] *Вяземский П.А.* Полн. собр. соч. в 12 томах. СПб., 1878—1896. Т. 2. С. 362, 364.

[25] См. сочувственные оценки Карамзина «арзамасцев» и близких к ним, обративших внимание на неприятие его воззрений официальным Петербургом: *Жихарев С.П.* Записки современника. М., 2004. С. 173—174; (Дмитриев М.А.) О противниках и защитниках историографа Карамзина. М., 1829. С. 3, 9, 12; Письма И.И. Дмитриева к П.А. Вяземскому // Старина и Новизна. Кн. II. СПб., 1898. С. 161—162, 195.

[26] *Григорьев А.А.* Развитие идеи народности в нашей литературе со смерти Пушкина // *Он же.* Сочинения Аполлона Григорьева. СПб., 1876. С. 493—494.

[27] Там же. С. 499.

[28] Там же. С. 500. Этот вывод Григорьева подтверждается современными исследователями. Утверждается, что «Н.М. Карамзин в своих ранних произведениях стремился привлечь внимание читателей к “народности”…»: *Ермашов Д.В., Ширинянц А.А.* Указ. соч. С. 45. Значение Карамзина, возрождавшего значение чувства собственного достоинства «русских граждан» в сочетании с потребностью творческого общения с Европой, довольно рано стало сознаваться в обществе. — См.: *Сербинович К.С.* Николай Михайлович Карамзин. Воспоминания // Русская старина. 1874. № 9—10. Т. XI. С. 46—51.

[29] *Макогоненко Г.П.* Литературная позиция Карамзина в XIX веке // Русская литература. 1962. № 1. С. 87.

[30] *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 311.

[31] *Аксаков К.С.* О Карамзине (1848) // Карамзин: pro et contra. Антология. СПб., 2006. С. 652—653.

[32] *Карамзин Н.М.* Сочинения. Т. 1—3. СПб., 1848. Т. 3. С. 739—740.

[33] *Лотман Ю.М.* Русская литература и культура Просвещения. М., 2000. С. 236.

[34] *Walicki A.* A History of Russian Thought: From the Enligchtenment to Marxism. Stanford, 1981. P. 53, 54—55.

[35] The Encyclopaedia Britannica, 11-th ed. Cambridge, 1911. P. 676—677.

[36] *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 46.

[37] Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Последний летописец. М., 1983. С. 130.

[38] *Эйдельман Н.Я.* Указ. соч. С. 160 (курсив мой. — *В.Ш.*)

М.М. Сафонов

«Народ безмолвствует» (А.С. Пушкин, Н.М. Карамзин, А.Ф. Ланжерон)

Как известно, трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» завершается фразой, которая давно уже стала крылатой. Мосальский на крыльце «дома Борисова» восклицает: «Народ! Мария Годунова и сын ее Федор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (*Народ в ужасе молчит).* Что ж вы молчите? кричите: Да здравствует Царь Дмитрий Иоанович!

Народ *безмолвствует*»[1].

Источник возникновения этой многозначительной фразы, породившей огромную литературу и допускающей диаметрально противоположные истолкования[2], до сих пор точно не установлен. Пикантность ситуации усугубляется тем, что ставшая камнем преткновения ремарка существует только в печатном тексте трагедии, опубликованной в 1831 г. Но ни в одной из дошедших до нас авторских рукописей этой фразы нет. В пушкинском автографе трагедии конец был иным. После фразы Мосальского следует:

Народ

Да здравствует царь Димитрий Иоанович![3]

То есть, народ не безмолвствует, а провозглашает здравицу Самозванцу.

Виднейший пушкинист М.П. Алексеев досконально изучил хронологию всех этапов создания трагедии и восстановил соответствующую им картину постепенного видоизменения текста. Академик пришел к однозначному выводу: ремарка «народ безмолвствует» органически завершает «авторский текст пьесы» и принадлежит Пушкину. Но когда она «заместила в последней сцене эхо приветственного возгласа Мосальского Самозванцу, никаких документальных данных нет. Поэтому остается только строить догадки на этот счет[4].

В литературе неоднократно высказывалось мнение, что источником этой пушкинской реплики послужила «История Государства Российского» Н.М. Карамзина, которому поэт посвятил свою трагедию, вдохновленную трудом историографа. В самом деле, в сочинении «Колумба российских древностей» встречаются фразы о безмолвии народа, которые могли бы навеять Пушкину гениальную фразу, завершающую трагедию, но они звучат в иной тональности. Описание суда над Василием Шуйским при Самозванце Карамзин сопроводил такой фразой: «Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских». [5] Рассказывая о венчании Бориса Годунова на царство, Карамзин заметил: «Народ благоговел в безмолвствии»; «и м о л ч а н и е н а р о д а , с л у ж а я в н о ю у к о р и з н о ю, возвестило важную перемену: они уже не любили Бориса!»[6] Контекст, в котором Карамзин употребил фразы о безмолвии народа, не имеет ничего общего с финалом пушкинской трагедии. Поэтому рассматривать карамзинский текст как главный источник реплики автора «Бориса Годунова» можно только с очень большой натяжкой. Гораздо более ощутимую параллель между каразминским и пушкинским текстами можно было бы усмотреть в следующем фрагменте «Истории государства Российского»: «Тысячи воскликнули, и Рязанцы первые: “*Да здравствует же отец наш, Государь Димитрий Иоанович!” Другие еще безмолвствовали в изумлении*».[7] Однако и здесь карамзинское «безмолвие народа» принципиально отлично от пушкинского. Как справедливо отмечал автор монографии о «Борисе Годунове» Б.П. Городецкий, «окончание трагедии в обоих вариантах имеет соответствия в повествовании Карамзина», но «формула “безмолвие народа” в ее “специфической карамзинской трактовке”», т.е. молчание народа является выражением покорности, удивления или печали, а отнюдь не осуждения или гнева, «глубоко отлична» от пушкинской[8]. У Пушкина «безмолвие народа» это — не пассивное молчание, а активное осуждение действий власти, грозный предвестник будущих потрясений.

Очевидно, Пушкин, работая над «Борисом Годуновым» пережил определенную творческую эволюцию. Первоначально он вложил в уста народа здравицу Самозванцу, но в окончательной редакции заменил ее народным безмолвием, таящим в себе грядущую угрозу Лжедмитрию, его погибель. Несомненно, это произошло под воздействием дополнительных источников, Карамзину неизвестных. М.П. Алексеев обратил внимание на еще один круг источников, ранее не попадавших в поле зрения пушкинистов, который мог бы вдохновить Пушкина на создание финала трагедии «Борис Годунов» в большей степени, нежели автор «Истории государства Российского» и русские летописи, которыми пользовался историограф. Академик имел в виду сочинения по истории французской революции 1789 г., оказавшиеся в поле зрения поэта незадолго перед тем, как он начал обдумывать и создавать трагедию о царе Борисе. Алексеев привел множество свидетельств свидетельств того, что с середины 1820-х гг. до начала 1830-х гг. Пушкин проявлял большой интерес к трудам новейших французских историков. Он из-

учал труды Тьери, Гизо, Баранта, Тьера, Минье. В июне 1831 г. он получил «Историю французской революции с 1789 по 1814 г.» Ф.-А. Минье. Несколько позже в руки Пушкина попало второе издание «История французской революции» А. Тьера, вышедшее из печати в 1828 г. Оба издания пополнили библиотеку поэта. Вполне возможно, что Пушкин был знаком с первым изданием этого труда, опубликованном еще в 1823 г.[9] В сочинении французского историка автор «Бориса Годунова» прочел рассказ о событиях в Париже 15 июля 1789 г., сутки спустя после взятия Бастилии. В этот день, когда Учредительное собрание собиралась направить депутацию к Людовику XVI, стало известно, что король сам идет в собрание без охраны и свиты. Тогда О-Г.-Р. Мирабо взял слово и произнес: «Пусть мрачное молчание прежде всего встретит монарха в эту минуту скорби. Молчание народа — урок королям». («Le silence des people est la leçon des rois»).

М.П. Алексеев увидел в этой сентенции сходство с заключительной ремаркой «Бориса Годунова». Исследователь усмотрел некую аналогию в ситуациях — описанной Тьером и представленной Пушкиным в финале пьесы. «Дело происходило, — подчеркнул пушкинист, — в тяжелый, переломный момент жизни государства перед сменой власти; представительная масса народа принимала на себя ответственность за судьбу Франции. Призыв к мрачному молчанию, заключаемый изречением о зловещем и предостерегающем значении безмолвия, играющего роль паузы или своего рода антракта между действиями, полными драматического содержания, которые разыгрываются в самой исторической действительности, — все это довольно близко соответствует “таинственному оцепенению действия”, которым… оканчивается “Борис Годунов”».

Пушкин получил первый том книги, в которой описана эта сцена, уже после того, как «Борис Годунов» бы опубликован. Но поэт, интересовавшийся личностью Мирабо, по мнению М.П. Алексеева, мог быть знаком с его репликой из других источников, Так, в издании сочинений Мирабо, так же сохранившихся в библиотеке Пушкина, был помешен биографический очерк об этом деятеле, написанный М. Мерильу. В нем говорилось, что «до прихода Людовика XVI Мирабо требует, чтобы собрание воздержалось от всяческих знаков неодобрения, поскольку, говорит он, молчание народа — это урок королям». Вместе с тем, академик отметил, что фраза о молчании народа как уроке королям не принадлежала собственно Мирабо. Он лишь воспользовался формулой, оглашенной королевским проповедником Ж. Бове во время похорон Людовика XV «Le silence du people est la leçon des rois». Правда, Пушкин приобрел сочинения Мирабо с биографическим очерком Мерильу пять лет спустя после публикации «Бориса Годунова», но о

сентенции Мирабо, — рассуждал ученый, — поэт мог узнать разными путями. Поэтому академику представлялось «наиболее правдоподобным», что историческая сентенция о безмолвии народа как осуждении власти ассоциировалась у Пушкина с началом французской революции и выступлением Мирабо 15 июля 1789 г.[10]

С такой трактовкой трудно согласиться. Аналогичность ситуаций, описанных Тьером и Пушкиным, довольно сильно преувеличена. У поэта осуждение молчанием является ответом народа на кровавую расправу над представителями власти. Ничего подобного у Тьера нет. Поход Людовика в Учредительное собрание, депутатам которого предлагается вынести королю réprimande молчанием, никак не связан с цареубийством. Поэтому сближение этих двух эпизодов сильно хромает, не говоря о том, что оно строится на гипотетическом знакомстве Пушкина с литературой, содержащей эти сведения, еще до того, как драма была опубликована.

А между тем, от внимания М.А. Алексеева ускользнуло, что в библиотеке Пушкина была одна французская книга по русской истории, в большей степени, нежели сочинение Тьера, воспроизводящая ситуацию, описанную Пушкиным[11], — книга Ж. Кастера «История Екатерины II, российской императрицы». В этом сочинении содержится очень выразительное описание того, как сообщение о низвержении царя встречается народом громовым молчанием. Здесь Пушкин мог прочитать, как Москва отреагировала на известие о низвержении Петра III. (Заметим, тема — близкая поэту, потому что имела отношение к его родословной: один из родственников поэта сохранил верность свернутому монарху). Кастера пишет: «Alors cet officier lut á houte voix l’oukase par lequle l’impératice annonçat son avenement et disposition de son epoux, et en finisant sa lecture, il crea: “Vive l’impératice Catherine Seconde”. Mais le people et le soldats resterent dans le silence. Il recommenca le même crie: le même silence fut gardé»[12]. Русский перевод: «Тогда этот офицер громким голосом прочитал указ, которым императрица извещала о своем воцарении и низвержении ее супруга. Закончив чтение, он закричал: “Да здравствует императрица Екатерина Вторая”, но народ и солдаты оставались безмолвны. Он повторил свой возглас: то же молчание». Сочинение Кастера — смесь достоверных фактов, почерпнутых из донесений французских дипломатов, и собственных выдумок. Про него можно сказать словами Вольтера: «Souvant un peu de vérité se mêle plus au plus grossier mensonge». Пушкин интересовался переворотом 28 июня 1762 г. не меньше, чем историей французской революции. Поэт сочувствовал свергнутому Петру III. Возможно, он был знаком с книгой Кастера даже раньше, нежели приобрел его книгу для собственной библиотеки. Сочинение французского автора, выходившее несколько-

ми изданиями (первое еще за два года до рождения поэта) было хорошо известно в России, и, несмотря на то, что было запрещено, широко распространилось в списках[13]. Описание реакции москвичей на воцарение Екатерины не могло не заинтересовать поэта. Из всех отмеченных в литературе «прообразов» заключительной пушкинской фразы «Народ безмолвствует» эпизод из книги Кастера более всего соответствует ситуации, описанной Пушкиным в финале «Бориса Годунова».

И все же есть определенные основания предполагать, что не эта книга подтолкнула творческую мысль поэта к тому, чтобы он заменил в окончании своей пьесы здравицу Самозванцу на «безмолвие народа». В книге Кастера нет упоминания об извещении о смерти царя, в то время как у Пушкина упоминается о гибели жены Бориса с его сыном — гробовое молчание народа является реакцией на это злодеяние. Между тем, существует сочинение близкого знакомого поэта, в котором описана именно такая ситуация. Автор этого сочинения — Андро Ланжерон.

Французский эмигрант на российской службе Л.-А.-А. или по-русски А.Ф. Ланжерон, генерал от инфантерии, херсонский военный губернатор, одесский градоначальник, управляющий гражданской частью в губерниях Херсонской, Таврической и Екатеринославской, а также главнокомандующий бугскими и черноморскими казаками, оставил о себе топографическую память: один из районов Одессы получил его имя[14]. Но в русскую культуру этот француз, вошел, если можно так выразиться, совсем с другого подъезда. Как бы ни был велик его вклад в благоустройство Одессы, как бы ни были значительны его военные подвиги во времена Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов, чаше всего этого генерала-администратора вспоминают в связи с убийством Павла I, хотя к событиям 11 марта 1801 г. в Михайловском замке этот француз не был причастен. Но он оставил после себя уникальный источник: записки о смерти императора. Они представляют собой напоминающую протокол запись рассказов трех действующих лиц этой трагедии: руководителя антипавловского заговора П.А. Палена, Л.Л. Бенигсена, возглавлявшего отряд заговорщиков, проникших в ту роковую ночь в опочивальню царя, и великого князя Константина, без содействия которого переворот вряд ли бы удался. Сегодня ни одно исследование «серальной революции» 11 марта 1801 г. не обходится без записок Ланжерона. Принято считать этот уникальный документ «важнейшим источником»[15] для воссоздания подлинной картины убийства российского императора. Ему верят почти безусловно. Однако этот «важнейший источник», столь обильно цитируемый благодаря уникальным сведениям, в нем содержащимся, никогда не подвергался источниковедческому анализу. Все писавшие об убийстве Павла I верили Ланжерону, что называется, на слово[16], совершенно не принимая

во внимание тот немаловажный факт, что генерал увлекался драматургией и был автором драматических сочинений[17], среди которых есть и пьеса «Мария Стюарт». А между тем сочинение Ланжерона — не что иное, как литературная мистификация, представляющая собой обвинительный акт против императора Александра I, который фактически обвиняется в том, что дал санкцию на убийство отца[18].

Завуалированная филиппика против императора вполне вписывается в биографию Ланжерона. После Аустерлица Александр, недовольный действиями генерала, потребовал, чтобы тот сам просил увольнения от службы, т.е. фактически выгнал его. Правда, впоследствии назначил француза состоять при армии. После лейпцигской битвы царь обошел наградами Ланжерона в сравнении с другими военачальниками. Наконец, в 1823 г. генерал навлек на себя гнев Александра, и его отстранили от должности. Он был вынужден покинуть Россию и уехать во Францию. Там опальный автор и оставил свои записки[19]. Описание убийства Павла — своеобразная «месть» генерала за неожиданно прервавшуюся карьеру.

Записки Ланжерона, написанные на французском языке, были переданы в архив министерства иностранных дел Франции[20] и хранятся там и поныне. Впервые они появились в печати в 1895 г. в парижском журнале «Revue Britannique»[21]. В России их обнародовали на русском языке в 1907 г. Они публиковались в первом и втором изданиях сборника воспоминаний об убийстве Павла I[22], но еще до публикации были известны историкам и широко использовались ими. В этом сочинении есть такой фрагмент, чтение которого невольно вызывает ассоциации с заключительной сценой пушкинского «Бориса Годунова». Точнее говоря, создается впечатление, что Пушкин, обдумывая финал своей трагедии, имел перед глазами это сочинение. Во фрагменте речь идет о том, что после убийства Павла в Михайловском замке П.А. Пален заставил предававшегося отчаянию сына усопшего императора великого князя Александра Павловича показаться гвардии и представил его Преображенскому полку. Командир полка: «Talitzin crie: “Vive l’empereur Alexandre!” Morn silence de la part des soldats. Les Zoubow s’avancecent, leur parlent et répètent le crie de Talitzin, même silence. L’empereur passa au regiment de Semenovski qui le salue par des hourras, les autres qui vent 1-exemple donneé par Semenovski, mais Preobragensky gardait toujours un profond silence»[23]. Русский перевод: «Талызин кричит: “Да здравствует император Александр!” — гробовое молчание среди солдат. Зубовы выступают, говорят с ними и повторяют восклицание Талызина, — такое же безмолвие. Император переходит к Семеновскому полку, который приветствует его криками “ура”. Другие следуют примеру семеновцев, но преображенцы по-прежнему безмолствуют»[24].

Надо было обладать гениальностью Пушкина, чтобы переработать этот фрагмент в крылатое: «Народ безмолвствует». Но был ли знаком автор «Бориса Годунова» с записками Ланжерона?

Пушкин близко общался с Ланжероном в Одессе в 1821 и 1823—1824 гг. По словам издателя «Русского архива» П.И. Бартенева, Ланжерон «мучил Пушкина чтением своих стихов и трагедий»[25]. Поэт никак не мог отделаться от градоначальника, назойливого навязывающего ему свой новый литературный опус — трагедию «Мазаниелло»[26]. Но в конце 1820-х — начале 1830-х гг. незадолго до смерти Ланжерона их общение было довольно интенсивным. В письмах к Е.М. Хитрово Пушкин упоминает о Ланжероне, как об общем знакомом[27]. Есть его имя и в списке лиц, которым Пушкин в 1830 г. собирался разослать свои визитные карточки[28]. Наибольший интерес вызывает упоминание о Ланжероне в «Дневнике» Пушкина. 12 мая 1834 г., три года спустя после смерти француза, Пушкин сделал запись о том, что генерал показывал ему конфиденциальные письма великого князя Александра Павловича, полные негодования правлением своего отца. «Одна фраза меня поразила: — Je vous écrit peu et rarement car je suis sous la hache». («Я вам пишу мало и редко, потому что я под топором»). «Ланжерон был тогда недоволен и сказал мне: Voilà comme il m'écrivoit; il me traitait de son ami, me confiat tout — aussi lui étois je dévoué. Mais à present, ma foi, je suis prêt à détacher ma propre echarpe»[29]. («Вот как он мне писал, он обращался со мной как со своим другом, он доверял мне все — зато и я был ему предан. Но теперь, право, я готов развязать мой собственный шарф».) То есть, готов расправиться с ним, подобно тому, как это сделали заговорщики, умертвившие Павла. Из этой пушкинской записи непреложно следует, насколько конфиденциальны были отношения между поэтом и генералом. Очевидно, для них не было запретных тем, и одной из них являлись трагические события в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. При такой близости отношений трудно предположить, что могло удержать Ланжерона от того, чтобы показать Пушкину свои записки об убийстве Павла, если ранее он старался во что бы то ни стало ознакомить поэта с таким посредственным сочинением, как «Мазаниелло», в сравнении с которым эта работа выглядела как подлинный шедевр. И в самом деле, таковым и была, потому что никто из исследователей до сих пор так и не догадался, что имеет дело с литературной мистификацией. Из записи Пушкиным слов Ланжерона явствует, что рассказчик был уверен: Павла удавили шарфом одного из заговорщиков. Пушкин разделял это мнение и даже назвал имя этого убийцы. В дневниковой записи 8 марта 1834 г. есть такие слова: «Жуковский поймал недавно на бале у Фикельмона цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-ое марта. Они сели. В эту минуту

входит государь с гр. Бенкендорфом и застает наставника своего сына, дружелюбно беседующего с убийцей его отца. Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла 1-го»[30].

Сведения о том, что Я.Ф. Скарятин был непосредственным убийцей Павла, не соответствуют действительности. Благодаря дневниковой записи К.И. Остен-Сакена, зафиксировавшей свидетельство великого князя Константина, известны имена тех шестерых человек, которые вошли в опочивальню царя в ту роковую ночь. Скарятина среди них не было[31]. Откуда же Пушкин получил эти недостоверные сведения? Они содержатся в записках Ланжерона: «Убийцы не имели ни веревки, ни полотенца, чтобы удушить его; говорят, Скарятин дал свой шарф, и через него погиб Павел»[32]. Ланжерон же извлек эти сведения из анонимной рукописи, опубликованной в 1819 г. Г. Цшокке, которой генерал широко пользовался, составляя свою мистификацию[33]. Эти соображения наводят на мысль, что Пушкин был знаком с опусом Ланжерона.

Хотя неизвестно, когда именно Ланжерон показывал Пушкину письма Александра Павловича, записки о смерти Павла он не мог представить ранее 1826 г. В них упоминается, что он записал рассказы заговорщиков в 1826 г., а свел их вместе, соединив разрозненные записи в единый текст, видимо, еще позже[34]. Если же сопоставить хронологию работы Пушкина над «Борисом Годуновым» и появление записок Ланжерона, то получается следующая картина. Беловой список трагедии собственноручно датирован Пушкиным 7 ноября 1825 г. В сентябре—октябре 1826 г. Пушкин стал готовить рукопись к изданию. Тогда же была сделана писарская копия для представления царю.14 декабря публикация пьесы в настоящем виде была запрещена. Речь шла о рукописи, заканчивающейся здравием Самозванцу[35]. В 1829 г. Пушкин возобновил свои попытки напечатать трагедию в полном виде. 28 апреля 1830 г. Николай I дал разрешение на публикацию, и рукопись была опубликована в том виде, который придал ей Пушкин для издания[36]. В ней, хотя сама эта рукопись до нас не дошла, «народ безмолвствовал». Таким образом замена здравицы Самозванцу на осуждающее молчание народа произошла уже после того, как были созданы записки Ланжерона об убийстве Павла. Наконец, еще один аргумент в пользу того, что сочинение генерала послужило толчком к созданию крылатой фразы Пушкина. Одна из главных идей «Бориса Годунова» заключается в следующем. Власть, полученная посредством кровавого преступления, обречена на гибель в силу нравственных законов природы, а безмолвие народа в ответ на известие о том, что это преступление совершено, является выражением этой закономерности. Мысль Карамзина — «казнь небесная угрожала царю-преступнику»[37] — была очень близка Пушкину, а после неожиданной смерти Александра I в Таганроге, она как бы

получила реальное историческое подтверждение. Если внимательно прочитать записки Ланжерона как завуалированную филиппику против Александра, то нетрудно заметить, что в основе их лежит та же идея. Александр, давший согласие на убийство отца, тем самым обрек себя на погибель. Гробовое молчание («morn silence») преображенцев это — нравственный смертный приговор сыну Павла I. Сходство идей генерала и поэта очевидно. Различие же в несопоставимости масштабов талантов того и другого.

Предложенная гипотеза позволяет пролить свет на источники пушкинской реплики «народ безмолвствует», но для ее доказательства необходимо найти неоспоримое документальное свидетельство знакомства Пушкина с опусом Ланжерона.

Примечания

[1] Борис Годунов, сочинение Александра Пушкина. СПб., 1831. С. 142.
[2] См. подробно: *Алексеев М.П.* Ремарка Пушкина «Народ безмолвствует» // Пушкин. Л., 1972. С. 208—223, 227—228.
[3] Сочинения А.С. Пушкина. Т. II. СПб., 1880. С. 411; *Богаевская К.П.* Пушкин в печати за сто лет (1837—1937). М., 1938. С. 18—19.
[4] *Алексеев М.П.* Указ. соч. С. 225.
[5] *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. Т. VII. С. 476. [Л.], 1935.
[6] *Городецкий Б.П.* «Борис Годунов» в творчестве Пушкина // «Борис Годунов». Л., 1936. С. 39—40.
[7] Там же.
[8] *Городецкий Б.П.* Драматургия Пушкина. М.:Л., 1953. С. 177—178.
[9] *Алексеев М.П.* Указ. соч. С.232—233.
[10] Там же. С. 233—236.
[11] *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина. (Библиографическое описание). СПб., 1910. С. 185.
[12] *Casterat J.* Vie de Catherine, II, l'impératice de Russie. T. I. Paris, [1797]. P. 272.
[13] См. подробно: *Сомов В.А.* эпохи Просвещения Французская «Россика» и русский читатель // Французская книга в России XVIII в. Л., 1986. С. 213—221.
[14] О А.Ф. Ланжероне см. подробно: Ланжерон Людовик-Александр-Андро // Русский биографический словарь. Лабзина-Лященко. СПб., 1914. С. 60—65.
[15] *Эйдельман Н.Я.* Грань веков. М., 1982. С. 180, 180.
[16] В первую очередь это относится к Н.Я. Эйдельману, который обильно цитировал француза. (*Эйдельман Н.Я.* Указ. соч.. С. 192, 195, 202, 203, 244, 249—250, 253, 255, 257, 260. 273, 279. 293, 311, 314, 315, 317, 218, 322, 323, 328, 329.
[17] Ланжерон Людовик-Александр-Андро. С. 65.
[18] См. подробно: *Сафонов М.М.* Андро Ланжерон и убийство Павла I // Россия — Франция. Alliance культур. Материалы XXII Царскосельской научной конференции: в 2 ч. Ч. 2. СПб., 2016. .С. 162—180.
[19] Ланжерон Людовик-Александр-Андро. С. 61, 63, 64.
[20] *Брикнер А.Г.* О сочинениях гр. Ланжерона, хранящихся в парижском архиве // Русские ведомости. 1895. № 195, 204; Сборник Русского исторического общества. Т. 70. СПб., 1890. С. 677.

[21] La mort de Paul 1-er. D'apres les memoires inèdits de Langeron. (11 mars 1801) // Revue Britannique. 1895. № 7. Juillet. P. 59—79.
[22] Из записок графа Ланжерона // Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 173—197.
[23] La mort de Paul 1-er. P. 76.
[24] Там же. С. 193.
[25] *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. Л., 1975. С. 217.
[26] *Де-Рибас А.* Пушкин и Ланжерон-драматург // Пушкин. Статьи и материалы. Вып. 2. Одесса. 1926. С. 32—40.
[27] Письма Пушкина к Елизавете Михайловне Хитрово. 1827—1832. Л., 1927. С. 8, 59—62.
[28] Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты Пушкина. М.; Л., 1935. С. 322; Русский архив. 1895. № 10. С. 148; 1912. № 7. С. 407.
[29] *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1954. С. 34.
[30] Там же. С. 25—26. П.И. Бартенев полагал, что Пушкин был очевидцем этого разговора (*Бартенев П.И.* Из записной книжки «Русского архива» // Русский архив. 1912. № 12. С. 313). Однако П.И. Бартенев указывает Аничков дворец как место действия, в то время как Пушкин пишет, что курьезный разговор имел место на бале у Филькемона.
[31] . «Наши руки обагрились кровью не из корысти…» (В.М. Яшвиль — участник дворцового переворота 11 марта 1801 года) // Грузино-российские научно-культурные связи в истории Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 252.
[32] Из записок графа Ланжерона. С. 189.
[33] Zur Geschichte der Verschwörung gegen Paul I und der Tronbesteigung Alexander I // Uberlieferungen zur Geschichte unseres Zeit Gesammelt von Heinrich Zschokke. Jahrgaug 1819. Juli bis Dezember. Aarau. S. 348.
[34] Из записок графа Ланжерона. С. 175.
[35] *Алексеев М.П.* Указ. соч. С. 224.
[36] Там же С. 224—226.
[37] *Карамзин Н.М.* История Государства Российского. Полное издание в одном томе. М., 2011. С. 1037.

А.Н. Долгих

О роли Н.М. Карамзина в решении крестьянского вопроса в России в конце XVIII — начале XIX в.

Писать о Н.М. Карамзине нелегко. Данное обстоятельство связано, в частности, с тем, что это был грандиозный по масштабам человек, многое самолично определивший в России на рубеже XVIII—XIX вв. Он фактически создал русский литературный язык (по крайней мере, прозу), убедил российских современников, что у них есть история, став одним из первых российских писателей-профессионалов и настоящих журналистов, написал «Бедную Лизу», в свернутом виде содержавшую большинство тем всей позднейшей русской литературы. Уникален он был по своей независимости и от низов, и от верхов империи, заставив слушать себя и радикалов, и обоих монархов первой половины XIX в., внимавших его словам, хотя и поступавшим по-своему[1]. Ему повезло на исследователей. Речь идет о его критиках и апологетах XIX—XX вв. (Н.М. Муравьеве, А.С. Пушкине, П.А. Вяземском), о филологах (В.В. Сиповском, Г.А. Гуковском, Я.К. Гроте, Ю.М. Лотмане), об историках (М.П. Погодине, А.Н. Пыпине, В.О. Ключевском, Н.Я. Эйдельмане, Л.Г. Кислягиной). Большинство обобщающих изданий по русской литературе, истории России и ее общественной мысли, историографии не могли пройти мимо этой исторической фигуры, его произведений разных жанров[2].

Тем не менее, с нашей точки зрения, проблема, которую поднимает эта статья, не является все же достаточно изученной. Возможно, для самого Карамзина она и не была главной и определяющей, но для исследователей общественной мысли России конца XVIII — первой четверти XIX вв. является весьма важной. Суть крестьянского вопроса для этой эпохи заключалась уже в принципиальной проблеме: освобождать или не освобождать владельческих крестьян (для XVIII в.), а для первой четверти XIX в. — как освобождать: с землей и без земли, сразу или через время, бесплатно или за выкуп. Одновременно ставился в той или иной форме вопрос о смягчении крепостного права и ликвидации крайних его проявлений вроде продажи людей без земли или жестоких наказаний. При этом правительственная политика в данной сфере за годы жизни Карамзина сделала своеобразный кульбит. Если в екатери-

нинскую эпоху (несмотря на субъективные воззрения императрицы) крепостное право фактически превратилось в рабство, то, начиная с Павла I (консерватора по жизни и убеждениям), в законодательстве империи имело место постепенное смягчение крепостничества, ограничение помещичьей власти (пусть и не всегда заметное в реальной практике), дополненное при Александре I выдвижением на повестку дня идеи эмансипации крестьянства[3].

Эти изменения в правительственной политике имели определенный отзвук в общественном мнении, о формировании которого можно уже говорить к рубежу веков. Постепенно в общественной (дворянской) мысли по данному вопросу сформировались два направления. Первое из них достаточно трудно определить, ибо применяемый к нему термин «либеральное» не совсем четко ему соответствует, по крайней мере, для дореформенного периода. Очевидна критика его представителями крайностей крепостного права и вообще его сущности (в основном, исходящая из соображений абстрактного и христианского гуманизма и лишь в меньшей степени из экономических и иных соображений), разработка способов его изменения или даже отмены. Но эти пропагандируемые ими идеи наталкивались на факт отсутствия реальных примеров освобождения крепостных деятелями этого направления. Главные постулаты либерализма — свобода и собственность; но их нет в практической деятельности лиц этого направления, так как все они — владельцы «крещеной собственности». Отсюда и их разлад со своей совестью: «стыд» за крепостное право (появившийся у этой группы дворян где-то на рубеже XVIII—XIX вв.) и одновременно использование ими крепостного труда: это справедливо даже применительно к наиболее достойным из них — например, к Н.И. Тургеневу.

Второе направление дворянской общественной мысли именуют консервативным (имея в виду, прежде всего, его идеологов — Г.Р. Державина, М.М. Щербатова, М.М. Философова, Ф.В. Ростопчина, А.С. Шишкова и др.); характерным для него являлось положение о необходимости сохранения существующего порядка, крепостного права, мотивированное существованием архаичного противопоставления: помещики — отцы, крестьяне — их дети; экономической необходимостью: если крестьян освободить, то они уйдут в другие более доходные сферы, что приведет к упадку сельского хозяйства; соображениями государственной безопасности — ликвидация помещичьего (полицмейстерского) контроля за крестьянским поведением усилит опасность крестьянских бунтов; интересами функционирования государственной системы (подати, рекрутчина); наконец, сущностными пожеланиями дворянства, чье существование прямо зависело от доходов от имений. Это направление не исключало критику крайностей крепостного права и требова-

ний «употребить силу» против Салтычих и Простаковых. Его идеологи, отражая в принципе основные позиции и идеи правящего сословия России, не испытывали «стыда» за владение крепостными душами[4].

На этом фоне непросто определить место, занятое Карамзиным. Общим местом в историографии является утверждение о крепостнической сущности его воззрений. Так, автор статьи в «Краткой литературной энциклопедии» Г.П. Макогоненко утверждал, что «выступления Карамзина служили укреплению самодержавно-крепостнического строя…». И.А. Кудрявцев в «Советской исторической энциклопедии» полагал, что он «защищал незыблемость самодержавия и необходимость сохранения крепостных отношений», и все[5]. В «Очерках русской культуры XVIII в.» (1988 г.) М.Т. Белявский и Л.Г. Кислягина указывали, что, «оставаясь сторонником крепостного права», Карамзин «высказывался за необходимость его смягчения, гуманности в отношении крестьян», «изображал русских крестьян в чувствительно-сентиментальном духе, в образе идиллических пастушков, а помещика представлял заботливым «отцом своих крестьян», что соответствовало идее о том, «что крепостное право само по себе — не зло, что оно может быть основой благополучия крестьян, особенно если помещик просвещен и гуманен»[6]. Авторы энциклопедии 1990-х гг. «Отечественная история» отмечали, что Карамзин «доказывал, что прежде чем реформировать Россию, ее нужно знать», что просвещение народа важнее административной стройности, столь любезной «систематическим умам»; он считал, что Россия не созрела для отмены крепостного права, и был убежден в том, что к свободе «надобно говорить исправлением нравственным». По словам А.Л. Шапиро, «сочувствие обездоленным массам» у Карамзина «совмещалось с твердой уверенностью в необходимости сохранения богатства и привилегий дворянства», а его «сентиментализм» был не только литературным жанром, но и «в определенном смысле, политической идеологией». А А.Ю. Минаков в энциклопедическом издании 2000-х гг. не дал никакой оценки данному сюжету, отметив лишь, что в «Записке» 1811 г. «содержались классические принципы русского консерватизма», цитируя формулу Карамзина: «… для твердости бытия государственного безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу»[7].

Особой позиции придерживался В.В. Леонтович, рассматривавший творения Карамзина в рамках либеральной (хотя и монархической) идеологии. Так, при анализе «Похвального слова Екатерине II» 1802 г., которое исследователь рассматривал в качестве позитивной программы для ее внука, Карамзин нахваливал мысли императрицы о предоставлении владельческим крестьянам в ближайшее время права земельной собственности. При этом признавая, что Карамзин был про-

тив освобождения крестьян, автор указывал на то, что он был еще в большей степени «против освобождения дворян от их многочисленных обязанностей как помещиков», так как в подобных случаях освобожденные (без земли) крестьяне окажутся неминуемо в кабале у чиновников. Отсюда следовал вывод историка, что «неверно поэтому толковать Карамзина в том смысле, что он просто стоял за увековечивание крепостного права», просто грядущее освобождение должно было произойти в новых исторических условиях[8].

Ясно, что Карамзин был на протяжении своей жизни противником освобождения владельческих крестьян, что явствует, например, из его статей в «Вестнике Европы» (который он издавал в начале XIX в.): «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени» 1802 г., «Письмо сельского жителя» 1803 г., «Добрый помещик» 1807 г. и «Записки о древней и новой России» 1811 г., причем первые три статьи были опубликованы и известны всей России. Так, в первой из них Карамзин писал, что «сельское трудолюбие награждается ныне щедрее прежнего в России, и чужестранные писатели, которые беспрестанно кричат, что земледельцы у нас несчастливы, удивились бы, если бы они могли видеть их возрастающую промышленность и богатство многих; видеть так называемых рабов, входящих в самые торговые предприятия, имеющих доверенность купечества и свято исполняющих свои коммерческие обязательства! Просвещение истребляет злоупотребление господской власти, которая и по самым нашим законам не есть тиранская и неограниченная. Российский дворянин дает нужную землю крестьянам своим, бывает их защитником в гражданских отношениях, помощником в бедствиях случая и Натуры: вот его обязанности! За то он требует от них половины рабочих дней в неделе: вот его право!»

В статье 1803 г. говорилось об отрицательном опыте руководства имением издалека. Изложение в ней ведется от первого лица: «Сделавшись рано господином изрядного имения и будучи, смею сказать, напитан духом филантропических авторов, т.е. ненавистию к злоупотреблениям власти, я желал быть заочно благодетелем поселян моих: отдал им всю землю, довольствовался самым умеренным оброком, не хотел иметь в деревне ни управителя, ни прикащика, которые нередко бывают хуже самых худых господ», но после своего возвращения в деревню обнаружил в ней «бедность, поля, весьма худо обработанные, житницы пустые, хижины гниющие!.. Воля, мною им данная, обратилась для них в величайшее зло; то есть вволю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства…». Пришлось ему самому бороться с крестьянскими пороками. «Я возобновил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но вой-

ну не кровопролитную; вместе с ними, на полях, встречал и провожал солнце; хотел, чтобы они и для себя так же старательно трудились, вовремя пахали и сеяли; требовал от них строгого отчета и в нерабочих днях; перестроил всю деревню самым удобнейшим образом; ввел по возможности опрятность, чистоту в их избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья». Таким образом, его крестьяне «сделались зажиточными; имеют хлеб, лошадей, скотоводство и надежду быть со временем сельскими богачами». Отметив свои заслуги в деле восстановления порядка и зажиточности крестьян, автор статьи указал, что «иностранные путешественники, видя в России беспечную леность крестьянина, обыкновенно приписывают ее так называемому рабству. “Как ему охотно трудиться (говорят сии господа), когда помещик может всегда отнять у него имущество?” Но смею уверить их, что такая философия никогда не входила в голову нашим земледельцам: они ленивы от природы, от навыка, от незнания выгод трудолюбия. Какой господин, в самом деле, отнимает у крестьян хлеб, лошадей и другую собственность? И разве нет между ними богатых и промышленных?.. С некоторого времени хлебопашество во всех губерниях приходит в лучшее состояние: от чего же? От старания помещиков…». Все это выглядит, по меньшей мере, наивно, но Карамзин вполне осознанно рисовал ту идиллическую картину взаимоотношений помещиков и крепостных, которую ему хотелось видеть в России.

Статья 1807 г. продолжала эту линию: «Всякий помещик прежде должен позаботиться о людях, потом уже о земле и скотине, — прежде о выгодах крестьян, потом о своих доходах. Главнейшее богатство и больших государств, и малых владений помещичьих состоит в многолюдстве. Как попечительный Монарх заботится о населении земли своей; равным образом помещик должен стараться об умножении числа своих подданных. Не корысть только предписывает нам к тому способы, но и долг человеколюбия». Автор передавал читателю подробности беседы с неким полковником, хозяином образцовой экономии. «Наши дворяне были бы гораздо счастливее и богаче, — сказал Полковник, — когда бы помнили, что крестьяне их точно такие люди, как и они сами». «Сомневаюсь, — отвечал я, — чтобы в наше время были еще такие помещики, которые не знали бы различия между крестьянами их и скотами». «О мнениях людей, — сказал Полковник, — судить должно по их поступкам: я никак не могу поверить, чтобы тот почитал своего крестьянина человеком, кто обходится с ним, как с бессловесным животным. Если ж я и ошибаюсь, если злые помещики знают, что крестьяне их такие же люди, то чем извинят они свою жестокость. Не мне дело входить в исследование, должно ли, можно ли и какими средствами можно обеспечить состояние поселян и оградить их безопасность от

своевольных притеснений… Простаковы и подобные им пускай себе вопиют, что у них отнимают право побить крестьянина, когда захочется; слава и благоденствие отечества не зависят от Простаковых. Попечительное наше Правительство… уже обратило внимание свое и на сию часть государственного устройства, и состояние свободных земледельцев есть первый и важнейший плод мудрых начинаний. Злые помещики заставляют крестьян быть злыми. Угнетаемый крестьянин ненавидит господина своего, ибо почитает его орудием своего несчастия. При таком взаимном расположении какого можно ожидать усердия, какого доброхотства. Помещик, презирающий крестьянина, не печется о его благоденствии; крестьянин, ненавидящий помещика, работает ему принужденно. Вот источник многих беспорядков, опасных для целого государства… Не одно человеколюбие, но и собственная польза должны бы заставить нас хорошо обходиться с крестьянами». При этом рачительный хозяин замечал, что «в обогащении крестьян должно знать меру. Излишнее богатство неприлично их состоянию, и помещик худо делает, ежели сам разоряется, желая доставить им ненужное изобилие. Но не должно разорять и крестьянина, когда он трудами своими наживет более, нежели сколько иметь ему нужно… Чем более зажиточен крестьянин, тем более чести помещику, который всегда имеет в руках способы предотвратить злоупотребление богатства. Защитники излишней строгости говорят, что с крестьянами не надобно поступать ласково, будто бы потому, что грубые люди сии нечувствительны, что имеют врожденную ненависть к господину, и что при малейшем послаблении готовы сбросить ярем зависимости. Кто виноват, что крестьяне грубы, нечувствительны, упрямы, недоброхотны? Злые помещики». Дальнейшие замечания Карамзина напоминают выдержки из Д.И. Фонвизина и Н.И. Новикова: «Многие господчики, выросшие под развратным надзором иностранцев… присягнули в душе своей… унижать род свой, смиряться перед… зарейнскими нелепостями и… поносить все Русское. Они говорят, что с Русским человеком без дубины обойтись никак не можно, и что Русский мужик и ленив, и глуп. К счастью крестьян, сии господа недолго бывают помещиками…».

Мы ограничимся лишь этими примерами, так как они дают нам представление о том, что крестьяне, по мнению Карамзина, еще не были готовы получить свободу, да и общество в целом тоже не созрело для этого. Что же касалось смягчения крепостничества, его крайностей, то, видимо, Карамзин был настроен против этих злоупотреблений. Так, в «Записке» 1811 г. он говорил о необходимости в хороших губернаторах, исполняющих хотя бы те законы, что имелись и, видимо, были достаточны для обуздания жестоких помещиков. В ряде публикаций, рисуя светлыми красками взаимоотношения добрых помещиков и

крепостных, он указывал, что «для истинного благополучия земледельцев наших желаю единственно того, чтобы они имели добрых господ и средство просвещения, которое одно, одно сделает все хорошее возможным», одновременно сетуя на то, что Россия не находится еще «на высочайшей ступени блага и совершенства», что просвещение еще не истребило «злоупотребление господской власти, которая и по самым нашим законам не есть тираническая и неограниченная». Об этом же говорили и герои его статей в «Вестнике Европы» в те годы, когда он его издавал[9].

Главное же заключалось, по нашему мнению, в том, что карамзинская (и людей его круга, таких как И.И. Дмитриев, В.А. Жуковский и др.) проповедь просвещения (и самоусовершенствования для достижения рисуемых ими идеалов дворянина-помещика) в тогдашних литературных журналах и альманахах (в меньшей степени это касалось его исторических трудов), очевидно, споспешествовала, как тогда говорили, смягчению нравов (вне зависимости от субъективных построений автора). Судя по всему, она также способствовала появлению в начале XIX в. вышеупомянутого чувства «стыда» за владение крепостными рабами у просвещенного дворянства, подталкивавшего их к изменению отношений с крепостными. С нашей точки зрения, именно в этом состоял, скажем так, «прогрессивный» характер его произведений в данной сфере. В сущности, Карамзин, не будучи сам сторонником эмансипации крепостных, стоял у истоков создания нужного для нее общественного мнения, готовил то поколение «просвещенной бюрократии», которое со временем займется подготовкой крестьянского освобождения.

Примечания

[1] *Вайль П., Генис А.* Родная речь: Уроки изящной словесности. М., 2011. С. 15—24; *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 232.

[2] *Погодин М.П.* Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников: Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями. Т. 1—2. М., 1866; *Сиповский В.В.* Н.М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899; *Гуковский Г.А.* Карамзин // История русской литературы. Т. 5. М.; Л., 1941; *Кислягина Л.Г.* Формирование общественно-политических взглядов Н.М. Карамзина (1785—1803 гг.). М., 1976; *Эйдельман Н.Я.* Последний летописец. М., 1983; и др.

[3] *Акульшин П.В.* П.А. Вяземский. Власть и общество в дореформенной России. М., 2001. С. 123. См. также: *Долгих А.Н.* «Как люди ни развратны, но внутренне не могут уважать развратных»: Н.М. Карамзин и крестьянский вопрос в России // Вопросы сохранения исторического наследия: К 250-летию со дня рождения выдающегося русского историка Н.М. Карамзина и 200-летию начала выхода его «Истории государства Российского». Материалы научной конференции по проблемам гуманитарных наук. Липецк, 9—10 октября 2015 г. Липецк, 2015. С. 19—28.

[4] См.: *Долгих А.Н.* Консерватизм, либерализм и крестьянский вопрос в общественно-политической мысли России на рубеже XVIII—XIX веков // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал. Тамбов, 2015. № 2 (52): В 3 ч. Ч. II. С. 70—73.

[5] Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. Т. 3. М., 1966. Стб. 395; Советская историческая энциклопедия: в 14 т. Т. 7. М., 1965. Стб. 18.

[6] *Белявский М.Т., Кислягина Л.Г.* Общественно-политическая мысль // Очерки русской культуры XVIII века: Ч. 3: Наука. Общественная мысль / Под ред. акад. Б.А. Рыбакова. М., 1988. С. 3. М., 1988. С. 210.

[7] Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года: Энциклопедия: В 5 т. Т. 2. М., 1996. С. 499; *Шапиро А.Л.* Русская историография с древнейших времен до 1917 г. Учебное пособие. 2-е изд. М., 1993. С. 297; Общественная мысль России XVIII — начала XX века: Энциклопедия. М., 2005. С. 194.

[8] См.: *Леонтович В.В.* История либерализма в России. 1762—1914 / Пер. с нем. И. Иловайской. М., 1995. С. 98—107; Крестьянский вопрос в России в конце XVIII — первой четверти XIX веков: власть и общество. Сборник документов: В 4 т. Липецк, 2008. Т. I. С. 193—319 (тексты); Т. IV. С. 161 (коммент.).

[9] Крестьянский вопрос… Т. I. С. 245—246, 250—252, 256—258, 296; Т. IV. С. 161—165; *Шапиро А.Л.* Указ. соч. С. 296—297.

Е.К. Беспалова

Неизвестный автограф Н.М. Карамзина «Краткая записка о городах для ПУТЕШЕСТВЕННИКА из Царского Села на восток России»

В процессе изучения эпистолярного наследия Н.М. Карамзина в Государственном архиве Российской Федерации (далее ГА РФ) был обнаружен архивный документ «Краткая записка о городах для ПУТЕШЕСТВЕННИКА из Царского Села на восток России», датированный 15 августа 1824 г.[1] Поскольку все буквы в слове «ПУТЕШЕСТВЕННИК» прописные, то это дает право утверждать, что «Краткая записка о городах» предназначалась для императора Александра I, который собирался летом 1824 г. отправиться в поездку по России. Однако в опись личного фонда, где хранятся документы Александра I, эта «Записка» занесена без указания автора, а рядом с ее названием имеется приписка — «Литературные произведения разных авторов». Однако, почерк автографа и анализ содержания не оставляют сомнений в ее принадлежности перу Н.М. Карамзина.

Подтверждение авторства Карамзина находится в его письме от 4 сентября 1824 г. к ближайшему другу И.И. Дмитриеву, в котором он сообщал: «Я, кажется, сказал тебе, что Государь принял от меня краткую историческую Записку о городах, которые Он теперь видит: в десяти строках о Симбирске не забыл я нашего славного Белого Ключа, ни столетнего Елисея Кашинцова, звонившего в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего гребцом на лодке Петра Великого, когда он плыл в Астрахань, начиная войну Персидскую»[2].

Подобное свидетельство об авторстве Карамзина «Краткой записки о городах» имеется в неопубликованном письме К.С. Сербиновича к М.П. Погодину, которое хранится в фонде последнего в рукописном отделе Российской государственной библиотеки.

В 1865 г. известный историк М.П. Погодин в преддверии 100-летней годовщины со дня рождения российского историографа готовил труд «Н.М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников» (М., 1866). За содействием и советами он обращался к К.С. Сербиновичу, так как тот в последние годы жизни Карамзина был тесно с ним связан: часто бывал в его доме, переводил, делал выписки из книг,

журналов для «Истории государства Российского» и выполнял другие поручения.

В письме от 25 июня 1865 г. Сербинович сообщил Погодину, что о «Записке, писанной для императора Александра Павловича о городах по маршруту его пути», он «некогда слышал от князя Ал<ександа> Федоровича Голицына[3]», который на время ее получил от Николая Петровича Новосильцева. Сербинович пытался ее разыскать и для этого обращался к семейству Карамзина, но в бумагах историографа «ничего не нашли»[4].

«Краткая записка о городах» по формату представляет собой обыкновенную ученическую тетрадь, на 55 страницах которой Карамзин предоставил императору общие сведения о 30 городах, через которые лежал его путь. В ней имеются сведения о Ржеве, Старице, Волоколамске, Можайске, Кашире, Зарайске, Рязани, Тамбове, Пензе, Симбирске, Самаре, Оренбурге, Уфе, Екатеринбурге, Перми, Вятке, Вологде и других городах по маршруту от Порхова до Тихвина. О каждом городе Карамзин приводил общие сведения: вначале он указывал, когда и кем были они основаны, приводил некоторые исторические сведения о них и отмечал их достопримечательности. Кроме того, Карамзин обращал внимание Александра I на природные и географические условия, особенности торговли, упоминал об устраиваемых в этих местах ярмарках, писал о численности населения и его структуре и давал прочие сведения. При этом автор выделял подчеркиванием некоторые слова и географические названия, на которые хотел обратить внимание человека, которому эта «Записка» предназначалась. Иногда Карамзин вводил в текст квадратные скобки: ими он пользовался в тех случаях, когда собирался пояснить некоторые слова и понятия, характерные и распространенные в той или иной местности.

Знакомясь с «Краткой запиской о городах», можно заметить, что Карамзин в письме Дмитриеву «слукавил», говоря о десяти строках, в которых он описал свой родной город. В реальности он посвятил описанию Симбирска четыре страницы. Это самое объемное и эмоциональное представление города, поскольку в нем явно проступает личностное отношение к описываемому объекту.

О Симбирске в «Записке» сказано, что город «построен в 1648 году боярином и Оружничим Хитровым. Жителей около 6000. Главный торг купцов хлебом и рыбьим клеем. <…> Множество садов на скатах высокого берега Волги; множество яблок, груш, слив и проч. Местоположение прекрасное: с одной стороны Волга, шириною в две версты, а с другой Свияга; между ими город <...> вокруг города места степные; недостаток в лесе».

Далее Карамзин рассказывает о симбирском обществе в царствование Екатерины II, указывая, что «знал многих людей, истинно благо-

родных, умных и нравственных, хотя большею частию и малочиновных, которые составляли приятное общество: они почти все в могиле». Здесь Карамзин в нескольких словах повторяет характеристику симбирского общества и окружения своего отца, данную им в автобиографическом произведении «Рыцарь нашего времени». Затем автор «Записки» возвращается к Петру I, называя его «Великим», повторяя изложенные в письме к Дмитриеву сведения относительно «столетнего купца Елисея Кашинцова, бывшего гребцом на государевой лодке». Карамзин упоминает и местечко в 10-ти верстах от Симбирска — «Белый ключ», называемое так по ключу, который и по настоящее время знаменит своей водой, которую пила Екатерина II будучи в Симбирске в 1767 г.

Но самое примечательное место из описания Симбирска заключается в следующих словах: «*Там я родился и провел детство; там имел свое поместье мой прадед, Царский Стольник, и дед, который умер в службе полковником: Петр Великий знал его и был к нему милостив*»[5].

Именно эти слова решают один из спорных эпизодов в биографии Карамзина — вопрос о месте его рождения. До недавнего времени, пока не была обнаружена «Краткая записка о городах», существовал только один источник, в котором Карамзин сам называет место своего рождения. Этим источником является автобиографическая записка, собственноручно написанная Карамзиным в 1805 г. по просьбе митрополита Евгения Болховитинова (1767—1837) для его «Нового опыта исторического словаря о российских писателях», которая была напечатана в декабрьской книжке журнала «Друг Просвещения» за 1806 г.

В автобиографии историографа сказано: «*Надворный советник Николай Михайлов сын Карамзин родился 1 декабря 1766 года в Симбирской губернии…*»[6]. Карамзин, однако, не указал, где именно в Симбирской губернии он родился. Эта недосказанность и послужила основанием весьма вольного толкования этого эпизода его биографии и дала толчок к спору двух губерний — Симбирской и Оренбургской — о праве называться родиной Карамзина. Дискуссия между исследователями творчества Н.М. Карамзина о месте его рождения продолжается и до сих пор[7].

Но для автора данной статьи такого вопроса не существует — для нас был и остается незыблемым факт признания Карамзиным местом своего рождения Симбирской губернии, высказанный им в автобиографии и повторенный в «Краткой записке о городах».

Карамзин в анализируемой «Записке о городах» дает описание уездного города Симбирской губернии Карсуна, о котором сказано, что он «старее Симбирска и был казанским пригородком. Известен своею ярманкою, которая начинается с Троицына дня и продолжается дней десять. *Я видел ее в моем ребячестве и дивился ея движению*»[8].

В приведенном отрывке Карамзин, относя город Карсун к «казанскому пригородку», имеет в виду то деление России на восемь губерний, которое в 1708 г. ввел Петр I. Тогда Симбирск вместе с десятью пригородами (в том числе и Карсуном) образовывали Симбирскую провинцию, входящую в состав Казанской губернии. Самостоятельное Симбирское наместничество было открыто 27 декабря 1780 г. по изданному 7 ноября 1775 г. императрицей Екатериной II закону об «Учреждении для управления губерний Всероссийской империи».

На страницах «Краткой записки о городах» Карамзин буквально в нескольких словах написал о своих ближайших предках по прямой линии: прадеде Петре Васильевиче и дедушке Егоре Петровиче Карамзиных. Упоминая первого, он лишь сообщил императору, что он «Царский Стольник». Возможно, Н.М. Карамзину не были известны подробности жизни прадеда, как, впрочем, и о других своих предках он имел весьма смутное представление, хотя у него имелись «Копия со справки разрядного архива, учиненная по прошению порутчика Николая Михайлова сына Карамзина», выданная ему 21 октября 1799 г. из дела Герольдмейстерской конторы[9], а также справка из Вотчинного Департамента об имениях, пожалованных его предкам[10].

Имя П.В. Карамзина впервые встречается среди «стряпчих» в «жилецком списке 7200 (1692) году» по Москве среди «жильцов [несущих] полковые службы, и которые служат в начальных людях, и в гусарах, и в копейщиках, и в рейтарах, и в иных чинах»[11]. Согласно справке из Вотчинного Департамента, П.В. Карамзин много послужил отечеству: его имя не раз встречается в числе награжденных поместным окладом «за чигиринскую службу» (1676 и 1677), «за киевскую» (1679 и 1680), «для вечного миру с Польским королем» (1686), «за службу крымского походу» (1687)[12].

Н.М. Карамзин ошибался, написав, что прадед имел в Симбирском уезде свое поместье; поместье имел его сын — Егор Петрович (1669—1762). Документы свидетельствуют, что 18 января 1703 г. симбирский помещик Иван Фадеевич Суровцов по-родственному «отказал» Е.П. Карамзину участок земли в «100 четвертей в поле, а в двух потому ж» «в Синбирском уезде вверх речки Гущи и по речке Космынке и Каменке»[13], на котором дед историографа и основал село Знаменское (Карамзино тож).

В опубликованной А.А. Сиверсом поколенной росписи имеются сведения, что «1722 г. февраля 21 майор Егор Петров сын Карамзин, 54 лет, крестьян в Нижегородском и Синбирском уездах 16 дворов; детей у него нет; для свидетельства ранга отослан из Сената в Военную Коллегию без смотра, а по ведомости из той же Коллегии определен в Ландмилицкие полки»[14].

С приведенными сведениями о Е.П. Карамзине тесным образом связаны события истории России первой трети XVIII в. — проведение второго этапа ландмилицкой реформы 1722 и 1723 гг. Этот этап был связан с кризисом в русско-турецких отношениях, вызванным Персидским походом Петра I, чуть было не приведшим к войне и потребовавшим срочных мероприятий по укреплению южных границ России. Указом 4 апреля 1723 г. Петр I предписал перейти к созданию первых шести украинских ландмилицких полков, более дешевых, чем регулярные полевые части[15].

Ландмилиция представляла собой особый вид иррегулярных или полурегулярных военных формирований, поселенных на определенной территории для охраны своих рубежей. Введенная Петром I в 1713 г. ландмилиция решала две задачи: организовывала охрану границ и урегулировала правовое положение однодворцев и беднейших дворян, так как поступившие на службу в ландмилицию обеспечивались земельным жалованием. Возможно, из-за своей бедности Е.П. Карамзин в свои 54 года поступил в ландмилицкий Севский полк (или полк полковника Е.П. Карамзина). Служа в нем, он в 1727 г. получил чин полковника, после чего 1 января 1733 г. вышел в отставку[16]. Вероятно, где-то на южных границах России ему посчастливилось встретиться с царем-реформатором и зарекомендовать себя так, что его внук мог написать Александру I о своем дедушке: «Петр Великий знал его и был к нему милостив».

Н.М. Карамзин в анализируемой «Записке о городах» заключает описание Симбирска абзацем, в котором он, обращаясь к императору, пишет: «Однажды я говорил Вам о впечатлении, сделанном во мне видом природы, истинно азиатской, за Волгою, на пути из Симбирска к Бузулуку: луга, лес, поля имеют в себе нечто особенное, свежее, тучное, далее степи, покрытые сребристом ковылем и дикою спаржею, называемою перекати поле; равнины унылые, где-где холмики и так называемые сырты [или возвышения земли к рекам]; и где дикие вишневые сады, то есть, поляны, заросшие высокими кустами, производящими крупную вишню; везде знаки населения еще нового. Ныне умножением числа жителей, следы сей дикости изглаживаются более и более»[17].

В этих словах Карамзин рассказывает о «дикости» мест, которые встречаются по дороге из Симбирска к Бузулуку, в 50-ти верстах от которого находилась деревня Михайловка (Преображенское), считавшаяся П.П. Пекарским[18] и некоторыми современными сторонниками оренбургской версии местом рождения Н.М. Карамзина.

Тема «дикости» мест еще более раскрывается Карамзиным в описании Оренбурга: «<…> Строителем города был Действительный тайный советник Ив. Ив. Неплюев: отец мой тогда служил при нем и много рассказывал своим детям о трудностях и даже опасностях сего строения.

Киргизцы разбойничали, Башкирцы бунтовали; наконец все смирилось, и Неплюев видел там уже цветущую торговлю с востоком <…>»[19].

М.Е. Карамзин (после 1722—1781) службу свою проходил с 1742 г. в Оренбургском гарнизоне в Пензенском полку при талантливейшем государственном деятеле, ученике и последователе Петра I И.И. Неплюеве (1693—1773). Известно, что Михаил Егорович 18 августа 1749 г. был произведен в низший офицерский чин прапорщика, 6 марта 1757 г. ему был присвоен чин поручика, а 27 января 1763 г. вышел в отставку в чине капитана. Так выглядит более чем скромный послужной список М.Е. Карамзина, который он начал с солдата и дослужился до капитана[20].

Самым примечательным в биографии М.Е. Карамзина является его участие в процессе освоения больших пространств плодородных, но необжитых и малонаселенных земель Оренбуржья. С этой целью дворянам, назначаемым на гражданскую и военную службу в крае, предоставлялись льготы на приобретение земли путем правительственных пожалований. 14 июля 1752 г. указом Оренбургской губернской канцелярии М.Е. Карамзину было отведено 50 четвертей земли, на которой им была образована деревня «Карамзина». Этой привилегией также воспользовались и некоторые другие его сослуживцы (Ляхов, Путилов, Кудрявцев, Толстой и др.), которые обосновали на полученных землях в непосредственной близости от М.Е. Карамзина свои имения, заселив их крепостными крестьянами, переведенными из Симбирского, Казанского, Пензенского и других уездов.

Отставка М.Е. Карамзина была связана с его болезнью и кончиной в январе 1763 г. его отца Егора Петровича. Осенью 1762 г. М.Е. Карамзин покинул Оренбуржье и уехал на родину, поскольку уже 2 ноября 1762 г. он покупает у поручика Фаддея Григорьевича Суровцова в Симбирском уезде в селе Богородском (Елшанка) сенные покосы. А 10 февраля 1763 г. он и его мать (к этому времени вдова) Екатерина Петровна «просили справить за ними имение Егора Карамзина»[21] — село Знаменское. Таким образом, это село по наследству перешло к отцу Н.М. Карамзина, где через три года родился будущий историограф.

В «Записке о городах» Н.М. Карамзин, описывая Симбирск, признается: *«здесь я родился и провел детство»*. Эта фраза может несколько насторожить исследователей биографии Карамзина, которые могут трактовать его слова в буквальном смысле. Но для доказательства признания Карамзиным местом своего рождения Симбирской губернии можно привести слова казанского литератора Г.П. Каменева (1772—1803), высказанные в письме к своему другу, поэту и переводчику С.А. Москотильникову (1768—1852). Молодой человек, в ноябре 1799 г. посетивший в Москве Н.М. Карамзина, передавал в письме в Казань свой разговор с ним: «На вопрос мой Г<осподину> Карамзину, где и

каким образом усовершенствовал он себя в Российском языке, отвечал он мне следующее: родившись в деревне, воспитывался я в Симбирске, ходил в пансион и читал много книг русских. Приехавши в Москву, учился в доме профессора Шадена немецкому и французскому языкам, начал переводить, сочинять, и к счастью познакомился с [Александром Андреевичем — *Е.Б.*] Петровым (молодым человеком, которого под именем Агатона оплакивал)»[22].

В своем ответе поэту Каменеву Н.М. Карамзин кратко очерчивает раннюю свою биографию, называя только два города: Симбирск и Москву, с которыми он связывает основные вехи своей жизни, оказавшиеся важными в становлении его как писателя, поэта, переводчика и издателя. Здесь он недвусмысленно признается, что «родился в деревне», имея в виду именно Симбирскую губернию. Если бы он хотел назвать с. Михайловку Оренбургской губернии, то ему бы нужно было указать территориальное и административное положение этого села.

В заключение следует заметить, что «Краткая записка о городах» продолжает литературно-публицистические традиции Карамзина по написанию им, говоря современным языком, «путеводителей». Вспомним его статьи, опубликованные в «Вестнике Европы»: «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» (1802), «О Московском мятеже в царствование Алексея Михайловича» (1803), а также «Записку о Московских достопамятностях». Последнюю упоминаемую «Записку» Карамзин написал в 1817 г. по желанию «некоторой особы» — императрицы Мария Феодоровны, которая отправлялась на зиму из Царского Села в Москву. В ней Карамзин описывает сначала прежнюю историю Москвы, потом все ее достопримечательности и окрестности.

Последним подобным опытом, согласно свидетельству К.С. Сербиновича, высказанном в неопубликованном письме М.П. Погодину в 1860-х гг., явилось составление записки о Таганроге, содержащей исторические сведения об этом городе. Записка предназначалась для императрицы Елизаветы Алексеевны, которая в августе 1825 г. отправлялась в поездку в этот город. Сербинович свидетельствовал Погодину, что «когда состоялось предположение, что Императрица Елизавета Алексеевна проведет зиму в Таганроге, Николай Михайлович начал собирать для нее об этом городе исторические сведения. Находясь тогда (в августе месяце) еще в Царском Селе, он поручал [Сербиновичу — *Е.Б.*] присылать к нему из его городской библиотеки те книги, в которых полагал найти что-либо о Таганроге <…>, и сверх того по его же поручению деланы были, под руководством А.И. Ермолаева, выписки о том же предмете в Императорской Публичной Библиотеке из путешествий наших академиков Екатерининского времени»[23]. Пока эта записка о Таганроге не обнаружена, но имеются предположения, где она может находиться.

Примечания

[1] ГА РФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 34. Л. 1—55.
[2] *Карамзин Н.М.* Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву / Изд. Я. Грота и П.П. Пекарского. СПб., 1866. С. 377—378.
[3] А.Ф. Голицын (1796—1864) — член Государственного совета, статс-секретарь и управляющий Комиссией прошений.
[4] Письма К.С. Сербиновича М.П. Погодину о Карамзине // РО РГБ. Ф. 231/III. К. 29. Д. 68 а. Л. 21 об.
[5] ГА РФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 34. Л. 29. Курсив наш. — *Е.Б.*
[6] *Карамзин Н.М.* Автобиография. Факсимиле // ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 811. Л. 2—2 об.
[7] Некоторые биографы местом рождения Н.М. Карамзина называют с. Михайловку (Преображенское) Бузулукского уезда Оренбургской губернии. Большинство же считает, что он родился в с. Знаменском (Карамзино) Симбирской губернии (ныне с. Карамзинка Майнского р-на Ульяновской обл.). Имеются и такие исследователи, которые считают местом рождения губернский город Симбирск.
[8] ГА РФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 34. Л. 27. Курсив наш. — *Е.Б.*
[9] О внесении герба рода Карамзиных в Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи // РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1270. Л. 4—7 об.
[10] ИРЛИ. Ф. Р II. Оп. 1. Д. 139. Л. 9—18.
[11] РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1270. Л. 7.
[12] ИРЛИ. Ф. Р II. Оп. 1. Д. 139. Л. 11 об.
[13] *Сиверс А.А.* Генеалогические разведки. Вып. 1. СПб., 1913. С. 142.
[14] Там же. С. 142.
[15] *Бескровный Л.Г.* Русская армия и флот в XVIII в. М., 1958. С. 60.
[16] РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1270. Л. 7 об.
[17] ГА РФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 34. Л. 29—31. Выделение подчеркиванием и вставки в квадратных скобках — в автографе.
[18] *Пекарский П.П.* Старинное известие об имении Карамзиных: село Михайловка-Преображенское // Письма Н.М. Карамзина к И.И. Дмитриеву… С. 451—457.
[19] ГА РФ. Ф. 679. Оп. 1. Д. 34. Л. 34—35.
[20] *Сиверс А.А.* Указ. соч. С. 51.
[21] Там же. С. 143.
[22] *Второв Н.И.* Г.П. Каменев (посвящается С.А. Москотильникову) / Вчера и сегодня. Литературный сборник, составл. гр. В.А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным. Кн. 1. СПб., 1845. С. 58.
[23] *Сербинович К.С.* Материалы к биографии Н.М. Карамзина [1865—1866 гг.] // РО РГБ. Ф. 231/III. К. 22. Д. 23. Л. 2

А.К. Афанасьев

Автографы Н.М. Карамзина и рукописи его сочинений в ОПИ ГИМ

Как ни странно, но автографов великого (без преувеличения) историка Николая Михайловича Карамзина сохранилось сравнительно немного. На сегодняшний день самым полным справочником об имеющихся в российских архивах материалах отечественных историков является подготовленное сотрудниками Археографической комиссии РАН фундаментальное многотомное издание: «Каталог личных архивных фондов отечественных историков», который издается с 1991 г. В одном из выпусков этого издания указаны шесть архивохранилищ России, в которых имеются фонды или материалы Н.М. Карамзина: РГИА, РГАЛИ, ГА Автономной республики Крым, ОР РГБ, ОР РНБ и Отдела рукописных фондов ГЛМ[1]. Согласно помещенным во втором выпуске этого издания сведениям, во всех вышеперечисленных архивохранилищах имеется в общей сложности 115 подлинных писем Карамзина. Больше всего их хранится в ОР РНБ — 44 письма.

К сожалению, в это издание не вошла информация о материалах, имеющихся в ОПИ ГИМ, так как в 1990 г. начался капитальный ремонт Исторического музея, который затянулся на два десятилетия. Данная статья призвана восполнить образовавшийся информационный пробел об архивных материалах Н.М. Карамзина. А их в ОПИ немало: одних только автографов писем историка насчитывается 57, т.е. больше, чем в ОР РНБ. Причем 32 письма не были опубликованы вплоть до 1990-х гг.

В 1991 г. отмечался 225-летний юбилей историка. В Государственном историческом музее состоялись посвященные этому событию научные чтения, на которых автором этой статьи было сделано сообщение об имеющихся в ОПИ материалах Н.М. Карамзина. К сожалению, по условиям того времени, музею удалось издать лишь тезисы докладов на этих чтениях. Но вскоре были подготовлены к печати и опубликованы все хранящиеся в ГИМе собственноручные письма и записки Карамзина[2].

В течение последних 25 лет в процессе описания коллекций и личных архивных фондов в ОПИ выявлены дополнительные сведения о жизни и деятельности Карамзина, однако новых автографов среди них обнаружено не было.

Хранящиеся в ОПИ ГИМ материалы историка можно разделить на три группы: 1) автографы Н.М. Карамзина, 2) списки его произведений и 3) различные материалы о его жизни и творчестве. Поскольку в одной статье невозможно отразить их все, ограничимся автографами и одним из прижизненных списков его произведений.

Разумеется, наибольший интерес и ценность представляют сохранившиеся у нас автографы писем Карамзина за 1806—1825 гг.

Надо заметить, что почерк Карамзина довольно труден для прочтения. Его особенностью является прямой строй письма с небольшим левым наклоном. Это было свойственно и почерку его шурина, П.А. Вяземского, детство которого проходило рядом со знаменитым историком и писателем. Послания Карамзина друзьям, родственникам и знакомым написаны им в этот период крупно, черными чернилами при сильном нажатии пера. Это обусловлено слабым зрением автора в последние десятилетия жизни. На многих письмах сохранились оттиски личной печати Карамзина с дворянским гербом на красном сургуче. Некоторые письма имеют почтовые штемпели, позволившие определить их даты и места отправки, когда они не были указаны автором.

Все имеющиеся у нас письма — исключительно на русском языке. Историк свободно владел европейскими языками, но в этот период в письмах и разговоре с соотечественниками предпочитал родной язык. Другими языками он пользовался при общении с иностранцами или с теми из сограждан, кто плохо знал русский. Упорное нежелание следовать прочно установившейся в его время моде на французский язык четко прослеживается в письме княжны Е.А. Вяземской (сводной сестры его жены) к Я.И. Лобанову-Ростовскому. После написанных ею двух страниц французского текста находится приписка Карамзина, сделанная по-русски. Отметим, в ряде русских писем историка имеются приписки его жены или дочерей на французском языке.

Местами отправки писем Карамзина были: Москва, Остафьево, Тверь, Нижний Новгород, Царское Село и Петербург. Их адресатами были 14 человек. Не имея возможности для анализа всех писем, расскажем о некоторых из них.

В первую очередь обратимся к тем адресатам, к которым имеется несколько писем Карамзина, составляющих иногда довольно приличные комплексы.

Самая большая группа писем (21 письмо) адресовалась супругам Михаилу Никитичу и Екатерине Федоровне Муравьевым, с которыми

Карамзина связывала многолетняя дружба. Наиболее раннее из этих писем (от 20 апреля 1806 г.) было отправлено М.Н. Муравьеву — поэту и писателю, товарищу министра народного просвещения, одному из самых образованных и культурных людей своего времени. Он был большим поклонником писательского таланта Карамзина и сыграл важную роль в его судьбе, сумев в 1803 г. выхлопотать для него у императора должность историографа. Это письмо поступило в ГИМ в 1940-е гг. из Центрального музея Революции СССР. Из него видно, что Муравьев помогал Карамзину получить доступ в архивы, присылал ему необходимые для работы редкие иностранные издания[3].

Следующие 20 писем были посланы Екатерине Федоровне Муравьевой — доброй, умной и энергичной женщине, неизменно оказывавшей семье Карамзиных большую поддержку. После смерти мужа в 1807 г. она поселилась в Москве и целиком посвятила себя воспитанию сыновей — Никиты и Александра, будущих декабристов. Карамзин был у них частым гостем и несомненно оказывал влияние на их воспитание. Особенно сблизились семьи Карамзиных и Муравьевых в 1812 г., когда перед оккупацией им пришлось покинуть Москву и поселиться в Нижнем Новгороде. После Отечественной войны Е.Ф. Муравьева с сыновьями переехала в Петербург, но дружба и переписка с Карамзиными продолжалась. В начале февраля 1816 г. Карамзин прибыл в столицу хлопотать об издании «Истории государства Российского» и почти два месяца жил у Муравьевых. 18 февраля он писал жене: «Милая хозяйка моя не изменяется в своих ласках. Вот истинная жена Михаила Никитича! Не мог я выбрать лучшего жилища, и это украсило для меня Петербург». Летом того же года семья Карамзиных переехала в столицу на год-два для издания первых томов «Истории», но как оказалось — навсегда. В 1818 г. Карамзины переехали к Е.Ф. Муравьевой и прожили в ее доме пять лет. В письме от 28 ноября этого года Карамзин сообщал А.Ф. Малиновскому: «Домом, а особливо любезнейшею хозяйкою, не можем нахвалиться: она в Петербурге едва ли не всех ближе к нашему сердцу». Этот дом был одним из культурных центров столицы. В нем часто бывали общие друзья и родственники Карамзиных и Муравьевых: поэты В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский, братья А.И. и Н.И. Тургеневы, будущий декабрист М.С. Лунин и его сестра Екатерина Сергеевна, которым Е.Ф. Муравьева заменила рано умершую мать. Не раз бывал здесь и молодой гений — А.С. Пушкин, которого Карамзин и его влиятельные друзья сумели спасти от грозившей ему в апреле 1820 г. ссылки в Сибирь или на Соловки.

Каждое лето Карамзины проводили в Царском Селе, откуда регулярно писали Е.Ф. Муравьевой. В этих письмах содержатся подробности о жизни семьи историка в императорской резиденции, отражено посто-

янное участие в судьбе сыновей Е.Ф. Муравьевой — «любезного Никиты Михайловича и веселого братца его» (Александра), к которым Карамзин относился с неизменной симпатией.

В семье Муравьевых эти письма бережно хранились и передавались из поколения в поколение. В 1860-х гг. они принадлежали правнуку Е.Ф. Муравьевой М.Л. Бибикову, с разрешения которого 17 писем были напечатаны в журнале «Русский архив».[4] Впоследствии письма Карамзина к Муравьевым оказались в собрании известных московских коллекционеров Чертковых, в составе которого были переданы в Исторический музей.

Второй по величине комплекс состоит из писем М.Н. Карамзина к другу и родственнику по жене Андрею Петровичу Оболенскому. Возможно, через его младших братьев, Василия и Александра Оболенских, бывших адъютантами принца Георгия Ольденбургского, Карамзин в 1810 г. познакомился с женой принца, любимой сестрой императора, великой княгиней Екатериной Павловной. Это знакомство для историка имело огромное значение. Екатерина Павловна, высоко ценившая писательский талант Карамзина и его исторический труд, представила его брату, Александру I, как своего друга, что значительно облегчило судьбу «Истории государства Российского». В 1817 г. А.П. Оболенский был назначен куратором Московского университета и попечителем учебного округа вместо враждебно относившегося к Карамзину П.И. Голенищева-Кутузова, что также явилось благоприятным фактором для работы над «Историей». Письма к Оболенскому проливают свет на некоторые обстоятельства работы историка и жизни его семьи, на отношение автора к исполнению скучных светских обязанностей и т.п.

Судьба этих писем до конца еще не выяснена. В 1919 г. Историческому музею были принесены в дар 23 письма Н.М. Карамзина, из которых 13 были адресованы А.П. Оболенскому. Подарил их музею литературовед Владимир Эмильевич Мориц. Как они попали к нему — пока не известно. Из всех этих 13 писем до последнего времени было опубликовано только одно.

Дар В.Э. Морица включал в себя еще одну группу писем Карамзина, которые также не были известны прежде. Это шесть писем к своему младшему сводному брату Александру Михайловичу Карамзину, жившему в Бугуруслане Оренбургской губернии. Вообще о родственниках историка известно довольно мало. В свое время были опубликованы его письма к старшему брату Василию, который поддержал Николая Михайловича в решающий момент его жизни, дав ему денег на переезд в Петербург. Имя же сводного брата Александра упоминается в опубликованной переписке Карамзина очень редко. О своей мачехе, которая была родной теткой его лучшего друга И.И. Дмитриева, исто-

рик в своей переписке вообще никогда не упоминал. Наличие шести писем за 1817—1824 гг. свидетельствует о том, что Н.М. Карамзин постоянно поддерживал связь с младшим братом и его семьей. Эти письма позволяют расширить круг родственников историка, известных по другим источникам, отражают его заботу о племянниках, учившихся и служивших в столице, рассказывают о главных событиях в жизни семей братьев, затрагивают некоторые детали работы над «Историей государства Российского». В настоящее время они хранятся в музейной коллекции документов по истории науки, культуры и общественного движения в России XVIII — нач. XX в.[5]

В этой же коллекции имеется еще 4 письма, подаренных В.Э. Морицем: два — к А.С. Шишкову и по одному — к А.И. Тургеневу и С.Н. Глинке. Они также не публиковались ранее (кроме одного, напечатанного в труде М.П. Погодина о Карамзине). В них особенно ярко отражена забота историка о своих друзьях и помощниках в работе.

Еще три неопубликованных письма Н.М. Карамзина были получены Историческим музеем в 1920 г. от известного библиофила, библиографа, редактора и издателя сочинений русских писателей Льва Эдуардовича Бухгейма. Два из них адресованы тверскому прокурору А.Е. Аверкиеву, которому Карамзин способствовал в продвижении по службе. Третье письмо предназначалось, по-видимому, его сыну, И.А. Аверкиеву, в доме которого осенью 1812 г. жила выехавшая из Москвы семья Карамзина.

В архивном фонде графов Уваровых, поступившем в ГИМ в 1917 г., хранятся 4 письма Карамзина к Сергею Семеновичу Уварову за 1811—1813 гг. Они свидетельствуют о добрых приятельских отношениях историка и главы литературного направления с одним из наиболее просвещенных людей своей эпохи, попечителем Петербургского учебного округа. Впоследствии Уваров стал организатором общества карамзинистов «Арзамас» (арзамасское прозвище «Старушка»), министром народного просвещения и президентом Академии Наук. В этих письмах Карамзин благодарит Уварова за присланные ему книги, делится своим горем — смертью сына, сообщает о ходе работы над «Историей» и о желании ехать в Петербург печатать готовую ее часть.

Девять адресатов получили по одному письму от Н.М. Карамзина: И.А. Аверкиев, С.Н. Глинка, Я.И. Лобанов-Ростовский, А.М. Лунин, А.Ф. Малиновский, имп. Мария Федоровна, М.Н. Муравьев, братья А.И. и Н.И. Тургеневы. Каждое из этих писем по-своему интересно и отражает разнообразные грани жизни Карамзина.

Так, письмо Ивану Алексеевичу Аверкиеву от 28 января 1808 г. связано с управлением имением — селом Макателем в Нижегородской области. Это село было получено в наследство женой Карамзина, Екатериной Андреевной, после смерти в 1807 г. ее отца, А.И. Вяземского[6].

В написанном по-французски письме Екатерины Андреевны Вяземской — сводной сестры и полной тезки жены Карамзина — от 9 мая 1808 г. к князю Я.И. Лобанову-Ростовскому имеется сделанная на русском языке приписка историка. В письме говорится о жизни семьи Карамзина, болезни поэта и сенатора Ю.А. Нелединского-Мелецкого и о младшем брате — Петре Андреевиче Вяземском[7].

Письмо Карамзина к Александру Михайловичу Лунину (дяде декабриста М.С. Лунина), вельможе, председателю Московского Опекунского совета содержит просьбу о разрешении получить в Опекунском совете крупную сумму денег, необходимую для расплаты с долгами[8].

В письме к вдовствующей императрице Марии Федоровне от 24 января 1818 г. Карамзин почтительно сообщает о поднесении ей экземпляра своей Истории[9].

В последнем по времени письме (от 5 сентября 1825 г.) историк сообщает Сергею Николаевичу Глинке о своих хлопотах в подыскании ему хорошего места службы и о смерти жены А.С. Шишкова Дарьи Алексеевны[10].

Хотелось бы подробнее рассказать об атрибуции одного из писем — ранее не известного собственноручного послания Н.М. Карамзина, которое сохранилось в собрании рукописей историка и коллекционера Елпидифора Васильевича Барсова. Это памятная записка, в которой отсутствует обращение и адрес, но имеется собственное название, вынесенное в заголовок: «Завещание Карамзина».

Вот ее текст: «Завещание Карамзина. 1) Оставляю шесть ящиков, из коих три под № 1, 2 и 3, должны быть отправлены на почту в пятницу 19 мая; а другие три, под № 4, 5 и 6 остаются в архиве до моего востребования. Адресовать ящики на имя историографа К. в город Софию или Царское Село. 2) Остается еще в архиве большой сундук с моими книгами до моего возвращения или распоряжения. Н. Карамзин. Мая 12, 1816»[11]. Вспомним, что через шесть дней, 18 мая, Карамзин с семьей навсегда уехал в Петербург.

Строго говоря, хотя название этой записки звучит солидно и вынесено в заголовок, сама она не является по существу тем серьезным документом, который составляют перед смертью и в котором содержатся распоряжения обо всем нажитом имуществе. Здесь речь идет о всего лишь шести ящиках и одном сундуке с книгами. Поэтому нам представляется, что заголовок имеет шуточный оттенок, а само это т.н. «Завещание» адресовано кому-то из близких друзей Карамзина.

Поскольку имя адресата в записке не указано, пришлось его устанавливать, исходя из того, что названные в ней ящики и сундук находились в каком-то архиве.

Сначала возникла мысль об «Остафьевском архиве» князей Вяземских в подмосковном селе Остафьево, в котором Карамзин проживал

все летние месяцы с 1804 по 1816 г. вместе с женой Екатериной Андреевной — дочерью владельца усадьбы А.И. Вяземского и единокровной сестрой П.А. Вяземского. Там были написаны первые 8 томов «Истории государства Российского». Но поиски в этом направлении не дали результатов. Пришлось обратиться к опубликованной переписке Карамзина с друзьями, имевшими отношение к какому-либо архиву. Верный след довольно быстро обнаружился в его письмах к Алексею Федоровичу Малиновскому, начальнику Московского архива Коллегии иностранных дел[12], в котором Карамзин многие годы собирал материалы для своей «Истории»[13]. В письме Малиновскому, отправленном на следующий же день по прибытии в Царское Село, 25 мая 1816 г., Карамзин сообщал: «<…> ящики уже получены мною, об остальных буду писать к вам». Речь здесь явно идет об указанных в «Завещании» первых трех ящиках, которые были отправлены из Москвы 19 мая. Об остальных ящиках говорится в письме, от 12 августа этого же года: «<…> Прошу вас, моего любезнейшего, немедленно отправить ко мне в Царское Село остальные ящики мои с книгами, числом три кажется. Имею в них нужду». Просьбы присылать книги из сундука, оставленного в архиве, содержатся еще в четырех письмах Карамзина к Малиновскому. Таким образом был установлен адресат «Завещания Карамзина».

Кроме личных писем, в ОПИ имеется еще один автограф Карамзина. Это недатированная рукопись на французском языке, занимающая два листа. В ней содержатся выписки из столбцов XVI в. об изготовлении ядер, пищалей, гранат и прочего вооружения. Можно предположить, что эти выписки были сделаны Карамзиным не для себя, а по просьбе человека, не знавшего русского языка, или какой-нибудь организации, общества и т.п. Рукопись хранится в личном фонде сенатора, начальника Главного управления по делам печати и коллекционера Михаила Николаевича Похвиснева[14].

Из многочисленных копий писем Карамзина разным лицам назовем здесь лишь один крупный комплекс, содержащий послания историка к А.И. Тургеневу, К.Н. Батюшкову и А.П. Протасову — всего 76 писем за 1802—1825 гг.[15] Этот комплекс сохранился среди бумаг редакционного портфеля журнала П.И. Бартенева «Русский архив». На обложке имеется собственноручная надпись брата адресата, декабриста Н.И. Тургенева: «Примечание. Эти письма переписаны в том порядке, как они были переложены еще при жизни брата, а именно письма 1824 и 25 прежде писем 1821 года. При печатании их можно возстановить хронологический порядок. Покойный брат хотел их напечатать еще при жизни своей. Семейство Карамзина было на это согласно. Но Блудов и Уваров помешали напечатанию и Цензура не пропустила. На это есть доказательства в бумагах брата. Уваров был начальником Цензуры. Н. Тургенев. 10 Марта. 1867. Париж»[16].

Переходя к спискам общественно-политических и литературных произведений М.Н. Карамзина, а также к материалам о его жизни и творчестве, необходимо отметить, что они находятся в десятках фондов ОПИ ГИМ — как в личных коллекциях, так и в собраниях, сформированных по тематическому или формальному признаку. Чаще всего эти списки и материалы встречаются в личных фондах и собраниях отечественных историков и коллекционеров (Е.В. Барсова, А.П. Бахрушина, И.Е. Забелина, Н.Я. Страхова, А.Д. Черткова, П.И. Щукина и других). Нередко попадаются они в родовых, семейных или личных фондах современников историка (Мухановых, Тургеневых, Уваровых и др.). Имеются эти материалы в тематических и формальных собраниях, сформированных в ОПИ ГИМ: по истории культуры и общественной мысли в России (ф. 83, 281), рукописных книг и сборников (ф. 96, 420), газетных и журнальных вырезок (ф. 455).

Тематически, в общих чертах, рукописные копии 1-й пол. XIX в. можно разделить на две группы: списки общественно политических работ и копии художественных произведений Карамзина.

Наибольшее количество списков политических работ было составлено по тем из них, которые передавались историком лично императору. Это два главных политических трактата, носивших программный характер и шедших вразрез с официальной позицией. «Записки» эти известны в наше время под названиями: «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811)[17] и «О государственном устройстве Польского королевства» (1819)[18]. Не будем останавливаться на их содержании, которое давно хорошо изучено, а лишь отметим, что их составление и форма подачи требовали от автора большого гражданского и личного мужества. До конца XIX в. они не публиковались и были известны только узкому кругу близких друзей историка. Поэтому хранящиеся у нас списки этих трактатов Карамзина зачастую имеют видоизмененные, более короткие или более длинные названия. К примеру, «Записка» о Польше из Щукинской коллекции по истории культуры называется: «Письмо Н.М. Карамзина к Александру I, вследствие продолжительного разговора, в котором Государь изъявил волю свою о восстановлении Польского королевства. 17 окт. 1819 г.»[19]. Следует добавить, что далеко не всегда эти «Записки» были списаны в полном их объеме. Выписки из «Истории государства Российского» Карамзина также имеют фрагментарный характер (чаще всего, о времени Ивана Грозного).

Что касается списков художественных произведений Карамзина, то наибольшее их количество находится в единицах хранения Музейного собрания рукописных книг и сборников (ф. 96). В этом собрании 866 ед. хр., из которых одни только литературные сборники составля-

ют 272 единицы. И в большинстве этих сборников содержатся списки литературных работ Карамзина. Необходимо заметить, что в ОПИ имеется еще одно, более крупное, Щукинское собрание рукописных книг и сборников (ф. 420), которое в настоящее время находится в процессе описания. Вне всякого сомнения, в нем найдется не меньше копий Карамзинских произведений, чем в Музейном собрании, поскольку за этим фондом числится 1280 связок.

В ОПИ хранятся рукописные копии практически всех литературных произведений Карамзина, поэтому перечисление здесь их названий не имеет смысла. Отметим только, что этот факт отражает степень популярности у российских читателей XIX в. сочинений человека, именем которого назван допушкинский период истории отечественной литературы. Списки повестей, рассказов и стихотворений Карамзина выглядят по-разному, в зависимости от социальной принадлежности их владельцев. Имеются они в роскошных кожаных переплетах с виньетками и золотыми обрезами, а есть и написанные корявыми почерками на сшитых нитью листах дешевой бумаги, или в потрепанных блеклых тетрадках.

Расскажем об одном из списков произведения «Фрол Силин, благодетельный человек» (1791), представляющем собой большую редкость. Оно относится к довольно редкому ныне жанру так называемых «похвальных слов»[20]. Это проникновенный рассказ о благодеяниях крестьянина по отношению к своим соседям, таким же простым людям. В музейном собрании рукописных книг и сборников имеется уникальный список этого произведения, полностью выполненный на французском языке. Это отдельная рукописная книжка, с твердым переплетом в красной тисненной золотом коже с орнаментальной окантовкой, обрез позолочен. На верхней крышке переплета дата золотым тиснением: «1808». Книга имеет заглавие, посвящение, монограмму, концовку и заставку, которые выполнены акварелью. Основной ее текст — французская пропись на первых станицах листов. Под заголовком французская запись о том, что это — перевод на французский язык с русского Алексея Перовского. На втором и третьем листах имеется посвящение графу Льву Разумовскому и обращение к нему же, датированное 20 февраля 1808 г.

Перовский Алексей Алексеевич (1787—1836), писатель, более известный под псевдонимом «Антоний Погорельский», побочный сын графа А.К. Разумовского, у которого было 12 побочных детей Перовских: 6 сестер и 6 братьев. А.А. Перовский — автор «Двойника», «Магнетизера», «Черной курицы» и других известных произведений. М.Н. Карамзин был его кумиром. В первые годы писательской карьеры Перовский-Погорельский увлекался переводами произведений классиков русской литературы на иностранные языки и в первую очередь — Карамзина. Узкому кругу специалистов известны похожие подносные экземпляры переводов Перовского. В 1807 г. он подарил отцу — А.К. Разумовскому немецкий перевод «восхитительного произведения», по его словам, «Бедная Лиза». В 1808 г. Перовский подарил французский перевод очерка «Нравы японцев» своей тетке, Н.К. Загряжской, урожд. Разумовской. Той самой, рассказами которой о старине заслушивался Пушкин, и у которой, по его же признанию, было много сходства с графиней из «Пиковой дамы». Имеющийся в ОПИ ГИМ подносной экземпляр перевода «Фрола Силина» подарен Перовским в этом же, 1808 году своему дяде, Льву Алексеевичу Разумовскому, владельцу Петровского-Разумовского. Этот экземпляр явно неизвестен литературоведам, изучающим творчество Карамзина и Погорельского, поскольку в существующей литературе о нем не упоминается. Поэтому данная рукопись, кроме несомненной экспозиционной ценности, представляет еще и исследовательский интерес.

И еще об одном литературном произведении Карамзина, имевшем беспримерный успех у современников — повести «Бедная Лиза». Вернее, не столько о ней, сколько о переложении ее содержания в стихотворной форме — о неизвестной еще поэме «Бедная Лиза», сохранившейся в коллекции Николая Яковлевича Страхова[21].

Это рукопись на 32 сшитых в тетрадь листах бумаги без водяных знаков. Автор ее не указан. По своему содержанию она является стихотворным пересказом повести Карамзина. Судя по стилю изложения, рукопись принадлежит перу поэта-дилетанта, хотя стихи довольно складные.

Нач.: «Пришла весна! Зефир играет».

Кон.: «И он теперь истлел уж в прах».

В конце этой тетрадки, на двух листах, имеется еще одно стихотворение, тематически совпадающее с «Бедной Лизой». Оно имеет название «Любовница на берегу Волги», начинается словами: «О! жестокий, о! неверный» и заканчивается: «Не воротится назад».

В литературе эти стихи, как и поэма, также нигде не упоминаются и наверняка не известны карамзинистам.

Добавим, что повесть Карамзина «Бедная Лиза», была настолько популярна, что один из московских Чистых прудов получил название ее героини. Многие поколения чувствительных московских барышень приходили воздыхать на скамейке возле Лизиного пруда. По преданию, какой-то шутник прикрепил там такую эпитафию:

«Здесь утопилася
Эрастова невеста,
Топитесь, девушки, —
В пруду довольно места».

Все это еще раз свидетельствует о той громадной популярности, которой пользовалось у многих поколений русских людей имя Н.М. Карамзина — честного человека и гражданина, любимого писателя, создателя бессмертной «Истории государства Российского».

В архивных фондах ОПИ ГИМ содержится богатый материал для дальнейшего и более углубленного изучения его научного и литературного наследия.

Примечания

[1] Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 2. Первая половина XIX века. М.: РОССПЭН, 2007. С. 246—251.
[2] «Российский архив». Вып. II—III. М., 1992. С. 7—49. Письма Н.М. Карамзина 1806—1825 гг. Публикация А.К. Афанасьева и О.В. Эдельман.
[3] ОПИ ГИМ. Ф. 282. Ед. хр. 287. Л. 111.
[4] «Русский архив». 1867. № 3.
[5] ОПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 1—11.
[6] Там же. Л. 46.
[7] Там же. Ф. 368. Ед. хр. 23. Л. 18—19.
[8] Там же. Ф. 445. Ед. хр. 102. Л. 45—46.
[9] Там же. Ф. 213. Ед. хр. 80. Л. 7.
[10] Там же. Ф. 281. Оп. 2. Ед. хр. 44. Л. 14—15.
[11] Там же. Ф. 450. Ед. хр. 884. Л. 24.
[12] В советское время этот архив был включен в состав РГАДА, а ныне — в Архив внешней политики Российской империи.
[13] См.: Письма Карамзина к Алексею Федоровичу Малиновскому … М., 1860.
[14] ОПИ ГИМ. Ф. 381. Ед. хр. 34. Л. 251—252.
[15] Там же. Ф. 445. Ед. хр. 93. Л. 71—126.
[16] Там же. Л. 71.
[17] Наиболее ранние списки этого трактата хранятся в следующих фондах ОПИ: Ф. 1. Ед. хр. 159; Ф. 48. Ед. хр. 142; Ф. 440. Ед. хр. 1053; Ф. 443. Ед. хр. 47; Ф. 469. Ед. хр. 49.
[18] Рукописные копии 1-й пол. XIX в. имеются в фондах: Ф. 33. Ед. хр. 43; Ф. 117. Ед. хр. 287; Ф. 170. Ед. хр. 231; Ф. 270. Ед. хр. 15; Ф. 282. Ед. хр. 513.
[19] ОПИ ГИМ. Ф. 83. Оп. 2. Ед. хр. 3.
[20] Там же. Ф. 96. Ед. хр. 26. Л. 1—19.
[21] Там же. Ф. 9. Ед. хр. 306. Л. 1—34.

Эпоха Н.М. Карамзина: люди, события, историческая память

А.Д. Ивинский

М.Н. Муравьев в письмах к отцу 1778—1779 гг. (по материалам ОПИ ГИМ)

Научная биография М.Н. Муравьева до сих пор не написана. Несмотря на то, что целый ряд известных ученых занимался его творчеством[1], огромный корпус рукописных текстов писателя не опубликован и не введен в научный оборот. В основу данной статьи положены неопубликованные письма Муравьева 1778—1779 гг. к отцу Н.А. Муравьеву и сестре Ф.Н. Муравьевой, которые хранятся в ОПИ ГИМ[2]. Сохранилось 44 письма, которые были написаны в период с 5.6.1778 по 8.10.1779[3].

В письмах Муравьева любая мелочь может стать предметом обостренной рефлексии, а переходы от мелочей к вопросам, имеющим культурное или общественно-политическое значение, выглядят максимально свободными и непредсказуемыми, мотивированными только личностью автора, ее эмоционально-интеллектуальным складом; данная эпистолярная техника уже отдаленно напоминает ту, которую с большим упорством будет разрабатывать Н.М. Карамзин в 1790-е гг., придавая ей эстетическое значение. Личность Муравьева, формирующая проблематику и тональность его писем, обладает некоторыми особенностями, уводящими и в иной, гораздо более ранний литературный контекст, — в смысловое пространство русской моралистической и нравоописательной журналистики 1760—1770 гг., в первую очередь, «Всякой всячины», которая выдвинула идеал образованного и хорошо воспитанного аристократа и представила примеры того, как может создаваться новая литература для светских людей[4]. Во всяком случае, вопросы о том, как жить в свете и как должен вести себя «честный человек», представляются Муравьеву исключительно важными и актуальными: «Что есть сердце человеческое, чтоб угадать все его движения? А сколько еще надобно жить на свете, чтоб научиться жить благоразумно? Все возможное мое просвещение не представляет мне что должно делать; но только то чего не делаю. Не приобретаются сии действительные добродетели, твердость, постоянство, благоразумие, единым только умственным познанием их; но тесным с ними обхождением, подтвержденным трудами многих лет» (9.10.1778. Л. 12).

Взаимодействие и взаимопроникновение литературы и жизни воспринималось Муравьевым как естественное и неизбежное, ср., напр., в письме от 28.2.1779 к В.В. Ханыкову: «Переписка друзей — это <...> роман, в котором мы сами были действующими лицами»[5]. Более того, «литературность» своих текстов Муравьев не только не скрывал, но и подчеркивал: «Самой слог мой заимствует от недвижимости жизни моей. Сия недвижимость одушевляла столько щастливых ленивцов, Горациев и Анакреонов. А она погружает меня в полное бездействие. Тех мудрая леность превосходит многодельность такова множества безславных имян, которыя ценою безпокойствия целой жизни не могли исхитить себя от безизвестности. Вот разность: сии ленивцы были духи особливых дарований и не всяк употребляется им со стороны разума, кто превосходит их в лености» (23.10.1778. Л. 18).

Письма Муравьева к родным обычно строятся в форме непринужденного разговора, свободной болтовни: «К сестрице. Дай перевести дух!.. Можешь ли ты удостоить малейшаго внимания строки которыя зачинает таким образом твой повеса братец? Однако етот переход очень натурален: никто етого столько не чувствует как я теперь... Прости маминька, мое ученичество врать. Етот зачин ни мне, ни тебе не свойственен... Я еще прошу прощения в том, что я тебя столько етурдировал своим Петербургом: что я может быть поколебал твое спокойствие столь достойное быть почтенно» (б/д. Л. 77). Или вот письмо от 4.12.1778 г.: «Милостивой Государь батюшка! Никита Артемонович! Простите необходимости: писать теперь мне некогда, препроводив целой день то ленясь, то бродя. А теперь приехал к нам Бубликов, не бывав у нас с две недели. Я слава богу кое-как поживаю; бывает, что и хорошохонько. Подробности моей жизни очень просты. Я уже столько раз их описывал, что они должны вам наскучить, так как и мне. Время уже чтобы вы изволили разсудить собственными глазами таков ли я еще, как был, чтоб вы поправили начертание моей будущей жизни. Тогда я буду просить, чтоб вы не совсем отказались в вашем творении и еще признали что нибудь ваше» (4.12.1778. Л. 4). Ср. об однообразии и «простоте» жизни: «Никогда не писал я несвязнее и маловажнее писма, как нынешнее, может быть для того, что я не имел ничего сказать примечания достойнаго» (10.7.1778. Л. 51 об.). См. особенно: «Матушка сестрица, Федосья Никитишна! Я хочу чтоб ты всегда ко мне писала, как етот раз, то есть: убираясь. Хотя ето и отнюдь не весело и скучно; одинакож и не скучно очень... Нет, нет: в ету минуту я передумал. Я помню combien vous coute un moment de toilette. Ну так, ни слова о туалете. Пиши в неглиже. Ето одежда пишущих: ето моя теперь. Но если ты вообразишь маминька, что теперь четвертой час после обеда, что будучи страстной охотник к театру, навлекаешь на себя опасность пропустить комедию, после которой не будет их целых 15 дней; ты вить присоветуешь мне оставить мой Неглиже. Вот что я исполню scrupuleusement. Я бы остерегся так писать, ежелибы писал к другому. Он бы невыгодно разсудил о разуме тех обществ, в которых я имею честь быть admis. Но ты обо мне не можешь заключить иначе, как выгодно. Тебе бы надобно было зделать себе усилие, котораго ты не способна. Я же с тобою самой видаюсь всякую неделю. Разве ето не разговоры?» (31.7.1778. Л. 49—49 об.).

В этой родственной непринужденной болтовне угадываются черты того социального амплуа светского человека, литературный образ которого будет канонизирован только в пушкинскую эпоху. Одна из таких черт — «лень», постоянно становящаяся предметом обсуждения, напр.: «Безрассудной молодой человек! Что я делаю, что не принимаю с жадностию перваго родительскаго призвания вот уж вечер и может быть причинил я вам и сестрице скучныя напоминания. Но отъезжая из Петербурга, ничто так не откладывается, как день отъезда. Я приписываю Петербургу, что только отнесть должно к лени моей. Ето не лень из обыкновенных: но какая-то непроворность души, нерешимость» (25.12.1778. Л.2). Ср. вариант с рассуждением о слоге и с подключением литературно-философской темы, в рамках которой обыгрывается противопоставление ленивого существования и стремления к славе: «Милостивой Государь батюшка! Никита Артемонович! Вместо того, чтобы писма мои из Петербурга становились час от часу полнее и достойнее внимания; пустеют оне приметно. Самой слог мой заимствует от недвижимости жизни моей. Сия недвижимость одушевляла столько щастливых ленивцов, Горациев и Анакреонов. А она погружает меня в полное бездействие. Тех мудрая леность превосходит многодельность такова множества безславных имян, которыя ценою безпокойствия целой жизни не могли исхитить себя от безизвестности. Вот разность: сии ленивцы были духи особливых дарований и не всяк употребляется им со стороны разума, кто превосходит их в лености. К сим принадлежит сей Майков, котораго достоинства не довольно узнаны; но может быть оплакиваемы будут не тем столетием, в котором он жил. Со всем тем самая лучшая жизнь стоит ли того, чтоб о ней безпокоиться. Жить в памяти людей, не все ли равно, что слышать повествование сновидения? Столько ж сбивчиво и мечтательно воспоминание того и другого. В славе каждаго человека нет ничего неоспореннаго: даже до славы честнаго человека, столь мало изысканной. Сократа именуют добродетельнейшим: и Сократу попрекают пороки. Столько сомнительно двоесмысленно существо человеческое. О если бы всегда можно было быть надежну на свое сердце! О если бы можно было сказывать нравоучения, не краснеясь! Но к чему все сие? Ласкаю ль я себя, что сие безполезное размышление может нравиться родителю, желающему знать, что нибудь обо мне лучшее, более изъявляющее мое состояние? Нет; но оно служит ему спровождением, с

которым он может достойнее явиться. Дни мои последуют друг другу, не различенны. Надобно чем нибудь и польстить себя и вообразить жизнь свою лучше, нежели она есть» (23.10.1778. Л. 18—18 об.).

Как и любой светский человек, Муравьев боится показаться скучным: «Но я примечаю, что слог мой становится от часу сходнее с моим чтением. Он также разбросан и безпорядочен, как оно. Никто не знал меньше меня, что надобно сказать. Я еще щастлив, если сие наводнение слов и разсуждений не у места, не заставит кинуть без прочтения другой половины писма» (3.7.1778. Л. 64 об). Ср.: «Никогда не писал я несвязнее и маловажнее писма, как нынешнее, может быть для того, что я не имел ничего сказать примечания достойнаго» (10.7.1778. Л. 51 об). См. также: «Я не перестал бы писать, если бы хотел все то писать, чтобы хотелось. Но я бы тем вам наскучил» (б/д. Л. 78 об.).

Тематика писем чрезвычайно разнообразна. Во-первых, отметим, что Муравьев писал к отцу и сестре, которые жили в Твери и, естественно, живо интересовались петербургской жизнью. Поэтому важнейшая часть муравьевских текстов — столичные новости. Ограничимся одним примером: «Но в етот день произошло сие нещастное приключение дуеля между Кастагарова и Горича, о котором первой застрелен. Весь город сожалеет Кастагарова и вопиет на сего казака, его убийцу, которой также как и он полковник. Сказывают что Кн. П. сказал Кастагорову, что он ему не даст полк, ежели он не пойдет с Горчем на дуель. Горич сам ранен и живет здесь; однако за ним послан курьер, чтоб его возвратить. Вас. Петр. Петров был Секундантом Кастагорова. По городу ходит писмо сего последняго к его жене и согражданам» (19.6.1778; Л. 60 об.)[6]. Кроме того, Муравьев аккуратно сообщал отцу придворные и служебные новости: «В возшествие на престол была при дворе перемена, которой всей я не знаю. Полковников восмнатцать произведено в бригадиры. Много в камергеры между которыми и Корсаков. Домашнев также в камерюнкеры. <...> Многим даны ленты... но теперь бу<д>ет двенатцать» (3.7.1778. Л. 65 об.). Ср.: «Мих. Матв. Херасков пожалован Куратором университета: по крайней мере должность сию будет он отправлять в отсутствие Г. Мелиссино. Ив. Ив. Шувалов поставил на своем; хотя Михайлу Матвеевичу и очень того не хочет» (10.6.1778. Л. 51).

Во-вторых, Муравьев много писал о литературе. Он был знаком практически со всеми значительными писателями своего времени: Н.И. Новиковым, М.М. Херасковым, В.И. Майковым, В.В. Капнистом, Я.Б. Княжниным. Заслужил даже похвалу С.Г. Домашнева, о чем писал отцу не без гордости: «Однако одно из моих похождений через чур лестно моему самолюбию, чтобы оставить его без повествования. Ето было в воскресенье, что встретившись в Летнем саду с Домашневым вздумал я его поздравить с чином. Мне не удавалось зделать етого пре-

жде, затем что он живет на даче. Он мне ответствовал извинением, что будучи очень занят, не успел он избрать дня, просить меня к себе отобедать. Продолжение его ответа должен я сократить; затем, что разсказывать его будет все равно, что хвалить самого себя. Сколько ни мало истины было в его учтивстве; однако помню я, что несколько минут спустя я опомнился и не мог воспретить себе пройти раз через Аллею, весма гордой выступкой. ...» (7.8.1778. Л. 37). Ср.: «Петров принял меня отменнее, нежели когда нибудь, хвалил мою рощу, сказывал, что полюбилась она очень К. Григорию Александровичу, которой ее читал» (5.6.1778. Л. 59). Ср. также: «В награждение посылаю к тебе надписи к изображению Сумарокова, которыя я написал сегодня по утру.

Воспитанник богинь, любви сопутниц красных
Ко Музам юношей в общенье привлечен.
Сей первый таинства сердец похитил страстных
Любовь похитил их, их другом наречен.
И млад, надежды полн, уже творец Хорева,
Со Ломоносовым себя едина зрел:
Но на соперника не мог воззреть без гнева
Семиру начертал и с ним безстрашен сел»

(26.6.1778. Л. 56).

Узнаем мы и о круге его чтения: «Я читал швейцарскаго философа и стихотворца Галлера и что-то сам писал» (19.6.1778. Л. 61). Ср.: «Зделай милость матушка попроси батюшку, чтоб приказал переписать Розану Г. Николева. Мне ее здесь иметь очень хочется» (26.6.1778. Л. 56 об). См. также: «Я читаю тепере Поему Иосифа[7] на руском языке» (4.9.1778. Л. 22).

В-третьих, письма Муравьева, конечно же, это свидетельство личных родственных отношений. Каждую неделю Муравьев писал к отцу, разговаривал с ним, поддерживал его и постоянно подчеркивал свое глубокое сыновнее чувство: «Надобно иметь сердце, нарочно уклоняющееся от ищющих его удовольствий, чтобы не узнать мне своих. Одного осталось желать, чтоб щастие сего мгновения остановилось разпространить свое влияние на всю мою жизнь: чтобы я чувствовал цену благодеяний, которыя тратятся на меня. Затем что без уничижения сказать, заслуг моих нет. Может быть выпускаю я из виду то, что я должен быть и определения своего не исполню. Что ж бы кажется мешало, если я узнаю недостаток сего рачения? Того может быть, чтоб я чаще об етом размышлял и старался себя уверить в важности сего размышления. Однако не столько позабыл я себя, чтоб не слышать гласу природы. И если бы я забылся, напомнило бы мне сердце ваше, должность моего. Сколь приятно мне быть сыном!.. видимый образ милостей божиих вижу я в вас. Кто более любил

меня! Мои чувствия не удовольствуются выражением. Я ими наслаждаюсь в глубине моего сердца, их истинном жилище. Дай бог! чтоб помогли они мне исполнить всякое доброе дело, всякое ваше предписание! Чтоб они меня зделали угоднее вам! Сие есть по крайней мере, совершенство, которое я от себя требую. Сколь же уничижительно состояние, когда мы сами удаляемся от своего начертания, известны в своей подлости, неспособны никакого благороднаго понятия, никакой надежды быть щастливы. Таковы будут те минуты, когда я менее вспомню вас» (26.6.1778. Л. 54- 54 об.). Ср.: «Как ответствовать мне на писмо нежнейшаго отца чтобы живейшие чувствования любви и благодарности не остались ниже попечений отеческой горячности? Какую бы хотел я иметь душу, чтоб только быть способну той благодарности, того возврату любви, которыя начертавает мне ваша? Но детям не суждено заплатить родителям того, что они на них издержали. Кто более имел удовольствие делать щастливыми своих, как вы. Кто менее чувствует себя в состоянии зделать взаимно наслаждение милостей, как я? Глубокое чувствие моего достоинства, вашей горячности, которая находит утешение делать мне жизнь мою приятною, занимает все пространство души моей. Я ощущаю сие сладостное болезнование, причиняемое излишеством удовольствия. Я, которой редко наслаждаюсь слезами умиления, не удержался от них вчерась при чтении писма сего, которое мне объявляет столь много новаго. Уединен, спешил я пасть пред богом, чтоб в мгновение ревности принесть ему чувствования радости, благодарности, которыя он один вселяет в сердце человека. Если бы я мог, не преступив почтения, оговорить чтонибудь, что вам было угодно; то бы я представил, сколько превышают ваши милости мое малое достоинство. Я не имею нужды в таких больших денгах; а я знаю что они вам надобны каждой день в Твери. Покупки сестрицыны надеялся я искупить оставшимся у меня. Медленность же моя в том, совсем не от недостатку денег происходила; а от того, что я не умел к тому приступить. Денги я еще не получил с почты; но за ними сходить не замедлю. Они мне будут попрекать, сколько я мало пекуся их заслужить. Ничто может и не должно меня более тронуть, как изъявление отеческого удовольствия, похвалы которыя тем лучше любит вкушать самолюбие, чем более уверяет себя, что происхождение их священно, запечатленно будучи природою. Никогда не прощу я себе, что сие снизхождение употребил я во зло, жалуясь на отсутствие сестрицы в Бернове. Я дал себя далеко вести слепому чувствию. Ваше нежное сердце унизилось, чтоб приять совет от моего. И сие меня посрамляет. Возьмите назад сию милость, чтоб примирить меня самого с собой. Вам не должно знать, чего я хочу. Мне должно знать вашу волю, чтоб повиноваться. Я уверен, что сестра меня любит более, нежели я могу требовать и нежнее, нежели я знаю. Я доволен, где бы ни была она, лишь бы было по ее

желанию. Вы простите, милостивой Государь батюшка, сие изъяснение, которым я был должен сам себе. Камень вместо сердца должен я иметь, если не колеблется оно сладостно при каждом вашем вспоминовении. Проклят день, в которой я буду менее любить вас и день тот, да будет день последний... но я надеюсь его не дожить» (21.8.1778. Л. 38—38 об.).

Приписки к сестре в письмах этого периода чаще всего достаточно короткие, однако бывают и исключения, из которых со всей очевидностью просматривается чувство глубокой привязанности и искренней дружбы, ср.: «Воспоминаю все твои попечения, сии маленькия попечения; но зделанные для того чтоб прельщать нас, когда женщинам внушает их собственная сердца их нежность. Любви достойная! наслаждайся сокровищем сего сердца. Не подозревай его добродетель; но старайся занять его действовательность разсуждениями, достойными безсмертнаго и духовнаго существа, тебя одушевляющаго. Не одиножды для тебя переменяется картина света? Но добродетель, но любовь человечества и Творца его не должны последовать испостоянности сих перемен? Помысли краткость жизни: минуты которыя ты отсекаешь своевольно от жизни своей, не с тем к тебе приходили, чтоб тебе потерять их. Сколько упражнений сердцу: видно повсему, что мы родились гражданами целого мира. Какая необходимость любить целой род человеческой! в Париже также чувствовать как в Петербурге и в Петербурге как в Твери. Везде есть место явления для разсматривающаго. И край вселенной может подать нам знание о целом. Ты любишь Виланда: разве не веришь ты его любимым мыслям, что есть сродственные души, наслаждающияся разсматриванием друг друга...» (26.6.1778. Л. 55 об. — 56).

Эти сочетания мотивов разлуки, дружбы, любви к Творцу, к близким, к человечеству и к литературе, добродетели, духовно-эмоциональной связи с адресатами, сердца, родства душ, сладостных воспоминаний, слез умиления очевидным образом свидетельствуют о начале процесса формирования в русской культуре того типа литературной личности, который чуть более чем через десять лет обретет завершение в «Письмах русского путешественника».

Итак, специфика муравьевских писем состоит в объединении разнородных элементов — как языковых (письма написаны на русском и отчасти французском), так и тематических, в сложном обыгрывании границы между «высоким» и «легким», идеальным и бытовом. В основе их стиля — свободная интонация непринужденного светского разговора, имитирующего немотивированность отбора жизненного материала, в котором литература и быт переплетаются, образуя нерасторжимое единство.

Примечания

[1] *Гуковский Г.А.* Очерки русской литературы и общественной мысли XVIII в. Л., 1938; *Кулакова Л.И.* М.Н. Муравьев // Ученые записки ЛГУ. Л., 1939. № 33. Вып. 4; *Западов В.А.* Державин и Муравьев // XVIII век. М.; Л., 1966. Сб. 7; *Кулакова Л.И.* Поэзия М.Н. Муравьева // *Муравьев М.Н.* Стихотворения. Л., 1967. С. 5—49; *Она же.* Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. Л., 1968; *Лазарчук Р.М.* О соотношении эпистолярной практики и художественного творчества М.Н. Муравьева // Первая карагандинская конференция молодых ученых. Тезисы и доклады. Караганда, 1969. С. 323—324; *Он же.* М.Н. Муравьев — критик (по материалам переписки поэта) // Русская и зарубежная литература. Алма-Ата, 1971. С. 3—8; *Кулакова Л.И.* Н.И. Новиков в письмах М.Н. Муравьева // XVIII век. Л., 1976. Сб. 11; *Фоменко И.Ю.* Из прозаического наследия М.Н. Муравьева // Русская литература. Л., 1980. № 3; *Teteni M.* Письма родным М.Н. Муравьева (1778—1779) и их роль в становлении его литературного творчества // Russica. In memoriam E. Baleczky. Budapest, 1983. P. 215—231; *Он же.* М.Н. Муравьев и проблема индивидуального стиля // На путях к романтизму. Л., 1984; *Луцевич Л.Ф.* «Опыт о стихотворстве» М.Н. Муравьева // Проблемы изучения русской литературы XVIII в. Л., 1985; *Bukhs N.* Les éléments novateur dans la prose de M.N. Murav'ev // Revues des études slaves. Paris, 1985. T. 57/3. P. 25—32; *Алехина Л.А.* Архивные материалы М.Н. Муравьева в фондах Отдела рукописей // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. М., 1990. Вып. 49; *Росси Л.* «Маленькая трилогия» Михаила Муравьева // Russica Romana. 1994. I. P. 51—78; *Он же.* К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII века // Slavica Tergestina. 1994. 2. С. 91—115; *Он же.* Сентиментальная проза М.Н. Муравьева (Новые материалы) // XVIII век. СПб., 1995. Сб. 19. С. 114—146; *Топоров В.Н.* Из истории русской литературы. Т. 2: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: Введение в творческое наследие. Кн. 1—3. М., 2001—2007; *Пашкуров А.Н., Мясников О.В.* М.Н. Муравьев. Вопросы поэтики, мировоззрения и творчества. Казань, 2003; *Зорин А.Л.* Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX вв. М., 2016. Письма Муравьева к отцу и сестре с 8.5.1777 по 19.3.1778 гг. были опубликованы Л.И. Кулаковой и В.А. Западовым (Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980. С. 259—378). В настоящее время мы готовим к изданию письма Муравьева, хранящиеся в ОПИ ГИМ.

[2] ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. 51. Ч. 74г. Далее ссылки на этот источник даются в тексте с указанием даты и листа в соответствии с архивной пагинацией.

[3] Вот хронологическая роспись его писем: 5.6.1778; 12.6.1778; 19.6.1778; 26.6.1778; 3.7.1778; 10.7.1778; 17.7.1778; 24.7.1778; 31.7.1778; 7.7.1778; 14.8.1778; 21.8.1778; 28.8.1778; 4.9.1778; 11.9.1778; 13.9.1778; 18.9.1778; 25.9.1778; 2.10.1778; 9.10.1778; 16.10.1778; 23.10.1778; 30.10.1778; 8.11.1778; 13.11.1778; 27.11.1778; 4.12.1778; 11.12.1778; 18.12.1778; 25.12.1778; 10.01.1779; 7.3.1779; 17.09.1779; 30.9.1779; 8.10.1779; кроме того, несколько писем можно датировать приблизительно. Как видим, если 1778 г. представлен исключительно хорошо, то от 1779 г. осталось всего 5 писем.

[4] Об этом подробнее см.: *Ивинский А.Д.* Культурная политика Екатерины II: к вопросу о литературной позиции журнала «Всякая всячина» // Slavia Orientalis. Warszawa, 2015. Т. 64, № 2. С. 229—243.

[5] Цит. по: *Топоров В.Н.* Указ. соч. Кн. 3. С. 11.

[6] Речь идет об И.П. Гориче-Бенесевском (об этой истории см. подробнее: Екатерина II и Г.А. Потемкин. Личная переписка, 1769—1791. М., 1997. С. 695).

[7] Речь идет о поэме П.Ж. Битобе «Иосиф», переведенной на русский язык Д.И. Фонвизиным.

И.В. Ружицкая

Н.М. Карамзин и польский вопрос: записка о Польше и ее восприятие современными историками

Николай Михайлович Карамзин, безусловно, может считаться полонистом с его «Историей Государства Российского», где «русско-польские отношения стали фактически сквозной темой»: «польские экскурсы разного характера и объема» проходят через всю «Историю». Карамзину не просто принадлежит особая заслуга в разработке польской проблематики. Кроме наличия «польских» тем идейный настрой «Истории» и ее литературные достоинства сыграли немалую роль в формировании подхода российского общества к польскому вопросу. «Не меньшее значение имела национальная память, на которую опирался Карамзин и которой он сумел придать четкие, по-своему гармоничные очертания»[1]. Строгое разграничение идей, которые витали в воздухе еще до Карамзина и которые в данный вопрос привнес «последний летописец», едва ли возможно. Однако трудно поверить, что, не будь соответствующей национальной традиции, воззрения Карамзина способны были бы так молниеносно завоевать признание[2]. Именно его трактовка никогда не терявшего актуальности для России польского вопроса надолго станет господствующей в российском обществе и сыграет огромную роль в формировании национальной исторической традиции[3].

Свое понимание сути русско-польских отношений, в том числе и разделов Польши, историк изложил еще до того, как стал официальным историографом. В 1802 г. в «Историческом похвальном слове Екатерине Второй» он с полным одобрением отозвался о шагах императрицы по отношению к Речи Посполитой, в том числе о российских приобретениях в ходе разделов 1772—1795 гг.: «Монархиня взяла в Польше только древнее наше состояние и когда уже слабый дух ветхой республики не мог управлять ее пространством». Карамзина, уверенного в том, что «сей раздел есть действие могущества Екатерины и любви ее к России», восхищали геополитические успехи российской императрицы и ее высокий патриотизм. Писатель не сомневался, что о гибели польского государства «никто не жалеет», а «ее мятежные и несчаст-

ные жители, утратив имя свое, нашли мир и спокойствие под державой трех союзных держав». Историк полагал, что в Польше императрица не только действовала в интересах России, но и облагодетельствовала «мятежных и несчастных жителей» Речи Посполитой, которые обрели, наконец, «мир и спокойствие»[4].

Говоря о недавних польских делах, Карамзин отнюдь не забывал все те неприятности, которые поляки издавна доставляли России. Неприятности эти он связывал, прежде всего, с временами Лжедмитрия, да и весь исторический путь соседней страны был им охарактеризован соответствующим образом. Польша, писал он, «была всегда игралищем гордых вельмож, театром их своевольства и народного унижения». Напомнив, что афинская, спартанская и римская республики знавали времена расцвета, по поводу Польши Карамзин заявлял, что это — «республика без добродетели и геройской любви к отечеству», что она «есть неодушевленный труп». Потому он желал лишь, чтобы ветром развеялся пепел «тех развалин, где тирания была идолом»[5].

Как полагает, Л.М. Аржакова, «сугубо пророссийскую позицию автора в значительной степени питала национальная память о тех бедах, какие поляки издавна приносили России». С этим трудно не согласиться. В то же время исследовательница считает, что карамзинское восприятие польских реалий не было столь уж однозначным и не сводилось «к возвышенным тирадам и нравоучениям» [6]. Доказательством, по ее мнению, служит его записка «Мнение русского гражданина», которую он представил царю в 1819 г., когда распространился слух о намерении Александра I «восстановить Польшу в *ее целостности*». Слух имел своим источником речь императора на открытии первого польского сейма 15 марта 1818 г., в которой он намекнул на возможное присоединение к Царству Польскому западных губерний России. Выступление царя в Варшаве вызвало большой резонанс в русском обществе, а также усиление патриотических, а подчас и националистических настроений, поскольку «представления о Польше <…> диктовалось отношением к ней, как к историческому противнику России. Негативный образ недавнего союзника Наполеона дополнялся реанимированным уже в 1806—1807 гг. образом поляков-интервентов периода Смуты». Освобождение от поляков в 1612 г. стало после 1812 г. «восприниматься как ключевое событие народной истории»[7]. В этих условиях, выступая от имени русского дворянства, Карамзин оспаривал право императора распоряжаться территориями по своему усмотрению.

Записка Карамзина, прочитанная им лично Александру I за чаем в Царскосельском кабинете стала причиной охлаждения царя к своему негласному советнику. «Мы пробыли с глазу на глаз пять часов и после этого душою расстались, кажется, навеки», — вспоминал историограф[8].

«Мнение русского гражданина» адекватно отразило настроение просвещенного российского общества, начиная от консервативных кругов и кончая членами тайных обществ[9]. Один из современников писал в дневнике: «Когда после присоединения Варшавского герцогства император Александр в *криво-филантропических* своих мечтаниях замышлял восстановить Царство Польское, не только в прежнем его составе, но и внедрив в него наши западные губернии, [Карамзин], который, не всегда ограничиваясь ролью историографа по доверенности к нему государя, принимал иногда и роль советника, сильно восстал против этого преднамерения и словесно, и письменно, и по этому ли внушению или по другим причинам, но первоначальный план не состоялся»[10].

В «Записке о Польше», как часто в литературе называют «Мнение русского гражданина», историк поднимает вопрос о «несовместимости политической практики и христианских заповедей, столь акцентируемых Александром I в последние годы его правления во внешней политике, в том числе, в отношении Польши. Он утверждает, что польская политика императора противоречит державным интересам России и обязанностям российского самодержца как гаранта величия России»[11]: «Вы думаете восстановить древнее Королевство Польское, но сие восстановление согласно ли с законом государственного блага России? Согласно оно ли с Вашими священными обязанностями, с Вашею любовью к России и к самой справедливости? Во-первых (не говоря о Пруссии), спрашиваю: Австрия отдаст ли добровольно Галицию? Можете ли Вы, творец *Священного союза*, объявить ей войну, противную не только христианству, но и государственной справедливости? Ибо Вы сами признали Галицию законным владением Австрийским. Во-вторых, можете ли с мирной совестью отнять у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утвержденную собственность России еще до Вашего царствования? Не клянутся ли государи блюсти целость своих держав? Сии земли уже были Россией, когда митрополит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екатерины, которую Вы сами назвали Великой»[12].

Историк предсказывал губительные последствия восстановления независимой Польши: «Мы лишились бы не только прекрасных областей, но и любви к Царю: остыли бы душою к Отечеству, видя оное игралищем самовластного произвола; ослабели бы не только уменьшением государства, но и духом; унизились бы пред другим и пред собой». Восстановление Польши, убеждал Карамзин, сулит альтернативу: или падение России, или «сыновья наши обагрят своей кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу (*предместье Варшавы. — И.Р.*). Пророческие слова — чрез 13 лет так и случится. Опасаясь превращения поляков в «державный народ», Карамзин призывал не доверять и «полякам-россиянам», хотя и не считал их столь опасными. Его

основополагающая идея сводилась к тому, что «никогда поляки не станут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками» [13].

Карамзин стремился показать монарху, что истинные его верноподданные — это россияне, а не вновь приобретенные поляки, столь склонные к бунту, и призывал императора сделать правильный выбор: «Любите людей, но еще больше любите россиян, ибо они и люди, и Ваши подданные, дети Вашего сердца. Россиян дал Вам Бог, и с ними снискали Вы благодетельную славу Освободителя Европы. Литва, Волыния желают королевства Польского, но мы желаем единой империи Российской. Чей голос должен быть слышнее для Вашего сердца?»[14]

Любопытно, что в «Мнении русского гражданина», в отличие от «Похвального слова Екатерине», автор если не готов был сам признать разделы Польши нелегитимными, то, по крайней мере, допускал возможность такой трактовки (хотя в общем-то допущение все равно ничего по существу не меняло)[15]. Кроме того, аргументы исторического характера (возвращение «древнего нашего состояния») или выражение сочувствия «несчастным жителям» Речи Посполитой теперь отодвинуты в сторону: «Скажут ли, что она (Екатерина) беззаконно разделила Польшу?» «Но Вы, — обращался Карамзин к царю, — поступили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить Ее несправедливость разделом самой России». И далее он напоминал, что «мы взяли Польшу мечом: вот наше право, коему государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний»[16].

Карамзин, как и его читатели, по-видимому не замечал уязвимости своего главного аргумента: ведь придавая такой вес «праву меча» и признавая, что государства <…> все составлены из завоеваний», он «фактически должен был бы признать, что в государственной политике все, в конечном счете, решают не высокие побуждения, а грубая сила и геополитические интересы», полагает Аржакова. Что же касается западнорусских земель, то они в свое время принадлежали Польше как раз по тому же «праву меча». Таким образом, не получали ли у Карамзина, вопреки его собственным намерениям, некую легитимацию давние захваты русских земель литовцами или поляками, задается вопросом Аржакова и заключает: «…так или иначе, но свою основную цель историограф видел в том, чтобы внушить Александру I: “Екатерина ответствует Богу, ответствует истории за свое дело; но оно сделано и для Вас уже свято — для Вас Польша есть законное российское владение”»[17].

Особо аргументировал Карамзин свое мнение о невозможности доверять полякам, которые при любом удобном случае будут стремиться к получению независимости всеми способами, в том числе и вооруженным восстанием, что в конечном итоге подрывает могущество империи[18]: теперь поляки «слабы и ничтожны <…> когда же усилите их, то они захотят независимости, и первым опытом ее будет отступление от России»[19].

Для подтверждения «правоты своей аргументации» в польском вопросе Карамзин приводит своеобразное «пророчество», согласно которому даже его коллеги, польские историки, в будущем будут считать действия Александра по восстановлению Польши шагом к разрушению России. Он писал: «Но, если бы восстановилась древняя Польша (чего Боже сохрани!) и произвела некогда историка достойного, искреннего, беспристрастного, то он, Государь, осудил бы Ваше великодушие как вредное для Вашего истинного Отечества, доброй, сильной России. Сей историк сказал бы совсем не то, что могут говорить Вам поляки; извиняем их, но Вас бы мы, русские, не извинили, если бы Вы для их рукоплесканий ввергнули бы нас в отчаяние»[20].

Для усиления доказательства своей правоты историк обращается к Александру I, известному в последние годы своей жизни приверженностью к мистицизму, с определенной мистической ноткой: «Екатерина любила Вас нежно, любила и наше Отечество — ее тень здесь присутствует». Карамзин представляет однозначный вариант решения польского вопроса в России — сохранение поляков в составе империи: «Поляки, законом утвержденные в достоинстве особенного, державного народа, для нас опаснее поляков-россиян»[21].

Таким образом, Карамзин в записке о Польше («Мнении русского гражданина») жестко сформулировал те идеи, которые в менее «концентрированном» виде содержатся и в его «Истории», и в ряде его публицистических работ, сведя суть польского вопроса к двум основным положениям: невозможности восстановления независимой Польши без ущерба для российской великодержавности и к вопросу о принадлежности православных территорий Речи Посполитой[22].

Присутствовавшая в конфиденциальной записке по-своему трезвая (и одновременно, по выражению Аржаковой, геополитическая, имперская) аргументация была оставлена Карамзиным за рамками открытого обсуждения польского вопроса, как в «Историческом похвальном слове Екатерины Второй», так и на страницах «Истории государства Российского». На публике в ход «привычно шли стереотипы, уже прочно закрепившиеся в общественном сознании. Вернее сказать, геополитическая составляющая у Карамзина, автора всеми читаемой “Истории” тоже будет присутствовать. Однако там она выступит в смягченном виде и на первом плане окажутся такие доводы как возвращение исконно русского достояния и защита единоверцев»[23]. Именно к таким оценкам и такой проблематике впоследствии будет в основном сводится польский вопрос в русской историографии XIX — начала XX в.

Таким образом, польский вопрос, который, по мнению Л.Е. Горизонтова, «в течение длительного времени являлся тяжелейшим бременем российской государственности, быть может, главной из имперских за-

бот России»[24], впервые в отечественной исторической литературе был сформулирован Карамзиным в самом начале XIX столетия.

Примечания

1 *Аржакова Л.М.* Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX века. Дисс. ... доктора ист. наук. СПб., 2014. С. 117.
2 Там же.
3 Подробнее об этом см. также: *Афиани В.Ю., Козлов В.П.* От замысла к изданию «Истории государства Российского» // *Карамзин Н.М.* История государства Российского. В 12 т. Т. 1. М., 1989. С. 520; *Glebocki H.* Fatalna sprawa: Kwestia polska w rosyjskiej mysly politicznej (1856—1866). Kraków, 2000. S. 27—33; *Novak A.* Od imperium do imperium. Spojrzenia na historie Europy Wschodniej. Kraków, 2004. S. 147 — 166.
4 *Карамзин Н.М.* Историческое похвальное слово Екатерине Второй // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России. Избранная проза и публицистика. М., 2002. С. 290, 294, 293.
5 Там же. С. 294.
6 *Аржакова Л.М.* Указ. соч. С. 104.
7 *Филатова Н.М.* Русское общество и Королевство Польское в 1815—1830 гг. // Польша и Россия в первой трети XIX в. Из истории автономного Королевства Польского 1815—1830. М., 2010. С. 475 — 476. Филатова добавляет: «Все это дополнялось пришедшим с Запада образом Польши как отсталого во всех отношениях государства, где господствуют анархия и шляхетская вольность» (Там же. С. 476). Однако Аржакова считает спорным это заявление Филатовой, она не согласна с тем, что «представления о господствующей в соседней Польше анархии позаимствованы в России с Запада» (*Аржакова Л.М.* Указ. соч. С. 103).
8 Цит. по: *Филатова Н.М.* Указ. соч. С. 477.
9 Там же. С. 477 — 478.
10 *Корф М.А.* Дневник // ГА РФ. Ф. 728. Оп. 1. Д. 1817. Часть 3. 1840 г. Л. 70 — 70 об. *Курсив мой. — И.Р.*
11 *Кручковский Т.Т., Хилюта В.Ю.* «Записка о Польше» Н.М. Карамзина как определение польского вопроса в России первой трети XIX в. // История Польши в историографической традиции XIX—XX вв.: международная научная конференция. Гродно, 29 — 30 октября 2009 г. [Электронный ресурс] / Под общей ред. Т.Т. Кручковского. Гродно: ГрГУ. 2011. С. 95 — 103. URL: http// elib.grsu.by/katalog/161942—348742.pdf
12 *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина [Письмо Александру I по поводу проекта восстановления Польши] // *Карамзин Н.М.* О древней и новой России. Избранная проза и публицистика. М., 2002. С. 436 — 437.
13 *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина. С. 438.
14 Там же.
15 *Аржакова Л.М.* Указ. соч. С. 105 — 106.
16 *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина. С. 437.
17 *Аржакова Л.М.* Указ. соч. С. 106.
18 *Кручковский Т.Т., Хилюта В.Ю.* Указ. соч.
19 *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина. С. 437.
20 Там же. См. также: *Кручковский Т.Т., Хилюта В.Ю.* Указ. соч.
21 *Карамзин Н.М.* Мнение русского гражданина. С. 438.
22 *Кручковский Т.Т., Хилюта В.Ю.* Указ. соч.
23 *Аржакова Л.М.* Указ. соч. С. 106 — 107.
24 *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: поляки в России, русские в Польше. М., 1999. С. 45.

А.Н. Феребов

Надежды реформаторов: от ожидаемой численности студентов к перспективам обновления бюрократии в начале XIX в.

От образовательной реформы Александр I ожидал скорейшей подготовки «повсеместно просвещенных и благонравных граждан для всех родов службы и должностей общественных»[1]. Общее представление о темпах выполнения данной задачи можно составить на основе «Предварительных правил народного просвещения», утвержденных 24 января 1803 г. В них сообщалось, что «ни в какой губернии, спустя пять лет по устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании сих правил, училищной части, никто не будет определен к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, не окончив учения в общественном или частном училище»[2].

С указанного времени новая учебная система должна была обеспечивать потребности восполнения и расширения государственного аппарата. Однако, в историографии до сих пор не поставлен вопрос, о каких количественных показателях шла речь. Соответственно, нет достаточных оснований оценки соответствия предпринятых преобразований для обновления бюрократии.

Прежде всего, необходимо определить учебные заведения, нацеленные правительством на комплектование чиновничества. Затем следует установить численность учащихся, на которое оно рассчитывало, и соответствовали ли эти предположения действительным потребностям службы. В последнем случае надо рассматривать только гражданскую часть без военных и духовных званий. Об этом свидетельствуют слова «Предварительных правил…» («гражданские должности») и пояснение данного положения в 1809 г.: «разум сего постановления состоял в том, чтоб разным частям гражданской службы доставить способных и учением образованных чиновников…»[3].

Согласно «Предварительным правилам…» приготовление чиновников допускалось не только государственными (общественными), но и частными учебными заведениями. Обязательным условием выступало

лишь наличие требуемых дисциплин в программе. На практике таких частных школ не возникло.

Основными источниками пополнения государственного аппарата правительство считало университеты. Сначала, в декабре 1802 — сентябре 1803 г., об этом было заявлено в учредительных документах Дерптского университета. Желающий определиться в службу в рамках Дерптского учебного округа «...обязан три года обучаться в сем или другом в империи Нашей учрежденном университете…»[4]. В течение 1803—1804 гг. о том же говорилось в уставах и утвердительных грамотах остальных университетов[5]. В плане преподавания, прописанном в «Предварительных правилах…», также указывалось, что «в университетах поступающим из гимназии в качестве студентов… преподаются науки во всем пространстве, нужные для всех званий и разных родов государственной службы»[6]. Для нижестоящих училищ такой функции заявлено не было[7].

В соответствии с предназначением, выпускникам университетов при вступлении в службу даровали право на чин XIV класса[8]. Это не исключало возможности набора чиновников из других училищ. Схожими преимуществами обладали выпускники ряда гражданских, духовных и военных учебных заведений[9]. Однако, подводя первые итоги развития учебной системы после реформы 1802—1804 гг., правительство уделило главное внимание недостатку наполняемости университетов.

В конце 1808 г. М.М. Сперанский напомнил императору об обещании, сделанном в «Предварительных правилах…». «Положенные сим правилом лета истекают, — писал он, — но каким образом привести меру сию в действие, когда во всех университетах и гимназиях количество учащихся столь малочисленно?»[10]. В указе от 6 августа 1809 г. законодателем замечено: «Исключая университеты Дерптский и Виленский, все прочие учебные заведения, в течение сего времени открытые, по малому числу учащихся, не соразмерны способам их учреждения»[11].

Можно полагать, что в последнем случае правительство подразумевало данные, опубликованные незадолго до указа об «экзаменах на чин»[12]. Их ретроспективный анализ показал, что власть ожидала увидеть по 300—400 студентов в каждом университете[13]. Между тем, выявлена неоднородная хронология указанных данных[14]. К ранее отмеченным нестыковкам следует добавить противоречия показаний источников по Виленскому университету. Вместо заявленных 525, численность тамошних студентов не могла превышать 375 человек[15]. Неясно, являлась ли предъявленная публике статистика причиной принятия указа от 6 августа 1809 г., или она призвана была оправдать решение политиков в глазах подданных. Остается под вопросом степень соответствия якобы удовлетворительных показателей Виленского и Дерптского университетов в 1809 г. установкам реформаторов в 1802—1804 гг.

Во время университетских преобразований отсутствовали официальные заявления об ожидаемой численности студентов. Однако, некоторые свидетельства позволяют установить приблизительные рамки пожеланий государственных деятелей.

Прежде всего, это доклад Комитета для рассмотрения уставов ученых заведений, представленный 8 августа 1802 г. Комитет предложил ввести в Московском университете платное обучение. Исключение касалось только 60 казеннокоштных студентов и тех, кто предъявит свидетельство о своем недостаточном состоянии. Предложенный размер взносов Комитет считал весьма умеренным и рассчитывал на относительно широкий приток платных студентов. В качестве примера приводился опыт платного обучения в Благородном пансионе при том же университете[16]. В 1800 г. в нем состояло 177 человек, а в 1804 г. — более 200[17]. С учетом казенных и некоторого числа освобожденных от платы, ожидания комитета можно определить в 300 студентов на университет.

Часть доклада, посвященную Московскому университету, подготовили М.Н. Муравьев и В.Н. Каразин[18]. Вскоре первого из них назначили попечителем Московского университета. В новом проекте, датированном первой половиной 1804 г., он писал уже о 40 казенных студентах[19]. Сокращение штатных мест не следует связывать с колебаниями настроений автора. Оно учитывало разницу в постановке вопроса, произошедшую в течение двух лет. Упомянутый комитет обсуждал состояние уже существовавших учреждений и способы их улучшения. С созданием осенью 1802 г. Министерства народного просвещения в практическую плоскость перешла задача организации системы из нескольких университетов. Уменьшение мест в Москве было связано с распространением данной практики на другие заведения. В общероссийском масштабе это означало увеличение числа казенных студентов. О численности других категорий учащихся в проекте М.Н. Муравьева не сказано.

Важные сведения приведены в «Предначертании о Харьковском университете» В.Н. Каразина. Проект был зачитан 30 августа 1802 г. в общем собрании харьковского дворянства. В октябре 1802 г. автор представил его вместе с пояснительной запиской в Комиссию об училищах. Во втором документе было предложено содержать в Харькове 200 казенных студентов[20]. О численности своекоштных в нем не упомянуто.

Представление о возможности увеличения студенческого состава умножением штатных мест характерно не только для В.Н. Каразина. Его разделяли члены Комитета для рассмотрения уставов ученых заведений в целом. Ведь до 1804 г. штат Московского университета предусматривал лишь 30 казенных студентов[21]. Между тем, огромная цифра для Харькова не просто соответствовала более широкому устройству университета, чем предлагали другие участники реформы. До пред-

ставления проекта правительству В.Н. Каразин заручился крупными пожертвованиями в пользу университета и оправданно писал, что требуемые доходы на казенный кошт «имеются уже в виду»[22].

Штатные места не следовало наполнять сразу. Их необходимо было распределить между всеми курсами. Значит, заполнение казенного кошта отодвигалось во времени не менее, чем на три года. Одновременно с приемом в штатные студенты должны были приходить и учащиеся за свой счет. Есть сведения, что задуманное В.Н. Каразиным здание университета было рассчитано на 3000 учащихся[23]. Согласно «Предначертанию…», отделения университета следовало открывать постепенно. Последнее из них должно было начать работу в сентябре 1809 г. Курс обучения в нем составлял четыре года[24]. Гипотетически достижение полного комплекта в 3000 человек не могло произойти ранее 1812/13 учебного года. Однако, трудно представить, чтобы основатель университета рассчитывал на быстрое исчерпание ресурса его вместимости. Учитывая общую смелость проекта В.Н. Каразина, можно уверенно говорить только о том, что в Харькове своекоштные студенты могли заметно преобладать над казенными. Тем самым, ко времени подведения первых итогов привлечения молодежи в Харьковском университете следовало ожидать более 400 студентов, возможно, ближе к 500.

Как видно, в 1802 г. реформаторы предполагали видеть в одном университете не менее 200 студентов. В каждом случае имелись в виду разные категории учащихся, но минимальный или «обязательный» уровень оказывался сопоставим. Он мог свидетельствовать о том, что университет «состоялся». Необходимый же темп подготовки специалистов для успешности остальных государственных реформ был выше. В одном случае он приближался к 300 студентам, в другом — на 100—200 человек больше. Такое расхождение отражает естественное разнообразие индивидуальных подходов и точек зрения.

Однако правительственная политика является согласованием противоречий или победой одной из позиций. Подобный взгляд должен был существовать и в рассматриваемом вопросе.

Важным параметром ожиданий реформаторов являлась вместимость университетских зданий. Она отражала материализованные рамки, выше которых не поднимались помышления проектировщиков и лиц, утверждавших проект строительства и оплачивавших его. Это касалось планов на некоторый промежуток времени. Точный предел этого периода оказался неуловим, хотя финансовая целесообразность требовала, чтобы он не мог наступить в ближайшие годы.

Готовя университетскую реформу, ее участники учитывали особенности английской, немецкой, польской и французской систем. В отечественной периодике того времени вышел ряд программных статей, знакомивших об-

щество с устройством зарубежных университетов[25]. На иностранный опыт платного обучения указывал и Комитет для рассмотрения уставов[26].

Особое внимание привлекает статья о Геттингенском университете. Среди программных публикаций только в ней указана статистика: 800 студентов и возможность помещения в городе 1200 учащихся[27]. Похоже, университет готов был принять еще 400 человек к уже имевшимся. Данные цифры, будучи известны российским деятелям, могли выступать образцом, к которому следовало стремиться. Однако, таких университетов в Европе были единицы. Попытка создания подобного флагмана в России требовала много времени, а при его организации средний показатель студентов на университет по стране все равно должен был оказаться меньше.

Нереализованный план Харьковского университета предусматривал здание примерно на 3000 студентов. С реформой 1802—1804 гг. связано проектирование помещений для Дерптского университета. Первоначально он размещался в нанимаемом доме. Его собственное здание с аудиториями заложили в 1805 г., построили в 1809 г., а отделку завершили в 1811 г. Рост студенчества поставил вопрос о расширении площадей через тридцать лет. В 1847 г. начальство изменило порядок пользования специальными кабинетами и лабораториями, разрешив доступ к аудиториям при них всем преподавателям. В 1856—1859 гг. к главному зданию были пристроены новые крылья. В 1841—1847 гг. в университете училось от 517 до 614 студентов. Их численность достигла пика в 712 человек в 1853 г., а во второй половине 1850-х гг. колебалась между 590—670 человек[28].

Московский университет к 1802 г. находился в здании, недавно оконченном М.Ф. Казаковым. Благодаря приобретению соседних домов и перераспределению бывших помещений в начале александровского правления, количество аудиторий выросло[29]. Главное здание сгорело в 1812 г., не достигнув пределов функциональных возможностей. Для него нельзя в точности указать доступную численность студентов. Его восстановили в 1817—1819 гг. по новому проекту, обеспечившему больше лекционных залов. В 1832 г. для новых аудиторий купили дом В.А. Пашкова. К этому времени в университете училось 700—800 человек[30].

Вместимость Харьковского университета была значительно выше остальных. Это еще раз подчеркивает грандиозность замысла В.Н. Каразина, а также наглядно выделяет его из плеяды разработчиков университетской реформы. Предположенные им 400—500 студентов сразу приближались к пределам зданий в Дерпте и Москве. Тем самым, ожидаемые В.Н. Каразиным темпы умножения учащихся являлись преувеличением по сравнению с другими мнениями. Консолидированные представления правительства можно определить на уровне 300 студентов на университет. Аудиторные площади определяли перспективы

дальнейшего роста приблизительно до 600 человек. Достижение уровня в 700 человек создавало ощутимые неудобства в организации учебного процесса. Примечательна близость указанных цифр к численности геттингенских студентов, достигнутой в начале XIX в.

Общая сумма российских студентов определялась количеством университетов. При Александре I в империи учредили шесть университетов, и еще два, Абовский и Варшавский, действовали на вновь присоединенных территориях. Однако, первоначально царь с соратниками имели более широкие планы. «Предварительные правила…» предполагали открыть не менее десяти таких заведений. Вслед за первыми шестью в Москве, Вильно, Дерпте, С.-Петербурге, Казани и Харькове предназначались «для университетов города: Киев, Тобольск, Устюг-Великий и другие…»[31]. Тем самым, на первом этапе правительство предполагало получить не менее 3000 студентов.

Как эти достижения должны были повлиять на государственный аппарат? Служебные права выпускников университетов обусловливают учет чиновничества в узком смысле слова, исключая канцелярских служителей. В качестве предреформенного уровня можно принять 15 000 человек[32]. Для анализа возможных перспектив обновления государственного аппарата представим идеальную ситуацию. Допустим, что все факультеты предусматривают один и тот же срок обучения — 3 года. Каждый учащийся вовремя оканчивает курс и поступает на службу. В течение первых трех лет набор студентов достигает 300 человек и держится на этом уровне. Отсчет ведется с 1 сентября 1803 г., а подведение первых итогов — в сентябре 1808 г. В данный период действуют шесть университетов.

К указанному сроку полный курс успевают закончить первые три набора учащихся, или 1800 человек. Затем университеты ежегодно выпускают по 600 студентов. Полностью заместить 15 000 чиновников получится не ранее 1830 г. При тенденции к росту студенческого состава в каждом университете и при открытии новых университетов данные сроки неопределенно сокращаются. При десяти заведениях при тех же условиях это могло произойти в 1820 г.

С течением времени неизбежен был рост чиновничества. Для примера можно взять средний прирост служащих в течение 1802—1847 гг., округлив данные за последний год до 61 000 человек[33]. В течение 45 лет бюрократия росла в среднем на 1022 человека в год[34]. Шесть университетов с 300 студентами в каждом не могли заменить старые кадры или снабдить все вновь открываемые места. Однако, при определенных обстоятельствах правительство могло рассчитывать на обеспечение прироста государственного аппарата выпускниками университетов.

Во-первых, при тенденции к увеличению числа студентов до пределов вместимости зданий, с этой задачей могли справиться шесть университетов. Причем введение образовательного ценза, обещанного «Предварительными правилами…», должно было подстегнуть этот рост. Во-вторых, можно было открыть задуманное количество университетов. При условии привлечения в них по 300 студентов с тенденцией к росту, они могли справиться с ежегодными кадровыми потребностями гражданской службы.

Таким образом, ряд свидетельств позволяют уверенно судить о численности студентов, ожидаемой правительством в начале XIX в. Для обеспечения задуманных общегосударственных реформ власть рассчитывала получить на первом этапе около 300 студентов на университет. С учетом запланированного количества университетов данная численность учащихся была близка к объективным потребностям роста бюрократии. В данном отношении можно говорить о достаточно верной, хотя и интуитивной, оценке взаимосвязи реформ в разных отраслях государственного строительства.

Надежды реформаторов были смелы, а поставленные задачи достойны уважения. При подведении первых итогов правительство, видимо, учло напряженную внешнюю и внутреннюю обстановку 1807—1808 гг., а также неизбежность большой войны с Францией. В результате объявленные «Предварительными правилами…» квалификационные требования к чиновникам были смягчены до уровня норм указа о порядке производства в чины VIII и V классов по гражданской службе, принятого 6 августа 1809 г.

Примечания

1 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. СПб., 1875 (далее: СПМНП). Стб. 5.
2 Там же. Стб. 17.
3 Там же. Стб. 582—583.
4 Там же. Стб. 6, 10—11, 22, 139.
5 Там же. Стб. 6, 39, 54, 286.
6 Там же. Стб. 19.
7 Там же. Стб. 18—19.
8 Там же. Стб. 17, 42, 137, 288.
9 *Аурова Н.Н.* Система военного образования в России: кадетские корпуса во второй половине XVIII — первой половине XIX века. М., 2003. С. 14, 21, 59; *Волков С.В.* Русский офицерский корпус. М., 2003. С. 80, 127, 131; Полное собрание законов Российской империи, с 1649 г. СПб., 1830. Т. 25. № 19017. С. 689; Т. 27. № 20766. С. 622; № 20863. С. 796—797; Т. 28. № 21606. С. 800; № 21860. С. 1150.
10 Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII—XIX веках. (Приложение к «Очеркам по истории систем народнаго просвещения в России в XVIII—XIX веках», Т. 1). СПб., 1910. С. 375.
11 СПМНП. Стб. 583.
12 *Феребов А.Н.* К вопросу о хронологии сводных статистических данных, опубликованных в 23-ем номере «Периодического сочинения о успехах народного

просвещения». Предварительные итоги исследования // Исторические исследования: мат-лы междунар. заоч. науч. конф. Уфа, 2012. С. 90.

[13] *Феребов А.Н.* Критерии оценки эффективности формирования студенческого состава Московского университета в первой половине XIX века: численность, образовательный уровень, сословный состав // Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII — начало XXI вв.): сб. ст. Всерос. науч. конф. «Региональное управление и проблема эффективности власти в России (XVIII — начало XXI вв.)». Оренбург, 2012. С. 172.

[14] *Феребов А.Н.* К вопросу о хронологии сводных статистических данных… С. 84—90.

[15] Периодическое сочинение о успехах народного просвещения. 1809. № 23. С. 280—281; Vilniaus universiteto istorija 1803—1940. Vilnius: Mokslas, 1977. P. 26.

[16] *Андреев А.Ю.* Московский университет в общественной и культурной жизни России начала XIX века. М., 2000. С. 263—264.

[17] *Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б.* Университетский Благородный пансион. 1779—1830 гг. М., 2006. С. 139.

[18] Университетская идея в Российской империи XVIII — начала XX веков: Антология: учеб. пособие для вузов. М., 2011. С. 61.

[19] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 274, 284.

[20] Василий Назарович Каразин, основатель Харьковского университета // Русская старина. 1875. Т. 13. № 5. С. 75.

[21] *Белявский М.Т.* М.В. Ломоносов и основание Московского университета. М., 1955. С. 124, 281, 288.

[22] *Багалей Д.И.* Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 1. Харьков: 1893—1898. С. 54—79; Василий Назарович Каразин… С. 75.

[23] *Багалей Д.И.* Указ. соч. С. 63.

[24] Василий Назарович Каразин… С. 66—69.

[25] Подробнее о них см.: *Петров Ф.А.* Формирование системы университетского образования в России. Т. 1. М., 2002. С. 142, 199—200, 205.

[26] *Андреев А.Ю.* Указ. соч. С. 264.

[27] О Геттингенском Университете // Вестник Европы. 1803. № 23—24. С. 169—170, 201.

[28] История Тартуского университета, 1632—1982 / Под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1983 С. 73; *Петухов Е.В.* Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования (1802—1902). Т. 1. Юрьев, 1902. С. 213, 465—466; Статистические таблицы и личные списки по Императорскому Юрьевскому, бывшему Дерптскому университету (1802—1901) / Приложение к историческому очерку Е.В. Петухова «Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за сто лет его существования. Юрьев, 1902». Юрьев, 1902. С. 4—6.

[29] *Кулакова И.П.* Университетское пространство и его обитатели. Московский университет в историко-культурной среде XVIII века. М., 2006. С. 150—151, 155; *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 1. 183.

[30] *Кириллов В.В.* Университетский дом на Моховой. Альбом. М., 1997. С. 35; *Насонкина Л.И.* Московский университет после восстания декабристов. М., 1972. С. 28; *Петров Ф.А.* Указ. соч. Т. 1. С. 198; Т. 4. Ч. 2. М., 2003. С. 109.

[31] СПМНП. Стб. 15.

[32] *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 66—67.

[33] Там же. С. 67.

[34] Разумеется, данный темп является простым результатом арифметического вычисления. Он не отражает действительной динамики и условий расширения государственного аппарата в разные периоды между 1802 и 1847 гг.

О.В. Морева

Уральские читатели Н.М. Карамзина

В исследовании «Сотворение Карамзина» Ю.М. Лотман справедливо утверждал, что его герой своей писательской, журналистской и издательской деятельностью «создавал читателя… тип нового русского культурного человека… У всякого, кто изучает читательскую аудиторию 1780-х и 1800-х годов, создается впечатление, что за эти 20 лет произошло чудо — возник читатель как культурно значимая категория. Русская литература знала писателей более великих, чем Карамзин, знала более мощные таланты и более жгучие страницы. Но по воздействию на читателя своей эпохи Карамзин стоит в первом ряду, по влиянию на культуру времени, в котором он действовал, он выдержит сравнение с любыми, самыми блестящими, именами»[1]. Именно поэтому, как нам кажется, важно проследить, как проходило «создание читателя».

Без преувеличения можно утверждать, что Н.М. Карамзин — «наше всё» для русской книжной культуры. Он первый начал издавать альманахи, антологии отечественных и зарубежных авторов, литературно-художественные и политико-общественные журналы, в которых публиковал обзоры европейской прессы и рецензии на театральные постановки в европейских театрах. Его «Московский журнал» — это первый и единственный успешный издательский проект XVIII в. (на второй год издания прирост количества подписчиков составил 12,5%)[2]. Карамзин — первый русский литератор, чьи произведения после выхода из печати сразу переводились на европейские языки. Он заложил основы переводческой культуры в России, с него начинаются русско-индийские и русско-египетские литературные связи. Он реформировал русский язык, создал новый литературный стиль, ввел неологизмы (благотворительность, влюбленность, достопримечательность, промышленность, первоклассный, человечный и др.) и варваризмы (тротуар, кучер и др.), которые мы до сих пор используем. Карамзин — не только первый и единственный историограф Российской империи, но и тот, кто ввел в научный оборот и сохранил многие исторические источники, публикуя их в примечаниях к «Истории государства Россий-

ского». Его жизнь и творчество, которая проходили в эпоху четырех императоров(!), были и остаются нравственным образцом и «подвигом честного человека»[3]. Это далеко не все заслуги Н.М. Карамзина перед книжной культурой[4].

Еще один аргумент в пользу изучения читателей Карамзина — лежит в плоскости истории русской эмоциональной культуры. В 1950-е гг. американский социолог Д. Ризман разработал историческую типологию социальных характеров, согласно которой на пороге Нового времени тип «традиционно ориентированной» личности, усваивающей ценности и правила поведения из этикета, ритуала и житейских практик старших поколений, сменяется «внутренне ориентированным» типом, стремящимся в различных жизненных ситуациях следовать единым, выработанным в юности, принципам. Метафорой такого социального характера для социолога служит гироскоп — прибор, позволяющий при любых внешних помехах выдерживать избранное направление движения[5]. В русской культуре эта смена происходит во второй половине XVIII — начале XIX в. во многом под влиянием творчества и деятельности Карамзина. Не случайно А.Л. Зорин в своей книге по истории русской эмоциональной культуры посвятил отдельную главу роли и влиянию Карамзина «в монументальном культурно-историческом повороте русской образованной публики к западноевропейской словесности как к основному источнику формирования своего эмоционального репертуара»[6].

Читательская активность на Урале всегда была велика, что связано со старообрядческой книжностью и заводским делом. Производство нуждалось в грамотных работниках, поэтому на казенных и частных заводах уже в XVIII в. существовали не только школы[7], но и библиотеки[8]. Источниками для изучения уральских читателей нам послужили книги и журналы, изданные Карамзиным, сохранившиеся в уральских библиотеках с владельческими признаками и читательскими пометами в них, а также делопроизводственная документация библиотек (каталоги[9], «журналы на выдачу книг»[10], отчеты[11]).

Сочинения Карамзина, изданные в конце XVIII — первой трети XX в., хранятся во многих библиотечных собраниях страны. Они выходили, как правило, большими тиражами. География их распространения широка. При отсутствии на Урале специализированной книжной торговли (первый книжный магазин открылся в Екатеринбурге в 1854 г., в губернской столице — Перми — в 1876-м[12]) книжные собрания уральцев пополнялись благодаря подписке, выписке книг из столиц и покупке у тех, кто покидал Урал. Специалисты, приезжавшие на уральские заводы, привозили и свои библиотеки, которые нередко по разным причинам приходилось продавать, уезжая в центральные губернии или на новое место службы. После «Декрета о порядке

реквизиции библиотек, книжных складов и книг вообще» (от 26 ноября 1918 г.)[13] началось «великое книжное переселение», повлиявшее на комплектование центральных региональных библиотек. Так, в фонде Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского сохранились «осколки» многочисленных частных и общественных книжных собраний. Порой на книгах можно выявить до 4—5 книжных знаков разных владельцев. Это обстоятельство необходимо учитывать при изучении читателей в провинции. Не всегда отсутствие уральцев среди подписчиков на книги второй половины XVIII в. означает отсутствие их в уральских библиотеках.

Кто же они — уральские читатели карамзинских журналов, книг, альманахов. Среди индивидуальных читателей прижизненных изданий Карамзина, судя по владельческим знакам, были священнослужители, владельцы заводов и золотопромышленники, горные инженеры, преподаватели учебных заведений, представители уральского купечества и чиновничества[14].

На втором издании «Пантеона иностранной словесности»[15] имеется экслибрис «Из библиотеки Анатолия Николаевича Демидова» и штамп «Bibliotheque de San Donato». При продаже виллы Сан-Донато в 1870-х гг. часть книг этой богатой библиотеки была отправлена в родовое гнездо Демидовых[16]. «Пантеон» был еще в одном частном собрании — священника Ф.Л. Карпинского (1758—1831) — екатеринбургского книгочея и библиофила[17]. Судя по записям, сделанным на форзаце, Федор Львович не меньше пяти раз прочитал первую часть «Пантеона»: 25 сентября 1799 г., 8 марта 1801 г., 24 января 1802 г., 9 октября 1804 г., 18 июня 1816 г. На этом томе имеется запись уже другой рукой о прочтении сборника 28 сентября 1833 г. В декабре 1907 г. книга поступила в библиотеку Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), а сейчас хранится в Свердловском областном краеведческом музее (СОКМ).

Судя по «Списку подписчиков» на второе издание «Истории» Карамзина, на Урале получили по одному экземпляру в Перми «их благородие Алексей Егорович Никулин» и Главная контора Пермских казенных заводов, а также «поверенный князей Голицыных Андрей Николаевич Цвет-Иванов», проживавший в Нытвенском заводе[18]. «История» Карамзина была в личной библиотеке Семена Печатальщикова. Семен Михайлович Печатальщиков (1886—1938) после окончания Нижнетагильского Горнозаводского училища работал на Высокогорском руднике. В 1905 г. за участие в революционном движении, был арестован и выслан из Пермской области. В 1907—1910 гг. учился в Высшем Инженерном Училище в Маннгейме (Германия). После возвращения на родину в 1911—1924 гг. работал на Златоустовских казенных заводах. С 1924 г. работал в Екатеринбурге, занимал ряд ответственных

должностей в трестах Уралцветмет, Уралплатина, Уралмедь, был доцентом Энергетического института. В 1934 г. арестован, в качестве заключенного принимал участие в строительстве канала Москва—Волга. С 1937 г. находился в «Севвостлаге» Магаданской области. В 1938 г. расстрелян по решению тройки УНКВД. Полностью реабилитирован в 1961 г.[19] Его сестра Вера Печатальщикова, отправляясь на летние каникулы в 1897 г., везла с собой чемодан(!) книг, среди которых был и томик «Истории» Карамзина. В ее планах было самостоятельно заняться «хронологией истории и словесностью», так как в этих предметах у нее «не малые пробелы», и она «должна все пополнить»[20].

В первой части 2-го издания «Московского журнала» (М., 1801—1803) на нахзаце запись: «Прочитал в другой раз 1817 декабря 13 числа», «Прочитал 1831 февраля 1 ч.» (через 14 лет, записано той же рукой), «Прочитал 1832 декабря 24 ч.» (это уже другой читатель). Этот экземпляр содержит множество и других помет: всевозможных значков, подчеркиваний. Перечитывая тексты, усваивая речевые обороты, стиль, особенности передачи настроения, читатели Карамзина знакомились «с эмоциональным репертуаром современной Европы», тем самым, как отмечает А.Л. Зорин, образованный российский читатель составлял «единое эмоциональное сообщество с просвещенными европейцами»[21].

К «просвещенным европейцам» можно отнести членов екатеринбургской купеческой семьи Блохиных. Григорию Блохину принадлежало второе издание «Московского журнала». Кроме записи о принадлежности ему книги или журнала, он указывал и дату покупки. Согласно этим сведениям, книги приобретались регулярно и почти всегда в год выхода из печати. Возможно, знакомство с текстами Карамзина побудило купца-золотопромышленника направить свой капитал в книготорговлю. В дальнейшем не одно поколение Блохиных в Екатеринбурге занималось книжной торговлей[22]. В середине XIX в. помимо книжной лавки они содержали коммерческую библиотеку и, судя по сохранившимся осколкам, были владельцами хорошо подобранной семейной библиотеки. На томах третьего издания собрания сочинений Карамзина (М., 1820) имеются владельческие записи Григория Блохина и его сыновей — Владимира и Николая.

Владелец второго издания Собрания сочинений (М., 1814) священник Левитский приобрел его 9 августа 1859 г. в Екатеринбурге, о чем свидетельствуют записи на форзацах. Игнатий Александрович Левитский (1820—1891), был выдающимся книжником, членом Екатеринбургской духовной консистории, преподавателем Екатеринбургского окружного училища[23]. Его библиотеку знали в городе, как хорошо укомплектованную, с книжными новинками и классическими изданиями, которыми он щедро делился, давал почитать. Дом Левитских был

гостеприимным, в нем собирались представители интеллигенции Екатеринбурга. Сейчас это Музей радио, потому что старшая сестра изобретателя радио Александра Степановича Попова — Мария — была замужем за одним из сыновей Левитского — Георгием. Заметим, что Георгий Игнатьевич (1849—1908), хоть и пошел по стопам отца и тоже был священником, но священником корабельным. Может быть, его страсть к путешествиям началась со слов из «Писем» Карамзина «Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!»[24], прочитанных в библиотеке отца[25]. В 1894—1895 гг. Георгий Игнатьевич совершил ряд кругосветных морских путешествий в качестве флотского священника, побывав во многих странах Дальнего и Ближнего Востока, Китае, Японии, на острове Цейлон, где собрал интереснейшие коллекции вещей и произведений искусства, показав их в 1896 г. в музее УОЛЕ[26]. Г.И. Левитский еще при жизни подарил не только часть своей коллекции УОЛЕ, но и часть своей библиотеки (в том числе и прижизненные карамзинские издания) — Епархиальной библиотеке, которая с 1890-х гг. работала как общедоступная[27].

Прижизненные издания Карамзина хранились в фондах уральских общественных книжных собраний. Так, одно из первых самостоятельных изданий Карамзина — перевод «Юлия Цезаря» В. Шекспира (М., 1787) под номером 6 было записано в инвентарной книге библиотеки Нижнетагильских заводов[28] (открытой старшим сыном Карамзина — Андреем Николаевичем — на Демидовских заводах в 1854 г.[29]). Книга была арестована по делу Н.И. Новикова, и почти весь тираж ее был уничтожен. Видимо, этот экземпляр был приобретен тагильчанами через антикварную торговлю[30]. Еще один переводческий труд молодого Карамзина «Новые Мармонтелевы повести» (М., 1794—1798) был куплен А.П. Павловым, дворянином, профессором Московского университета по естественному отделению, почетным членом УОЛЕ, который щедро дарил книги библиотеке общества.

Прижизненные издания Карамзина были в составе фундаментальных библиотек учебных заведений Урала: Ирбитского мужского училища, Выйского училища, Екатеринбургского епархиального женского училища, Верхотурского городского 3-х классного училища и других. Как известно, читателями этих библиотек были только преподаватели, учащиеся — лишь по особому разрешению. После включения произведений Карамзина в школьные программы, его книги в ученических библиотеках стали доступны и учащимся[31]. Напомним, что первая программа преподавания истории русской литературы была создана опытными педагогами А.Д. Галаховым и Ф.И. Буслаевым для военно-учебных заведений. Галахов впоследствии подготовил хрестоматии

и учебники, с энтузиазмом воспринятые многими преподавателями в гимназиях. Как отмечает А.И. Рейтблат, «уже тогда, в 1840-х, были сформированы основы литературного канона. Позднее он почти не модифицировался», и хотя из программ «потихонечку “вычищали” авторов XVIII века» [32], тексты Карамзина остаются в них до сих пор(!).

В коммерческих библиотеках Екатеринбурга, судя по каталогам[33], в конце XIX в. были доступны собрание сочинений, «История» и отдельные произведения Карамзина. Читателями этих библиотек были, как правило, учащиеся и представители всех социальных и гендерных слоев и групп населения. Народные земские библиотеки также комплектовались произведениями Карамзина, выходившими в серии «Дешевая библиотека»[34].

Судя по библиотечной документации второй половины XIX — начала XX в., книговыдача карамзинских произведений сокращалась. Так, в 1864 г. из фондов Нижнетагильской заводской библиотеки было выдано 24 экземпляра, в 1877-м — один. В отчетах Екатеринбургской общественной библиотеки им. В.Г. Белинского, открытой в 1899 г., фиксировалась книговыдача с указанием количества томов того или иного автора[35]. Такой скрупулезный подход позволяет оценить востребованность текстов Карамзина. В год открытия библиотеки сочинений историографа в разделе «История и биография» не было. Но, видимо, был запрос, и книги закупили. В 1909 г. их было уже 26 экземпляров, а в 1914-м — 29. В рейтинге книговыдачи из раздела «История и биографии» Карамзин занимал 4—16-е места среди других исторических сочинений[36]. В 1906 г. «История» Карамзина не была выдана ни разу, но зато три раза была прочитана его биография, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей»[37] (начиная с этого года, биография историографа выдавалась от двух до пяти раз в год). В 1909 г. книги Карамзина появились в «Детском отделе», их спрашивали в 1909—1914 гг. от 17 до 31 раза в год.

В разделе «Русская беллетристика» произведения Карамзина были с первых лет существования екатеринбургской библиотеки. Это свидетельствует о том, что к концу XIX в. Карамзин воспринимался больше как писатель, а не историк. Тома его собраний сочинений и отдельные произведения постоянно приобретались библиотекой (в 1910 г. их было 28 экземпляров, а в 1913 г. — 40). Книговыдачи из этого раздела выглядели очень скромно[38], но, видимо, имеющихся экземпляров не хватало, высока была их спрашиваемость (обращаемость, так как каждый имеющийся экземпляр выдавался в среднем более 5 раз в год), поэтому шло докомплектование. Наибольшее количество раз — 133 — карамзинские произведения были выданы в 1914 г., наименьшее — 27 — в 1901 г. И даже наибольшее количество прочитанных книг Карамзина составило лишь 0,3% процента из всей книговыдачи «Русской беллетристики» в 1914 г. Но при этом нужно отметить бурные читательские реакции на тексты Николая Михайловича.

Историк, как известно, идет по следам, отставленным от «целенаправленной человеческой деятельности… для получения данных о социальных явлениях и процессах прошлого»[39]. При изучении чтения важными источниками кроме книг и делопроизводственной документации являются эго-документы. К этому виду исторических источников мы относим уникальные свидетельства прочтения, читательские пометы, записи и другие следы бытования, сохранившиеся в книгах.

В томах собрания сочинений (М., 1803) с «Письмами русского путешественника» из Фундаментальной библиотеки Екатеринбургского епархиального женского училища сохранилось множество помет. Видимо, преподаватели училища активно использовали карамзинские тексты для подготовки к занятиям. Об этом свидетельствует характер помет: подчеркнуты предложения, строчки и даже абзацы, которые можно было использовать для цитирования, диктовки или литературно-критического разбора. На полях имеются многочисленные NB разными подчерками, пронумерованы «анекдоты» (курьезные случаи, происшествия, которыми наполнен текст «Писем») и т.п. Заметим, что тексты Карамзина были включены в многочисленные письмовники XIX в.[40] Екатеринбургские преподаватели, не имея под рукой этих изданий, сами производили отбор для диктовок.

По мнению А.Л. Зорина, в «Письмах» Карамзин осуществил массированный импорт самых актуальных «публичных образов чувствования». Он стремился не только сделать культурный мир Европы достоянием российского читателя, но и едва ли не в первую очередь — научить его чувствовать по-европейски. Можно сказать, что целью Карамзина было обеспечить читателя запасом «эмоциональных матриц» на все случаи жизни. В «Письмах» начинающий писатель предложил «радикальное обновление и обогащение репертуара эмоциональных матриц образованной русской публики», которые по мере включения карамзинских произведений в учебные программы, усваивались широкими читательскими кругами[41]. В издании «Писем» (СПб., 1892) с экслибрисом «Ученическая библиотека Екатеринбургского епархиального женского училища» подчеркнуты слова в последнем письме из Кронштадта: «а что человеку (между нами будет сказано) занимательнее самого себя?». Карамзинские тексты, судя по многочисленным пометам и записям, помогали епархиалкам понимать себя.

В ознаменование 150-летия Н.М. Карамзина в 1916 г. Академия наук планировала издать академическое собрание его сочинений. Но «вследствие военных событий… оказалось возможным издать лишь один первый том, содержащий… стихотворения» (Петроград, 1917). В этом

томе в разделе «Содержание» уральскими читателями были отмечены некоторые стихи: «Осень»[42], «К прекрасной», «Кладбище», «Послание к Дмитриеву», «Илья Муромец», «К самому себе», «Прощание», «Время», «Меланхолия», «Освобождение Европы» и другие. «Искусство расставания» — так называется глава в монографии А.Л. Зорина «Появление героя». По мнению исследователя, Карамзин был первым, кто научил русских читателей переживать состояние расставания. В первые десятилетия бурного, революционного века «искусство расставания» было особенно востребовано. По выбранным строчкам видим, что читатели начала XX в. находили в стихах поэта-сентименталиста не только отдохновение, но и нужные слова для выражения своих чувств и переживаний. Так, подчеркнутыми оказались строчки, написанные Карамзиным в 1787 г.: «Часто здесь ужасны бури, / Жизни океан мятут: / Ладия наша крушится / Часто среди ярых волн». «Поэзия есть роскошь сердца, — учил Николай Михайлович своих читателей на страницах “Московского журнала”. — Сие наслаждение возбуждает в нас чувство внутреннего благородства — чувство, которое удаляет нас от низких пороков. Благодарите, смертные, благодарите Поэзию, за то, что она возвышает дух и приятным образом напрягает силы ваши!»[43]. Особая привязанность к поэзии в годы революций и гражданской войны означает, что Карамзин был хорошим учителем, а уральские читатели — хорошими учениками.

Читатель, как справедливо отмечает А.И. Рейтблат, играет специфическую социальную роль в жизни общества. «Это отнюдь не любой человек, а литературно социализированный, не просто умеющий читать, но и владеющий нормами, стандартами, условностями литературной культуры»[44]. Карамзин, как нам кажется, благодаря своим издательским проектам, художественным и историческим произведениям, справился с амбициозной задачей «создать читателя» как «новый тип русского человека». Нам повезло, что уральские читатели оставили многочисленные следы прочтения, позволяющие в XXI в. изучать их эмоциональные реакции и предпочтения.

Примечания

1 *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. М., 1998. С. 29—30.

2 *Самарин А.Ю.* Читатель в России во второй половине XVIII века (по спискам подписчиков). М., 2000. С. 194—195.

3 «Повторяю, что История государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (*Пушкин А.С.* Отрывки из писем, мыслей и замечаний // Северные цветы на 1828 год. СПб., 1827. С. 225).

4 Подробнее см.: Исполин русской словесности: к 250-летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина: каталог выставки. М., 2016.

5 Цит. по: *Зорин А.Л.* Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016. С. 38—39.

6 Там же. С. 139—213.

7 О школах и учении детей [инструкция В.Н. Татищева о порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах 1736 г.]. Кушва, 2006. Ч. 9; *Черноухов Э.А.* Учителя Выйского училища Демидовых // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2002. Вып. 2. С. 88—98; *Телков Б.Н., Коряков А.Г.* Педагогика по-демидовски: ист. очерки. Екатеринбург, 2005.

8 Книги Старого Урала: сб. Свердловск, 1989; *Сафронова А.М., Оносова В.Н.* Каталог книг В.Н. Татищева и первой библиотеки Екатеринбурга в фондах Свердловского областного краеведческого музея. Екатеринбург, 2005.

9 Библиотека Е.С. Головой в Екатеринбурге: каталог книг. Вып. 1. Екатеринбург, 1894; Систематический каталог библиотеки наследников П.П. Демидова, князя Сан-Донато. Екатеринбург, 1898. Ч. 1: Книги на русском языке; *Пирогова Е.П., Белобородов С.А.* Сводный каталог гражданской печати XVIII — 1-й четверти XIX в. в собраниях Урала. Т. 1—2. Екатеринбург, 2005—2007; Книжные знаки в собраниях Урала: [каталог]. Екатеринбург, 2011.

10 Журнал Нижнетагильской заводской библиотеки на выдачу книг. 1864 г. (Нижнетагильский музей заповедник Горнозаводского Урала. Оп. 1. Д. 1. 100 л.); Журнал Нижнетагильской заводской библиотеки на запись выдаваемых для чтения книг, журналов и газет. 1877 г. (Там же. Оп. 2. Д. 2. 202 л.).

11 Отчет Екатеринбургской публичной общественной библиотеки им. В.Г. Белинского за … год существования. Екатеринбург, 1900—1917.

12 *Шабаршина (Морева) О.В.* «Продажи книг в уезде нет…» (книжная торговля в горнозаводских центрах Урала во второй половине XIX в.) // Homo legens: в прошлом и настоящем: материалы Всеросс. науч.-прак. конф. Нижний Тагил. 23—24 мая 2007 г. Нижний Тагил, 2007. С. 110—114.

13 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. М., 1942. С. 1207.

14 Именной указатель // *Пирогова Е.П., Белобородов С.А.* Указ. соч. Т. 1. С. 491—515.

15 Пантеон иностранной словесности / переведено Н. Карамзиным. [2-е изд.]. Ч. 1—3. М., 1818.

16 *Пирогова Е.П.* «Bibliotheque de San Donato» // *Пирогова Е.П.* Библиотеки Демидовых: книги и судьбы. Екатеринбург, 2000. С. 125—144.

17 *Ситников Л.А.* Екатеринбургский книголюб конца XVIII — начала XIX столетий // Русская книга в дореволюционной Сибири: книгописная деятельность и круг чтения сибиряков. Новосибирск, 1984. С. 5—28.

18 *Карамзин Н.М.* История Государства Российского. Изд. 2-е, испр. СПб., 1818—1829. Т. 1. 1818. С. [1—8].

19 *Шабаршина (Морева) О.В., Пятницкий А.Н.* Феномен библиофильства в провинции в конце XIX века. На примере личной библиотеки тагильчанки Веры Печатальщиковой // Библиофильство и личные собрания. М., 2011. С. 321.

20 *Печатальщикова В.* Дневник ученицы. Лето 1897 года / автор-сост. А. Заварицкий; подг. к пуб. Т.С. Павлухиной. СПб., 2007. С. 77.

21 *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 154.

22 О книготорговой деятельности Блохиных подробнее см.: *Шабаршина (Морева) О.В.* Государство и книжная торговля на Урале во второй половине XIX — начале XX в. (преимущественно по материалам Пермской губернии) // Книжное дело в России в XIX—XX века: сб. науч. тр. СПб., 2010. Вып. 15. С. 244—255.

23 *Пирогова Е.П., Белобородов С.А.* Указ. соч. Т. 1. С. 503.

[24] *Карамзин Н.М.* Избранные сочинения. В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 1. С. 201.
[25] Отметим, что «История» Н.М. Карамзина охотно читалась священниками. Об этом см., например: *Лютько Е.И.* «История государства Российского» Н.М. Карамзина в контексте развития церковной историографии в России 1840—1850-х гг. (на примере П.С. Казанского) // Карамзинские чтения. СПб., 2016. Вып. 1. С. 95—101.
[26] *Зорина Л.И.* Левитский Георгий Игнатьевич // Екатеринбург: энцикл. Екатеринбург, 2002. С. 315.
[27] Книжный склад Братства Святого Праведного Симеона и Епархиальная библиотека в Екатеринбурге // Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1913. № 48. Неоф. отд. С. 1163—1164.
[28] Под номером один в каталоге этой библиотеки было записано еще одно издание Н. Карамзина: «Разные повести, переведенные Н. Карамзиным» (М., 1816).
[29] Подробнее см.: *Морева О.В.* Нижнетагильская библиотека — памятник Н.М. Карамзину // Н.М. Карамзин в русской книжной культуре: материалы междунар. конф. (1—2 декабря 2016 г.). М., 2016. С. 67—75.
[30] Подробнее о комплектовании фонда см.: *Шабаршина (Морева) О.* Нижнетагильская заводская библиотека Демидовых и ее читатели // Книжное дело в России в XIX—XX в.: сб. науч. тр. СПб., 2008. Вып. 14. С. 128—140.
[31] Произведения Н.М. Карамзина из серии «Классная библиотека», судя по библиотечным штампам, были в составе ученических библиотек Екатеринбургской 1-й и 2-й женских гимназий, Епархиального женского училища, Духовного училища, Алексеевского реального училища и др. учебных заведений Екатеринбурга.
[32] *Наранович С.* «Применительно к XIX веку нельзя говорить о “читателях вообще”» : интервью с Абрамом Рейтблатом / С. Наранович, А. Рейтблат // Горький Медиа: URL: https://gorky.media/intervyu/primenitelno-k-xix-veku-nelzya-govorit-o-chitatelyah-voobshhe/ (дата обращения: 16.10.2016).
[33] См, например: Библиотека Е.С. Головой …
[34] См., например: *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. 4-е изд. Т. 1. СПб, 1900. XXXII, 326 с. (Дешевая библиотека; № 45).
[35] Все подсчеты произведены по: Отчет Екатеринбургской публичной общественной библиотеки …
[36] Среди историков, пользовавшихся популярностью у екатеринбуржцев, были: Бокль Г., Виноградов П.Г., Виппер Р.Ю., Кареев Н.И., Ключевский В.О., Костомаров Н.И., Милюков П.Н., Соловьев С.М.
[37] *Соловьев Е.А.* Н.М. Карамзин, его жизнь и научно-литературная деятельность: биогр. очерк. СПб., 1894.
[38] Так, например, в 1908 г. произведения Н.М. Карамзина были выданы 104 раза (35 место в рейтинге), Л.Н. Толстого — 1 270 (1-е место), Д. Мамина-Сибиряка — 558 (6-е), М. Горького — 433 (12-е).
[39] *Медушевская О.М.* Источниковедение: Теория, история и метод. М., 1996. С. 58.
[40] Например: Новейший, самый полный и подробный письмовник, или Всеобщий секретарь, в четырех частях, содержащий в себе письма всякаго рода … Ч.1—4. СПб., 1822. (Ч. 4 была в библиотеке Николая Блохина).
[41] *Зорин А.Л.* Указ. соч. С. 153—154.
[42] Заметим, что «Осень» до сих пор изучают в школьной программе, как и «Бедную Лизу».
[43] *Боутервек Ф.* Аполлон: изъяснения древней аллегории / пер. Н.М. Карамзин // Московский журнал. 1792. № 8. С. 130—131.
[44] *Рейтблат. А.И.* Как Пушкин вышел в гении: историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001. С. 6.

Т.В. Медведева

Дмитрий Николаевич Свербеев (1799—1874): Портрет почитателя Карамзина

Николай Михайлович Карамзин, как значимая фигура русской культуры, неоднократно был удостоен внимания отечественных историографов и литературоведов. Его влияние рассматривалось в макро- и микромасштабе на материале как литературных трудов, так и бессмертной «Истории государства Российского». Не претендуя на анализ трудов самого историографа, в данной статье внимание будет сосредоточено на более частной теме: восприятии Карамзина одним из младших его современников и той роли, которую сыграл Карамзин в последующем интеллектуальном и литературном развитии этого человека и, отчасти, людей его круга.

Названным младшим современником является московский дворянин Дмитрий Николаевич Свербеев, ровесник Пушкина по году рождения, но проживший значительно более долгую жизнь. После краткой дипломатической службы и работы в Архиве Министерства иностранных дел он вышел в отставку и более всего был известен современникам как хозяин литературного салона в 1840-х гг., близкий приятель и друг многих славянофилов и некоторых западников, а впоследствии мемуарист, автор двухтомных «Записок»[1]. Прекрасно образованный и убежденно умеренный в политических воззрениях, прекрасный семьянин и демократичный помещик — он являет собой фигуру весьма типическую для первой половины XIX в., и потому его взгляды на личность и творчество Карамзина представляются в известной мере универсальными, общими для широкого круга людей его поколения.

Восхищение Карамзиным, испытанное им в молодости, он сохранил до преклонных лет, не растеряв или отбросив, как многие идеалы юности. Оно явственно отразилось в мемуарах, хотя их автор осознанно не ставил перед собой такой задачи.

Карамзин существует для мемуариста в двух своих основных «ипостасях»: литератора, новатора языка и историка, из которых первая все же является более значимой, или, правильнее сказать, более осознаваемой.

Единственный поздний сын богатого московского дворянина, юный Дмитрий Свербеев рос очень начитанным мальчиком, получившим хорошее домашнее образование, продолженное затем в Университетском пансионе, а потом и в Московском университете. Оттого его рассказы об отцовской библиотеке так пространны и вдумчивы, а заключения о языке и произведениях Карамзина так убедительны. «У отца моего, — вспоминает Д.Н. Свербеев — была большая библиотека, разумеется, русская, в которой, кроме божественных книг, было все, относящееся к русской истории, все наши тогдашние классики, журналы, и начинавшие тогда входить в моду сочинения Карамзина, его “Письма русского путешественника”, его “Московский журнал” и “И мои безделки” Дмитриева. Карамзин и его друг Дмитриев первые заговорили у нас чистым человеческим языком без пафоса; их сочинения не выходили у меня из рук…»[2]. Этим же «чистым человеческим языком без пафоса» пользовался всю жизнь и сам Свербеев, создавая свои историко-литературные очерки и мемуары. Именно к стилистике карамзинских текстов тяготеют его мемуарные повествования и историографические очерки.

Имена Н.М. Карамзина и И.И. Дмитриева тесно переплетены в сознании Свербеева по тому влиянию, которое оба они имели, по его словам, «на *оцивилизирование* нашей литературы»[3]. К слову сказать, Свербеев был дружен с племянником И.И. Дмитриева, Михаилом Александровичем Дмитриевым, и оценки Карамзина, высказанные М.А. Дмитриевым в его мемуарах («Мелочи из запаса моей памяти»; «Главы из воспоминаний моей жизни»), во многом созвучны заключениям Д.Н. Свербеева.

Нужно заметить, что уважение, испытываемое к Карамзину-литератору, Свербеев не переносит на весь сонм его многочисленных последователей, признавая литературную слабость многих из них. Так, например, одного из своих начальников, Николая Петровича Брусилова, чиновника и издателя, он наделяет весьма хлестким эпитетом, говоря о его «Журнале Российской словесности»: «сладенькой прозой первой карамзинской школы»[4] называет мемуарист публикуемые там произведения.

Нередко, характеризуя в мемуарах людей своей эпохи, встреченных на жизненном пути, он «измеряет» их Карамзиным (или, напротив, А.С. Шишковым), разделяя знакомцев на два лагеря — «арзамасцев» и «шишковистов» — по их литературным пристрастиям.

При этом, почтение, испытываемое к Карамзину, не мешает Свербееву с уважением относиться к одному из главных его оппонентов, Александру Семеновичу Шишкову, о котором мемуарист оставил отдельный очерк и с которым был немного знаком лично. Пытаясь выдержать объективный тон, он замечает: «О Шишкове довольно сказать одно: он был отъявленным врагом митрополита Филарета и доносил на него,

как на безбожника и на либерала, а Карамзина долгое время почитал революционером; вот до чего может доходить во всем ревность не по разуму»[5]. И далее о Шишкове: «Все младшее в сравнении с ним поколение литераторов, начиная с Карамзина, почитал он безбожным и во всех отношениях вредным. …Карамзин был для него революционером, хотя впоследствии предложил он его сам в члены академии»[6]. Это последнее замечание согласуется с общей оценкой Шишкова в очерке — противоречивой и неоднозначной. Свербеев характеризует его как «человека искренно набожного, глубоко образованного, робкого, опасливого, но в важных случаях своей жизни твердого и смелого»[7].

Литературным последователем Карамзина Свербеев выступает и в своем травелоге, подробно рассказывая о своих поездках за границу. Карамзин-путешественник мысленно сопутствует молодому чиновнику Дмитрию Свербееву, разъезжающему в компании с Авраамом Сергеевичем Норовым по Европе. Путешествие по германским землям у Свербеева порой становится поездкой «по карамзинским местам» — так, остановившись у Рейнского водопада в восточной Швейцарии, Свербеев первым делом отправляется «созерцать» водопад, «перед которым за четверть века прежде становился на колени умиленный до слез этим величественным зрелищем чувствительный русский путешественник Карамзин»[8]. Восторг Свербеева, созвучный умилению Карамзина, был близок далеко не всем молодым русским путешественникам. Старший современник Свербеева Александр Дмитриевич Чертков, созерцая в те же годы этот водопад, лишь описал его размеры и добавил скептически: «каскад сей совсем не высок… мне кажется, даже каскады в Тиволи гораздо лучше и больше сего водопада»[9].

Литературная ипостась Карамзина долгое время будет для мемуариста наиболее значимой и уж точно наиболее осознанной его ипостасью, тогда как фигура Карамзина-историка будет осмыслена Свербеевым намного позже. Но это осмысление также даст свои богатые плоды.

Карамзин-историк для Д.Н. Свербеева станет почти столь же значим, как и Карамзин-писатель. Можно с уверенностью сказать, что в конце 1860-х — начале 1870-х гг., когда Дмитрий Николаевич писал свои «Записки», Карамзин оставался для него основным авторитетом в области отечественной истории.

При этом влияние Карамзина на культурные и мировоззренческие стереотипы Д.Н. Свербеева проявляется не только напрямую — в виде ссылок, характеристик и прямых заимствований литературного стиля, но и весьма опосредованно. Это последнее, отдаленное влияние Карамзина, на наш взгляд, не менее ценно.

Сам Свербеев, знакомый с детства с трудами М.М. Щербатова и «Ядром российской истории», изучал историю в 1813—1814 гг. в

Московском университете и, вспоминая об этом, подробно характеризовал своих профессоров (его описания некоторых из них стали хрестоматийными), нередко «измеряя их» Карамзиным. Говоря о М.Т. Каченовском, который читал студентам курс российской истории, он вспоминает: «Все знают, как впоследствии он сох и желтел от успеха истории Карамзина»[10], а рассказывая о попечителе университета, П.И. Голенищеве-Кутузове, «весьма неглупом и весьма пронырливом», замечал: «Он опозорил себя доносами на историю Карамзина, выставляя ее сочинением безбожным, безнравственным и революционным»[11].

Ко времени создания «Записок», трое старших сыновей Д.Н. Свербеева уже успели поучиться в Московском университете и не без успеха прослушать курсы по русской истории. Сам отец семейства внимательно следил за новинками в области историографии, был близко знаком с С.П. Шевыревым и А.Н. Поповым, отдаленно — с М.П. Погодиным. И тем не менее, труд Карамзина по истории отечества, оставался для него наиболее авторитетным и полным. Сверяясь с Карамзиным, он углубляется в историю своего рода, прослеживает предков до времен Василия Темного, привлекая в помощь себе лишь алфавитный указатель («Ключ») П.М. Строева к «Истории» Карамзина[12].

Д.Н. Свербеев неоднократно пробует себя на историографическом и археографическом поприщах, порой небезуспешно. И здесь необходимо сказать о том непрямом, опосредованном влиянии, какое оказал Карамзин и его «История» на самого Свербеева и людей его круга.

Как отмечал С.О. Шмидт, «“История” Карамзина как явление культурной жизни изучена пока недостаточно. Между тем “История государства Российского” наложила явственный отпечаток на представления русских людей о прошлом своего отечества, да и вообще об истории. В течение почти столетия не было в России другого исторического сочинения, которое с юных лет оказывало бы такое влияние на души и умы. И не было другого исторического труда, который бы, утеряв былое значение в глазах ученых, оставался бы столь долго в обиходе культуры так называемой широкой публики»[13]. Эти размышления о роли Карамзина в популяризации исторических знаний можно продолжить и дополнить.

В середине XIX в. интерес к истории в образованном обществе был неизменно высок. И в значительной мере, этому способствовал как раз труд Карамзина. Именно ему принадлежит заслуга введения истории в круг «салонных наук».

Многие светские люди считали для себя возможным и необходимым заниматься историческими изысканиями самой разной тематики. Некоторые из них, побывав в свою пору «архивными юношами», хотя и полуформально, привыкли иметь дело с историческими документами и

сохранили ощущение престижности исторических познаний. В общении легко смешивались новые «ученые» отношения еще не вполне профессиональных историков и старые, «салонные» связи круга образованных интеллектуалов. Интерес к истории стал неотъемлемой частью салонной культуры, а салонно-родственные и дружеские связи играли не последнюю роль в наполнении издаваемых исторических сборников.

Навык и способность рассуждать об истории (прежде всего отечественной) стали почти такой же частью салонного общения, как прежде умение писать в альбомы.

Первые авторские историографические заметки Дмитрия Николаевича Свербеева можно отнести к лету 1856 г., хотя его интерес к историческим документам прослеживается с начала службы в Архиве Коллегии иностранных дел (в конце 1820-х гг.).

В архиве Свербеевых сохранились черновые наброски задуманного Дмитрием Николаевичем труда по русской истории, в котором он предполагал рассмотреть широкий хронологический отрезок — от эпохи удельных княжеств до середины XIX в.

Из краткого вступления можно заключить, что подвигли Свербеева в середине 1856 г. к написанию такого труда неутешительные итоги 30-летнего правления императора Николая I и — как зримое их свидетельство — поражение в Крымской войне, «гордость и самонадеянность», царствовавшие в умах и общества и правительства. И здесь Свербеев предполагает, по примеру Карамзина, встать на путь поучительного и назидательного историописания. «В последнее царствование и особливо в последние годы этого царствования мы — и общество и правительство — быстро стремились по направлению, совершенно противоположному не только началам нашего преобразования из Руси в Россию, из Царства в Империю, но и всем началам новейших европейских народов», — замечает начинающий историк[14]. Возмущенный опасной «кичливостью», распространенной в обществе, Свербеев предполагает напомнить читателям уроки истории: «Мы под конец почти совсем было уверились, что русский народ предназначен и возстановит повсюду человеческое достоинство, чуть-чуть не называли сих начатком будущего века…»[15]. В архивах не сохранилось следов продолжения этого труда, однако сам порыв и намерение, безусловно, заслуживают внимания. И особенно в контексте преемственности Карамзинской традиции.

Позднее, в 1860-е и начале 1870-х гг., Д.Н. Свербеев выступал с публикациями в «Русском архиве» не только как мемуарист-историк, но и как археограф. Кроме того, на страницах «Русского архива» увидели свет и свербеевские рассказы о виденных им некогда документах (такой вот своеобразный способ введения в научный оборот)[16].

Отправной точкой для подобных археографических штудий стала недолгая работа Д.Н. Сербеева в МАКИД в 1827—1833 гг., где он служил главным смотрителем Комиссии печатания грамот и договоров и «должность свою исправлял с примерным усердием», несмотря на то, что едва ли не половину службы пребывал в отпусках «по домашним обстоятельствам»[17].

Разбирая в Архиве МИД бумаги времен Екатерины II, касающиеся дипломатических связей с Персией, он «нашел между ними две бумаги ненумерованные, но за собственноручными резолюциями и с подписью императрицы Екатерины II». Одна из этих бумаг была, со слов Свербеева, пересказана в 1909 г. на страницах «Русского архива» в составе воспоминаний А.И. Васильчиковой[18]. Многим рассказывал Дмитрий Николаевич и о «делах Ливонских», которые разбирал и переписывал в архиве вместе с П.В. Киреевским.

Основная публикация документов, осуществленная Д.Н. Свербеевым в «Русском архиве», — 39 «Собственноручных писем императрицы Екатерины II-й к графу Ивану Григорьевичу Чернышеву»[19]. Они были скопированы Свербеевым уже не в МГАМИД, а из бумаг А.И. Тургенева, который переписал их в архиве министерства финансов[20]. Письма, скопированные когда-то для семейного архива, нашли, спустя десятилетия, благодарного издателя в лице П.И. Бартенева.

Отдельно нужно сказать и о том чисто человеческом, личностном значении, какое имел Карамзин в глазах Свербеева и многих его современников, вне прямой связи с литературой или историей[21]. Так, Карамзин выглядит в мемуарах полулегендарной фигурой в эпизоде заступничества перед императором за молодого Пушкина: «Нечаянно узнав о строгом наказании, грозившем нескромному поэту за какое-то грешное стихотворение, Чаадаев поздним вечером прискакал к Н.М. Карамзину, немного удивил его своим приездом в такой необыкновенный час, принудил историографа оставить свою бессмертную работу и убедил, не теряя времени, заступиться за Пушкина у императора Александра. Вместо крепости или дальней ссылки государь, упрошенный на другой день Карамзиным, ограничил наказание Пушкина удалением на службу в Бессарабию»[22]. Историограф нередко выступает на страницах «Записок» и неким моральным авторитетом, с позицией которого сопоставляет мемуарист те или иные веяния в обществе.

Свербеев на протяжении всей жизни следил за событиями, связанными с именем Карамзина — он высоко ценил стихи своего друга Николая Языкова «На объявление памятника историографу Н.М. Карамзину»[23], имевшее непростую цензурную историю, и рассказывал в мемуарах об открытии самого этого памятника на родине Карамзина в Симбирске в 1844 г.[24]

На страницах воспоминаний прослеживает он историю одного письма, к отправлению которого был причастен в пору своей дипломатической службы в Берне[25]. Это было письмо также глубоко уважаемого им графа И.А. Каподистрия к Н.М. Карамзину, написанное в январе 1826 г. по случаю кончины государя Александра I («оно преисполнено было выражений глубокой скорби о кончине государя, которого и Карамзин любил так же искренно и бескорыстно»). Свербеев занимался отправкой этого письма в Россию, однако не был знаком с содержанием, пока не обнаружил его опубликованным у М.П. Погодина в сборнике «Утро». Позже он даже выяснял у П.А. Вяземского подробности об этом письме, поскольку ему закономерно виделось «и странным, и непонятным» то, что «Каподистрия, говоря с Карамзиным с такой дружеской откровенностью, ни одного слова не сказал ему тут о 14 декабря, подробности которого, как самому графу, так и всем нам, бывшим в то время при швейцарской миссии, были уже известны»[26].

В одной из своих полемических статей, Свербеев цитирует Предисловие к «Истории» Карамзина, как непреложный авторитет, присоединяясь к историографу в его пафосе: «Мы одно любим, одного желаем: любим отечество; желаем ему благоденствия еще более, нежели славы; желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия; да правила мудрого Самодержавия и Святой Веры более и более укрепляют союз частей; да цветет Россия... по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой»[27].

На протяжении всего XIX в., и особенно в середине столетия, труды Карамзина оставались живым событием и фактором отечественной культуры. Скромное наследие Д.Н. Свербеева — тому подтверждение. Карамзин присутствует в умах последующего поколения как историк, как писатель и как личность, порой в равно весомом соотношении и мемуарист Д.Н. Свербеев примечателен именно как частный пример такого «присутствия» Карамзина.

Примечания

1 *Свербеев Д.Н.* Мои записки / подг. изд. Т.В. Медведева, М.В. Батшев, Б.П. Краевский М., 2014. (*Далее:* Свербеев.)
2 Свербеев. С. 41.
3 Там же. С. 524.
4 Там же. С. 132.
5 Там же. С. 147.
6 Там же. С. 515.
7 Там же.
8 Свербеев. С. 326. Здесь автор мемуаров отсылает своих читателей к фрагменту из хорошо знакомых им «Писем русского путешественника», посвященному

Рейнскому водопаду: «…Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!..».

[9] *Чертков А.Д.* Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и проч. в 1823—1825 годах / подг. изд. М.В. Фалалеевой. М., 2012. С. 438.

[10] Свербеев. С. 61.

[11] Там же. С. 729.

[12] См., например: Свербеев. С. 706.

[13] *Шмидт С.О.* «История государства Российского» в культуре дореволюционной России // *Шмидт С.О.* Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2. Кн. 1. М., 2009. С. 365.

[14] РГАЛИ. Ф. 472. Д. 6. Л. 3.

[15] Там же.

[16] Подробнее об этом см.: *Медведева Т.В.* «Возлюбленный о «Русском Архиве» Петр Иванович…» (Свербеевы и Бартенев) // *Зайцев А.Д.* Петр Иванович Бартенев и журнал «Русский архив». М., 2013. С. 408—426.

[17] РГАДА. Ф. 180 (Канцелярия МГАМИД). Оп. 1. Д. 109. Л. 926—926 об.

[18] Из памятных записей А.А. Васильчикова. Рассказ А.И. Васильчиковой // Русский архив. 1909. Вып. 6. С. 192.

[19] Русский архив. 1871. Вып. 9. Стб. 1313—1348.

[20] В 1830-е — начале 1840-х гг. Свербеев активно знакомился с бумагами своего друга А.И. Тургенева, который, кроме того, в 1836 г. привлекал Дмитрия Николаевича к разбору документов, скопированных им в разных архивах: предполагалось отобрать что-то подходящее для альманаха «Старина и Новизна», готовившегося П.А. Вяземским, но так и не осуществленного См. об этом в переписке А.И. Тургенева и П.А. Вяземского (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. III. СПб., 1899. С. 360 и др.).

[21] Наиболее глубоко эта тема была разобрана в книге Ю.М. Лотмана «Сотворение Карамзина» (М., 1987 и др. изд.).

[22] Свербеев. С. 519.

[23] Там же. С. 296.

[24] Там же. С. 125.

[25] Там же. С. 352, 360, 812. Далее мемуарист замечал: «В письме к другу своему Карамзину, с которым соединены они были благоговейною любовью к императору Александру, граф Каподистрия с одушевленным красноречием увлекательного своего пера выражал всю полноту скорби по общем их благодетеле, но, несмотря на то, что он был встревожен почти верными опасениями за будущее России, затаил их даже перед Карамзиным, самым близким в Петербурге другом ему» (Там же. С. 352).

[26] РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 2722. Л. 11—12 об. (Письмо Д.Н. Свербеева П.А. Вяземскому).

[27] См. в публицистической заметке Д.Н. Свербеева 1866 г.: РГАЛИ. Ф. 472. Д. 24. Л. 9 об.

А.С. Коршиков

Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» как хранитель мемориального карамзинского пространства

«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России», — эти слова А.С. Пушкина сегодня, когда мы отмечаем юбилей историка, звучат особенно актуально. Огромное количество различных мероприятий, посвященных Н.М. Карамзину, которые прошли и еще пройдут в этом году — это не только дань юбилейной дате, но и понимание того, что написанное много лет назад Карамзиным как никогда стало востребованным в наше время.

Нашей сложной, нелегкой эпохе оказались созвучны мысли его о самом значении истории для потомков. Читающая Россия фактически заново открывает труды знаменитого историографа.

М.П. Погодин, находясь в усадьбе князей Вяземских Остафьево в 1845 году, отмечал, что Карамзин «останется навсегда идеалом русского писателя, русского гражданина, русского человека».

В первой трети XIX в. усадьба Остафьево стала особым местом — знаменитым и притягательным — для многих просвещенных людей именно благодаря тому, что в ней в течение 12 лет (1804—1816 гг.) жил и работал над «Историей государства Российского» Николай Михайлович Карамзин.

Владелец Остафьева князь А.И. Вяземский был знаком с Карамзиным с 1790-х гг. Именно Андрей Иванович стал для Николая Михайловича не только добрым собеседником, но и надежным товарищем.

В 1803 г. указом императора Александра I Карамзин был назначен на должность историографа.

В 1804 году старшая дочь князя вышла замуж за Н.М. Карамзина, и семья поселилась в Остафьеве.

В главном усадебном доме Карамзины разместились в западной анфиладе комнат второго этажа, а рабочий кабинет историка располагался в ризалите. Позднее, историк М.П. Погодин (1800—1875), работавший в Остафьеве в июле 1845 г., так описал обстановку комнаты: «Кабинет Карамзина помещался в верхнем этаже в углу, с окнами, обращенными к саду; ход был к нему по особенной лестнице, Я был там, в

этом ***святилище русской истории***, в этом славном затворе, где двенадцать лет с утра до вечера сидел один-одинехонек знаменитый наш труженик над египетской работою, углубленный в мысли о великом своем предприятии, с твердым намерением совершить его, во что бы то ни стало, — где он в тишине уединения читал, писал, тосковал, радовался, утешался своими открытиями. В этих, в какой-то степени поэтических словах, навеянных присутствием в кабинете историка, мы чувствуем огромную любовь к Карамзину». И далее М.П. Погодин продолжает:

«Голые штукатуренные стены, выкрашенные белою краскою, широкий сосновый стол в переднем углу под окнами стоящий, ничем не прикрытый, простой деревянный стул, несколько козлов с наложенными досками, на которых раскладены рукописи, книги, тетради, бумаги; не было ни одного шкапа, ни кресел, ни диванов, ни этажерок, ни пюпитров, ни ковров, ни подушек. Несколько ветхих стульев около стен в беспорядке»[1].

Остафьевский период историка был самым плодотворным и насыщенным — в эти годы были написаны 8 томов из 12-томной «Истории государства Российского». Здесь он работал и над запиской «О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811).

Вся жизнь семьи была подчинена труду Н.М. Карамзина. Поэт и литературный критик, воспитанник историографа князь П.А. Вяземский вспоминал: «Карамзин был воздержан в еде и в питии. Впрочем, таковым был он и во всем в жизни, материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диетика»[2]. В редкие свободные часы, в любую погоду, Н.М. Карамзин ходил гулять пешком, или ездил верхом. Это были ближайшие окрестности Остафьева, усадебный парк. Любимыми местами прогулок были березовая роща и ведущая к ней березовая аллея.

В начале 1816 г. Карамзин выехал в Санкт-Петербург добиваться издания первых восьми томов «Истории государства Российского».

Отъезд Карамзина подвел итог его двенадцатилетней жизни и работе в усадьбе Остафьево. С этого времени в усадьбе стал складываться мир присутствия историка. Березовая роща, аллея, где каждое утро гулял он, стали называться Карамзинскими. Кабинет, который после отъезда оставался долгое время не тронутым именовался кабинетом Карамзина.

Живя в Петербурге, Карамзины часто вспоминали Остафьево. После отъезда Николая Михайловича из подмосковной в его кабинете долгое время хранились рукописи и книги со сделанными им пометами. Стены украшали две аллегорические картины — «Слава Александра I» и «Слава Кутузова». Затем, после 1826 г., в кабинете поместили кровать Н.М. Карамзина, на которой он скончался в Таврическом дворце, и полосатый жилет, сшитый для поездки в Италию, которой так и не суждено было осуществиться.

22 мая (ст.ст.) 1826 г. историка не стало. Он был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге.

Хочу воспользоваться случаем, что на наше обращение в Департамент культуры города Санкт-Петербурга с просьбой отреставрировать надгробие Николая Михайловича и Екатерины Андреевны Карамзиных, которое находилось в плохом состоянии, мастерская ООО «РМ “Наследие”» выполнила реставрацию надгробий. Материалы реставрации были направлены в музей и находятся в нашем архиве. С разрешения мастерской ООО «РМ “Наследие”» нам бы хотелось в очередном Карамзинском сборнике опубликовать их.

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837), неоднократно гостивший в усадьбе Остафьево в 1830—1831 гг., всегда останавливался в кабинете Н.М. Карамзина. Гениальный русский поэт, знавший цену литературному труду, был поражен подвигом человека, уединившегося «в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившего целых двенадцать лет жизни безмолвным неутомимым трудам». Может быть, в этом кабинете Пушкину приходила мысль заняться историей. В 1845 г. историк М.П. Погодин писал здесь «Историческое похвальное слово Карамзину…». Он прожил в Остафьеве неделю. Гулял по карамзинской роще и саду, думал об историке. Еще раз он посетил усадьбу вместе с Н.В. Гоголем (1809—1852), о чем в книге автографов остафьевской библиотеки была оставлена запись: «5 июня 1849 года. Рылись здесь Гоголь…».

В год столетия со дня рождения Н.М. Карамзина (1866) по обе стороны парадного фасада усадебного дома внучкой поэта П.А. Вяземского княжной Александрой из желудей, присланных дочерью историографа Елизаветой Николаевной Карамзиной, были высажены два дуба. Их назвали карамзинскими. Сейчас возраст дубов составляет более 150 лет.

В 1898 году Остафьево приобрел граф С.Д. Шереметев, который разделял идеи Карамзина о важности просвещения народа. В 1897 г., он возглавил созданное Общество ревнителей русского исторического просвещения, образованное с целью «умножения и распространение знаний по отечественной истории в духе русских начал».

Общество издавало исторические сборники «Старина и новизна», в которых публиковались, в том числе, бумаги из «Остафьевского архива князей Вяземских».

Члены редколлегии московского филиала «Старина и новизна» неоднократно приезжали в Остафьево. Их заседания проходили в Карамзинской комнате.

В 1899 г. графом С.Д. Шереметевым в Остафьеве был открыт общедоступный литературно-мемориальный музей, начало которому было положено устройством экспозиции в карамзинской комнате. В 1907 г. были изданы открытки с видами карамзинской комнаты.

18 июля 1911 г. графом С.Д. Шереметевым в усадьбе был торжественно открыт памятник Н.М. Карамзину. Место его расположения

выбиралось не случайно. Он был установлен под окном кабинета историка. Автором проекта памятника и руководителем работ стал художник, академик гравюры, близкий друг семьи Шереметевых Н.З. Панов (1871—1916). Пьедестал из красного гранита выполнила фирма «Косъ и Дюрръ», бронзовые части отлиты бронзолитейщиком Гвидо Нелли.

Композиция памятника напоминает рабочий стол Н.М. Карамзина с книгами, свитком рукописи, чернильницей и пером. На передней грани постамента изображены даты: 1811—1911. Памятник символично объединил два произведения Карамзина. Книги — это тома написанной в Остафьеве «Истории…», а даты на постаменте — 100-летие написания Николаем Михайловичем трактата «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Именно к этой памятной дате и было приурочено открытие памятника.

Под датами бронзовый рельефный портрет историка в обрамлении венка из двух лавровых ветвей, перевязанных лентой. На задней грани постамента высечены слова Николая Михайловича Карамзина: «Остафьево достопамятно для моего сердца: мы там наслаждались всею приятностью жизни, не мало и грустили; там текли средние, едва ли не лучшие лета моего века, посвященные семейству, трудам и чувствам общего доброжелательства в тишине страстей мятежных…»[3].

На церемонии торжественного открытия присутствовали 80 гостей. Приглашения на праздничные торжества были отправлены правнучке Н.М. Карамзина графине М.Н. Толстой и внучатому племяннику историографа Александру Николаевичу Карамзину. Однако, по объективным причинам они не смогли приехать, но отправили приветственные телеграммы.

«День был счастливый и радостный при полном участии местного населения», – вспоминал Сергей Дмитриевич Шереметев[4].

К этому событию был приурочен выход из печати книги Павла Сергеевича Шереметева «Карамзин в Остафьеве. 1811—1911».

Фактически к концу XIX в. в усадьбе Остафьево, усилиями владельцев был создан музей Карамзина.

В первые годы Советской власти в усадьбе Остафьево был организован музей дворянского быта.

Сложные исторические периоды способствовали тому, что на долгих 60 лет усадьба Остафьево «выпала» из культурного пространства России.

После 1917 г. подмосковное имение Вяземских-Шереметевых было национализировано. Сохранившийся музей работал до 1930 г. Затем он был закрыт, а уникальные коллекции предметов живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, библиотека, насчитывающая 32 000 томов, знаменитый остафьевский архив были частично уничтожены, частично вывезены и распределены в музеи, архивы, библиотеки России. В разное время в усадьбе размещались различные организации.

Однако судьба исторического памятника не переставала волновать общественность. Неоднократные публикации в прессе, передачи по радио вызывали широкий резонанс.

Справедливость была восстановлена. 30 августа 1988 г. на совещании комиссии в Министерстве культуры СССР было принято решение о создании в усадебном комплексе Остафьево историко-мемориального музея, посвященного деятелям русской литературы и культуры первой половины XIX в. Спустя шестьдесят лет после ликвидации, усадьба Вяземских—Шереметевых вновь стала музеем.

В 1994 г. Остафьево в соответствии с Приказом министра культуры № 45 от 21 января и Постановлением правительства г. Москвы № 1139 от 14 декабря оно было признано самостоятельным учреждением культуры республиканского подчинения и получило название «Государственный музей-усадьба “Остафьево” — “Русский Парнас”». Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. остафьевский усадебный комплекс был внесен в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения».

Стояла задача вновь вернуть Остафьеву былую славу, связанную с именами Карамзина, Пушкина, Вяземских. Становление музея проходило в сложных социально-экономических условиях. Не случайно в 1996 г., а затем в 1997 г. Министерством культуры дважды предпринимались попытки закрыть музей с формулировкой, что невозможно реанимировать музей с такими большими утратами. Действительно, перестроенный и к этому времени разваливающийся дом, отсутствие музейных фондов, потерявший прежние формы заросший парк, с многочисленными утратами памятники Карамзину, Пушкину, Жуковскому, Вяземским — такое наследство от Совета Министров получили сотрудники музея. Предстояла огромная работа, чтобы добиться сначала права на жизнь, а затем создать полноценный музей.

Сегодня можно сказать, что коллективу это удалось. В 2002 г. была закончена реставрация западного флигеля и примыкающей к нему галереи, где размещено фондохранилище, которое соответствует мировым стандартам хранения музейных предметов. В 2005 г. отреставрированы восточный флигель и галерея, где устроены выставочные залы, организован прием посетителей. В 2006 г. на территории музейного комплекса был открыт единственный в России Кабинет медали. Завершена реставрация памятников Н.М. Карамзину, П.А. Вяземскому, А.С. Пушкину, В.А. Жуковскому и П.П. Вяземскому, воссоздана парковая беседка Храм Аполлона, лабиринт дорожек.

Особое внимание в усадьбе уделяется мемориальным местам и объектам, связанным с пребыванием Н.М. Карамзина в Остафьеве — березовая роща, карамзинские дубы, аллея «Русский Парнас».

В настоящее время завершены реставрационные работы главного усадебного дома-дворца. В его залах на пяти уровнях будут размещены экспозиции музея. Сейчас музей завершает создание в одиннадцати залах второго этажа экспозиции «Карамзин: Жизнь и труды» и 15 декабря этого года, к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина откроет в усадьбе Остафьево единственный в России музей, посвященный историку.

Сегодня Государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» стал центром популяризации творчества, жизни и деятельности Н.М. Карамзина: проводится большая научно-исследовательская и издательская работа, открываются новые выставки. В 2009 г. музеем была разработана программа по подготовке к 250-летию историографа.

С 2010 г. в музее ежегодно проходит День Карамзина.

В 2015 г. музей опубликовал «Программу празднования 250-летия со дня рождения историка Николая Михайловича Карамзина в России и странах зарубежья». Разработана концепция комплектования музейных фондов.

Одними из самых интересных поступлений являются книги, журналы и альманахи, связанные с жизнью и творчеством Н.М. Карамзина: на сегодняшний день наше фондовое собрание владеет практически всеми изданиями, отражающими жизненный и творческий путь историка.

За основу было взято издание Императорской Академии Наук, ставшее настоящим подарком для фонда: «Материалы для библиографии литературы о Н.М. Карамзине. К столетию его литературной деятельности (1783—1883)». Собрал С. Пономарев. (Санкт-Петербург, 1883), в котором не только представлены, но и описаны все издания Карамзина, вышедшие в свет до 1883-го года.

«Письма русского путешественника», издание 1797—1803 гг., интересно тем, что в октябре 1797 г. в журнале «Северный зритель» было напечатано анонимное «Письмо о русской литературе», автором которого был Карамзин. В нем содержался обзор прошлого и оценка текущего состояния русской литературы. А в качестве иллюстрации о «русской манере восприятия вещей» приводился отрывок из «Писем русского путешественника». Вероятно, тогда еще не зная, что два последних тома «Писем» будут задержаны цензурой и выйдут уже после смерти Павла I, Карамзин почти полностью пересказывает содержание «Писем», а два отрывка приводит дословно, в кавычках: о французской революции и о своем пребывании в Англии. Хорошо известно, что в пятом томе «Писем» отношение к революции 1789 г. у Карамзина резко отрицательное, как к «трагедии, которая играется ныне во Франции». Во французском же переводе текста Карамзин говорит о революции как о явлении, которое создает эпоху и определяет судьбу человечества на многие годы. Этот отрывок был написан Карамзиным в 1792—93 гг. и не был включен в издание 1797—1801 гг. В фонде также имеются:

Московской журнал / [Издание Н.М. Карамзина]. — Второе издание. — 1801—1803.

Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина: [В 8 т.]. — Москва: В типографии С. Селивановскаго, 1803—1804.

Карамзин Н.М. Сочинения Карамзина: [В 9 т.]. — Издание второе, исправленное и умноженное — Москва: В типографии С. Селивановскаго, 1814.

Карамзин Н.М. Новыя Мармонтелевы повести / Изданные Н. Карамзиным: Перевод с французского. — Издание второе. — Москва: В типографии С. Селивановскаго, 1815.

Карамзин Н.М. История государства Российскаго: [В 8 т.]. — СПб., 1816—1817.

Ценным для нашего музея является первое издание «Истории государства Российского», вышедшее в свет в 1816—1818 гг. в восьми томах, которые были написаны Карамзиным в Остафьеве. В описании издания у Пономарева читаем: «История Государства Российскаго». Восемь томов. Первое издание (разом все 8 томов) вышло 28 января 1818 г., поступило в продажу 1-го февраля. Печатано по Высочайшему повелению».

Одним из значимых приобретений фонда за последнее время были два тома «Российской антологии русских поэтов», изданных Джоном Боурингом в Лондоне в 1821—1823 гг., с которых началось знакомство англоязычного читателя с русской поэзией.

Оба тома «Российской антологии» являются собранием переводов поэтических произведений русских писателей. В них представлены 13 самых выдающихся, по мнению Боуринга, авторов: Державин, Батюшков, Ломоносов, Жуковский, Карамзин, Дмитриев, Крылов, Хемницер, Бобров, Богданович, Давыдов, Костров, Нелединский-Мелецкий.

Среди всего списка сочинений Н.М. Карамзина в нашем фонде выделяются два издания «Истории государства Российского» на французском и немецком языках. Они начали выходить при жизни историографа.

Переводы Карамзина на иностранные языки — это отдельное направление изучения его творчества не только как писателя, но и историка. Карамзин был первым русским писателем, произведения которого переводились на разные иностранные языки.

Сегодня в музейно-фондовом собрании 11 томов «Истории государства Российского» на немецком языке, которые поступили на хранение с книжного аукциона. Все книги находятся в хорошем состоянии, несмотря на их почти 200-летний возраст.

В 2006 г. в музее был открыт единственный в России Кабинет медали. Наряду с редкими изданиями, в его постоянную экспозицию входят и памятные медали, связанные с именем Н.М. Карамзина. В период Российской империи среди большого количества медалей, выпущенных в честь государственных деятелей и частных лиц, медали, посвященной Н.М. Карамзину, отчеканено не было. В настоящее время в фонде Кабинета медали представлены все тиражированные памятные

медали, посвященные Н.М. Карамзину, в том числе большой корпус авторских моделей.

Государственный музей-усадьба «Остафьево» — «Русский Парнас» выступил инициатором создания нескольких медалей, посвященных Н.М. Карамзину. По заказу музея две медали с изображением Н.М. Карамзина в 2006 г. выполнил санкт-петербургский скульптор, Заслуженный художник Российской Федерации, доктор искусствоведения Вениамин Георгиевич Сидоренко (г.р. 1938).

Московский скульптор Андрей Станиславович Забалуев (г.р. 1959) в 2010 г. по заказу выполнил памятную медаль «Н.М. Карамзин. Усадьба Остафьево».

В 2000 г. Государственным музеем-усадьбой «Остафьево» — «Русский Парнас» была учреждена медаль «Ревнителю русской культуры». Автором медали стал Алексей Алексеевич Королюк (1933—2002), один из выдающихся медальеров нашего времени. На лицевой стороне наряду с Пушкиным и Вяземским дано изображение Н.М. Карамзина.

В 2016 г. музей к 250-летию со дня рождения отчеканил на Московском монетном дворе наградную медаль Н.М. Карамзин.

В 1989 г. музей принял первых посетителей. Карамзинская комната того периода была представлена единственным предметом — стоящим на мольберте портретом историографа. За прошедшие годы в музее прошло около 20 выставок, связанных с Н.М. Карамзиным. Издано и переиздано более двух десятков книг и сборников.

За эти годы состоялось четыре Международных конференции.

К празднованию юбилея историографа будет приурочено открытие постоянной экспозиции «Н.М. Карамзин. Жизнь и труды», размещенной в одиннадцати экспозиционных залах — мемориальном карамзинском пространстве.

Подводя итог, можно сказать, что в России впервые создан полноценный музей, связанный с именем Н.М. Карамзина.

Юбилеи приходят и уходят, но в наше непростое в политическом отношении время подзабытый голос Карамзина звучит особенно современно и пророчески.

Мы обязаны к нему прислушаться и не забывать о Н.М. Карамзине, перевернув страницу юбилейного года.

Примечания

[1] *Погодин Н.М.* Николай Михайлович Карамзин //Карамзинский сборник. Вып.2. М.: Остафьево, 2011. С. 41.

[2] *Вяземский П.А.* Старая записная книжка // Там же. С. 18—19.

[3] Надпись на памятнике из письма Н.И. Кривцову. 1819 год.

[4] *Шохин Л.И.* Архивные материалы С.Д. Шереметева… // Венок Карамзину. М.: Academia, 1992. С.109.

Сведения об авторах

Абраменко Владимир Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры Теория организации и управление персоналом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения».

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальный коммуникаций, Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.

Артамонова Юлия Дмитриевна – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Афанасьев Александр Константинович, кандидат исторических наук.

Бердинских Виктор Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор Вятского государственного университета.

Беспалова Елена Константиновна, Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», заведующая научно-исследовательским отделом.

Вандалковская Маргарита Георгиевна, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Дербин Евгений Николаевич, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия.

Долгих Аркадий Наумович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Журавель Александр Васильевич, редактор издательства «Старая книга».

Ивинский Александр Дмитриевич, кандидат филологических наук, младший научный сотрудник филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Казакова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории России исторического факультета ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».

Киселев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, руководитель Центра учета и обеспечения сохранности документов Архива РАН.

Коршиков Анатолий Семёнович, директор Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский Парнас», заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России.

Лотарева Дарья Дмитриевна, научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.

Магилина Инесса Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель, «Академия труда и социальных отношений» Волгоградский филиал.

Майорова Алла Степановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и археологии Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

Медведева Татьяна Валерьевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Морева Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского, заведующая сектором книжных памятников отдела редких книг.

Пузанов Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук доцент Шадринского государственного педагогического университета, профессор кафедры истории и права.

Пчелов Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Вспомогательных и специальных исторических дисциплин Высшей школы источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ.

Ружицкая Ирина Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Сафонов Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории РАН.

Сидорова Любовь Алексеевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Тихонов Виталий Витальевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН.

Феребов Александр Николаевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник».

Шевцова Оксана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, доцент кафедры речевой коммуникации и издательского дела.

Шульгин Владимир Николаевич, доктор исторических наук, директор Калининградского отделения Академии геополитических наук

Научное издание

Карамзин и его эпоха
Материалы Всероссийской научной конференции,
Москва, 18—19 октября 2016 г.

Макет и оформление: Ю.В. Балабанов

Подписано к печати 01.08.2017
Формат 70×100/16. Гарнитура MinionPro.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 15,0. Уч.-изд. л. 17,3.
Тираж 500 экз. (Первый завод 250 экз.).
Заказ 1043

Издательский центр Института российской истории РАН
117036, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета в в Публичном акционерном обществе
«Т8 Издательские Технологии»
109316 Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Тел.: 8 (495) 221-89-80